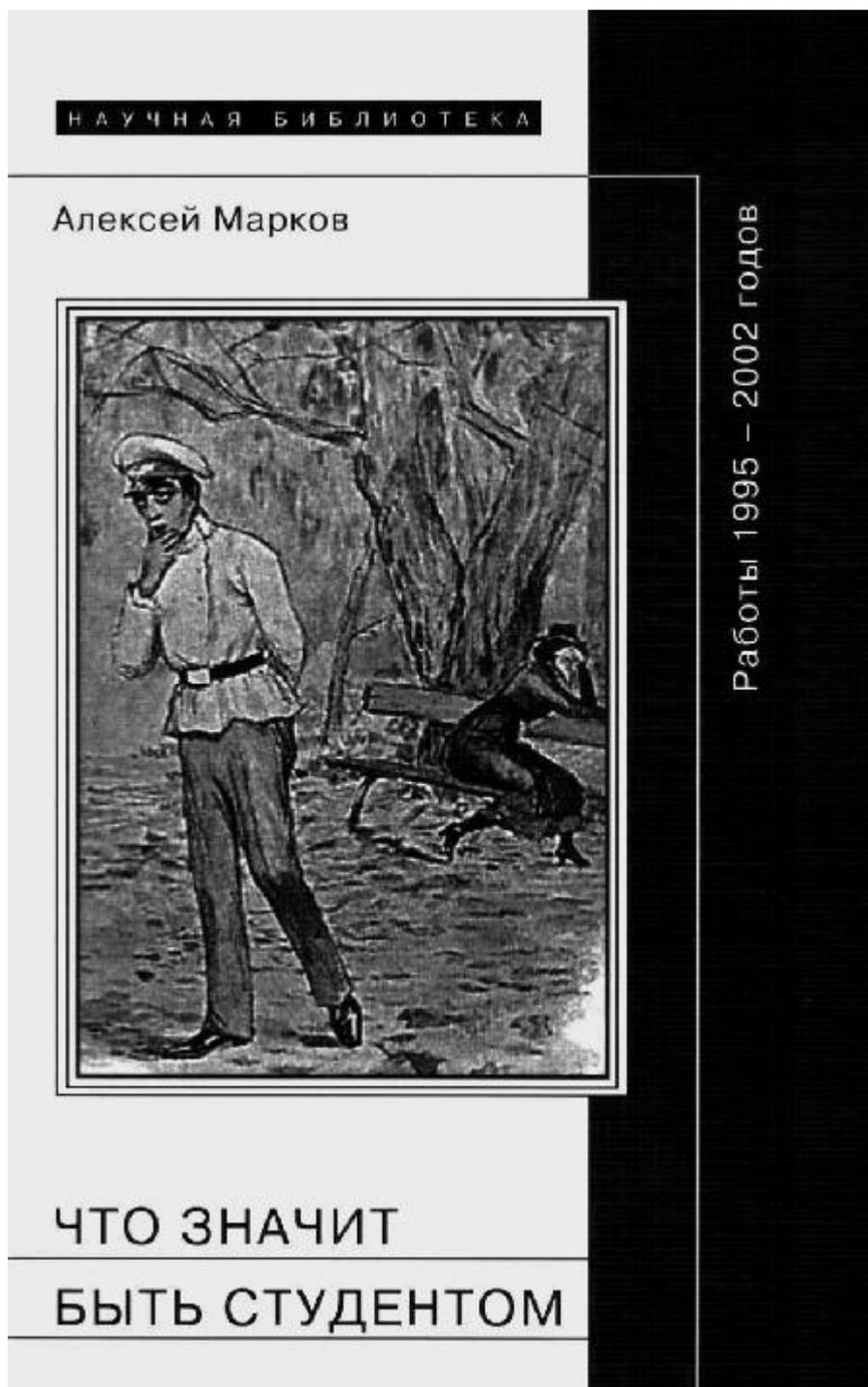


Алексей Ростиславович Марков
Что значит быть студентом [работы 1995-2002 годов]



Марков Алексей Ростиславович
Что значит быть студентом: Работы 1995–2002 годов

Что значит быть историком

Алексей Марков был одним из самых талантливых и многообещающих гуманитариев, вступивших на путь научного творчества в 1990-е годы. Санкт-Петербургский университет и академический Институт истории (аспирантуру которого он успешно закончил),

Европейский университет в Петербурге, парижская Школа высших исследований по социальным наукам, медицинские клиники в Упсале и докторантура в одном из университетов близ Стокгольма (куда он был зачислен весной 2002 года, но уже не смог поехать), Российское общество интеллектуальной истории и журналы – от «Родины» и «Нестора» до «Новой русской книги» и «НЛЮ» – вот далеко не полный список важнейших институций и изданий, с которыми он тесно и в целом весьма плодотворно сотрудничал. Историк раннего периода советского общества, он с самых первых исследований выделялся стремлением к многоплановому видению собственной темы. Первоначально это было исследование жизни петроградских студентов первых советских лет – в социологическом, психологическом (со стороны мотиваций самих агентов исторического процесса) и философско-идеологическом измерениях. Оно обусловило необходимость овладения другими дисциплинарными языками, а также самоопределение Алексея в качестве социального ученого *per se* уже во второй половине 1990-х годов.

Автор данной книги оставался историком не только по «базовому» образованию и исходной профессиональной принадлежности: сама объемность видения, его неперенные обращения «вверх» (в теорию и эпистемологию), «вниз» (в историю сексуальности и повседневности) и «в сторону» (психология) были не знаками ухода из истории как таковой, но сами выстраивали векторы и оси исторического измерения. Оно понималось тем самым уже не просто как универсальная хронологическая система социальных координат или линейная – гегелевская или марксистская – схема восхождения от «снятого» прошлого к предсказанному будущему. Сама такая «история» – история индивидов и их устойчивых «фигураций», пользуясь выражением Норберта Элиаса, – должна была рассматриваться им шире принятых в профессии конвенциональных рамок, и проблематизировалась она даже более радикальным образом, чем во французской школе «Анналов»; именно поэтому важнейшей фигурой для Алексея был Мишель Фуко, трактуемый как *историк* принципиально иного, необщепринятого, типа. И самый последний его проект, оставшийся на стадии проработанных планов и набросков, – история европейского социально-медицинского дискурса межвоенного периода (включая и СССР), в том числе комплексных отношений врачей и политиков, лечебного дела, санитарии и общества, – также был выстроен с учетом идей французского мыслителя. Социальная антропология медицинских практик, сюжетами которой он занимался на шведских стажировках (опыт трансплантологии, определение критериев смерти больного и т. д.), соединялась здесь с практически неосвоенной у нас областью сравнительной истории медицинского «регулирования» населения и биополитики в целом. Если бы этому замыслу суждено было реализоваться, он воплотился бы в труд, превосходящий работу о студентах масштабностью темы и в то же время отмеченный столь свойственным Алексею вниманием к деталям. Идеи Фуко и разработки европейских и американских социальных и культурных историков (например, Р. Эванса, Й. Радкау и других) должны были претворяться и корректироваться на богатейшем советском и зарубежном материале 1920–1930-х годов. Очень широкий и своеобразный спектр культурных интересов (лишь частично отраженный в публикациях) и, главное, то, что было названо его друзьями – посмертно – «феноменальной жадностью до смыслов повседневности»¹, кажется, определяло в Алексее и трезвое сознание границ науки, и самостоятельность внутри этих границ. В отличие от подавляющего большинства своих коллег, он свободно и с удовольствием говорил с философами, социологами, художниками или врачами на их языках и об их конкретных (пусть и очень специфических) проблемах – но это был разговор именно историка.

Эта монография, которую сам автор хотел увидеть напечатанной в издательстве «Новое литературное обозрение», выросла в посмертный сборник его работ. Книга о студентах, готовившаяся к печати уже в 2001–2002 годах как своеобразный промежуточный итог

¹ Калугин Д., Блумбаум А. Памяти Алексея Маркова (1967–2002) // Критическая масса. 2002. № 1. С. 141.

предыдущего этапа его научной работы (о чем подробно сказано в авторском предисловии), оказалась последней. Алексей Марков трагически погиб в начале нового биографического и методологического поворота в своем творчестве. Остается лишь предполагать, какими новыми сюжетами и методологическими открытиями он бы делился с читателями сегодня и далее, – зато можно точно сказать, чего мы бы не услышали: тривиальных рассуждений, легковесных построений, банальных и «проходных» фраз. Несмотря на кажущуюся разногласию помещенных в приложения статей, исследований и рецензий, за ними стоит единый принцип проблематизации первичного (источникового) материала и общая рефлексивная установка на сближение истории с другими социальными науками.

Перед нами – исследования второй половины 1990-х годов, в высшей степени характерные именно для общей ситуации – а не среднего уровня! – российской исторической науки того периода, осваивающей понятийный аппарат зарубежной, преимущественно французской гуманитарии. Непривычными, но чрезвычайно важными были развернутые обращения Алексея к эпистемологической и социально-теоретической проблематике – с самого начала его научной карьеры еще в качестве историка советского общества. Дело в том, что коренной идеологический переворот рубежа 1980–1990-х годов для большинства представителей этого цеха не подразумевал столь же масштабного пересмотра методологического багажа или концептуального горизонта: за пределами стремительно сужающегося круга ревнителей прежней ортодоксии спор разворачивался преимущественно между сторонниками теории тоталитаризма (как правило, в самых банальных ее версиях) и защитниками бухаринской альтернативы, идейной чистоты социалистического проекта. Интерес к «нетипичным» группам, вроде студентов пореволюционного времени, углубленные занятия историей повседневности и сексуальной политики, овладение наиболее актуальными разработками американской русистики (прежде всего – осмысление концепций Шейлы Фицпатрик и Лоры Энгельстайн) и, наконец, совершенно закономерный интерес к Фуко и социально-психологическим теориям 1970–1980-х годов – все это резко отличало исследовательский проект Алексея Маркова от начинаний большинства его коллег; и эту свою непохожесть и якобы избыточную «теоретичность» он сам прекрасно осознавал и порой даже намеренно подчеркивал. Это, разумеется, едва ли способствовало продвижению его карьеры, и здесь он оставался человеком безусловно принципиальным – в научном и этическом смысле. Его академические и человеческие запросы, требования и притязания всегда были максимально высоки – и нельзя сказать, что это облегчало ему жизнь. Однако, сознавая и необходимую цену и неизбежность уступок, он, как правило, неуклонно следовал собственным путем.

Если в обширном домене отечественного исторического знания на протяжении всех 1990-х годов основной инновативной областью, как и в предыдущие десятилетия, оставалась медиевистика (связанная с концепциями А. Я. Гуревича, Л. М. Баткина и Ю. Л. Бессмертного, их учеников и последователей), то в истории культуры – скорее по филологическому, нежели по собственно историческому ведомству, – доминантным был круг интересов, так или иначе связанных с московско-тартуской школой: изучение наследия пушкинской эпохи (формалисты, Лотман) и Серебряного века. Вынужденная дистанция от политики вместе с акцентированным «культуроцентризмом» задавали одновременно социально-этические и методологические ориентиры деятельности гуманитарной интеллигенции начиная с 1960-х годов. В том-то и дело, что родительской средой и «слишком советской» сферой своих отроческих устремлений, тематикой студенческих занятий Алексей (о чем подробно сказано в его биографическом интервью Софье Чуйкиной) был отрезан от непосредственного, органического усвоения само-собой разумеющейся системы ценностей и предпочтений, накрепко связывающей во времена его юности и в весьма значимом поколенческом срезе, например, «Синий альбом» Гребенщикова и Бродского с Лотманом, Аверинцевым и «Приглашением на казнь» Набокова. Уместно ли сказать, «по счастью, лишен»? Можно лишь осторожно предположить, что некоторая «усредненность» и «массовидность» исходной площадки его почти феноменального,

захватывающего интеллектуального роста сделали Алексея весьма чувствительным к неявным конвенциям академической и культурной работы. Отсюда и выросал его интерес к социологическому теоретизированию, малопопулярному в отечественной гуманитарной среде. Отстраненность, критическое отношение к любым готовым идеологическим и методологическим шаблонам, даже самым уважаемым, и сформировали особую рефлексивность и ироническую «герменевтику недоверия», столь свойственную его личности и собственному исследовательскому почерку. «Культурное», научное – но и обыденное, «обиходное», телесное, их социальная, историческая (а также актуальная, политическая в самом широком смысле) взаимопереплетенность: здесь, пожалуй, и сошлись основные линии его работы, представленные в этой книге. Необходимо отметить, что, помимо уже указанного осознанного дистанцирования от предыдущего позднесоветского гуманитарного канона, Алексей чувствовал по отношению к нему и безусловную преемственность: так, незадолго до июльской аварии он детально говорил о важности феномена Эйдельмана (для телепрограммы «Неприкосновенный запас»).

В самом деле, тема главных изысканий Алексея – политические и культурные перипетии русской революции и «переходных», нэповских лет – по-прежнему располагалась на протяжении 1990-х не столько в исследовательском, а скорее в идеологическом локусе восприятия отечественного гуманитарного и исторического сообщества. «Постшестидесятнические» настроения почти окончательно сменились тогда в умах академических читателей Солженицына или мемуаров Надежды Мандельштам безоговорочным отторжением этой «авангардной» эпохи как неизбежного преддверия сталинского тоталитаризма. История советского прошлого – этого уже ушедшего, но все еще осязаемого мира – решительно не поддавалась столь разным процедурам описания и «вчувствования», срабатывавшим для раннесредневековых скандинавов, ренессансных гуманистов, современников Пушкина или – даже! – Александра Блока. Неудивительно поэтому стремление Алексея к теоретическому, подчеркнуто аналитическому «остранению» советского опыта, столь непривычное для очень многих его коллег по цеху. Отсюда вытекает и принципиальная «иностранность» заявленного им в данной книге подхода – и потому столь значим для него был опыт Шейлы Фицпатрик и ее учеников, а затем Стивена Коткина (статью которого о советском цивилизационном проекте в сравнительном контексте он переводил для сборника «Мишель Фуко и Россия»), Наиболее привлекательным для Алексея в работах этих ученых было выявление и анализ изменчивых социальных и культурных смыслов, наполнявших и обуславливавших схематику политических трансформаций 1910–1930-х годов. Так, в монографии о студентах и примыкающей к ней статье об обсуждении призыва в армию во время Гражданской войны он показывает, что радикальный дореволюционный идеологический кодекс студенчества в новых условиях оказался достаточно гибок, чтобы, с одной стороны, приблизиться к мировоззрению профессорского сословия в защите корпоративных прав, с другой – отстаивать эти права на основании революционного родства с победившей властью. В работах Алексея середины 1990-х годов сама «советскость» не редуцируется к насилию со стороны карательных органов или контролю партийных инстанций, но рассматривается как гетерогенный феномен с собственной динамикой и культурно-психологическим наполнением.

«Социальное» и «культурное» не были здесь ни синонимами, ни рядоположенными понятиями; можно сказать, что изучение механизмов их взаимообусловленности и опосредования и составило магистральный сюжет развития американской «советологии» (вполне в духе общих тенденций западной историографии) уже в послесоветскую эпоху. Избранный здесь Алексеем путь – анализ групповых идентичностей и «нижележащих» режимов телесности (сексуальности) – весьма отличал его подход от господствовавших в 1990-е и в начале нового века.

Замечательно, что одно из самых интересных и спорных новейших направлений в западных исследованиях сталинизма – исследование «советской субъективности» – отчасти

пересекается с избранным Алексеем ракурсом, в первую очередь по материалу². Так, и в монографии Игала Халфина «От мрака к свету», и в публикуемой работе Алексея в центре внимания оказывается студенчество 1920-х годов, но рассматривается оно с принципиально разных сторон. Петроградское студенчество 1914–1924 годов, ставшее главным объектом исследования Алексея Маркова, с его правилами жизни и поведения, понимается им не как первичный и недифференцированный материал для советского социально-идеологического эксперимента рождения «новой интеллигенции», а как комплексное образование в динамике всемерно изменяющихся обстоятельств и трансформирующейся групповой идентичности. У Халфина же студенты Петрограда и Томска рассматриваются (преимущественно с середины 1920-х годов) не столько сами по себе, но именно с точки зрения овладения ими языком и нормами господствующей «пролетарской» идеологии, генезису которой посвящена добрая часть книги американского ученого³. То, что в социальном и культурном плане «предшествовало» становлению нового советского субъекта, постоянно ускользает из сознания исследователя, все усилия которого направлены именно на анализ последовавшего процесса перековки, точнее, самоперековки⁴. В близком ключе также выдержана подробная и в целом более традиционная работа Петера Конечного о ленинградских студентах (предварительные публикации материалов этой монографии Алексей знал и использовал в своей диссертации): 1917 год не просто определяет хронологические рамки таких исследований, но переносит центр тяжести в этих работах на ситуацию «Великого перелома» и 1930-х, относительно которых события времен нэпа и Гражданской войны видятся скорее подготовительной стадией вне их собственной динамики и конъюнктуры⁵. Развернутая аналогия сталинской модернизации и становления нововременного субъекта (тракуемого по «Надзирать и наказывать» Фуко), проводимая в работах исследователей этого направления, поневоле «спотыкается» о наличие в раннем советском обществе вполне зрелого по общеевропейским нормам коллективного социального агента, каковым было дореволюционное студенчество⁶. С другой стороны, принципиально теоретический подход, акцент на идее сохранения групповой идентичности у студенчества (в конкретных условиях и с помощью новых средств и привычных механизмов) отличал исследования Алексея Маркова от преимущественно эмпирических работ А. Е. Иванова и С. Морисси, посвященных дореволюционному периоду⁷. Привлечение материалов социологических и

² См. многостороннее и содержательное обсуждение данной темы на страницах журнала «Ab Imperio»: Ab Imperio. 2002. № 3. С. 209–408 (в особенности материалы интервью Й. Хелльбека и И. Халфина).

³ *Halfin E.* From Darkness to Light: Class, Consciousness and Salvation in Revolutionary Russia Pittsburg: University of Pittsburg Press, 2000 (см. в особенности главы 4 и 5).

⁴ В плане изучения такого рода языковой мимикрии особенно важна помещаемая в приложении статья «От враждебности к общему языку: вокруг конфликтов по призыву студентов в армию в годы Гражданской войны» настоящего издания.

⁵ *Konechny P.* Builders and Deserters: Student, State and Community in Leningrad, 1917–1941. Montreal & Kingston etc: McGill-Queen's University Press, 2001 (см. р. 54–76, 142–152, и др.). Ближе по постановке вопросов к монографии Алексея специальная статья П. Конечного, посвященная студенчеству уже после чистки 1924 года: *Konechny P.* Library Hooligans and Others: Law, Order, and Student Culture in Leningrad 1924–1938 // *The Journal of Social History.* 1996. Vol. 30. № 1. P. 97–128.

⁶ См. обсуждение проблематичных сторон работ школы анализа «советского субъекта», выполненных под знаком лингвистического поворота: *Глебов С., Могильнер М., Семёнов А.* «The Story of Us»: Прошлое и перспективы модернизации гуманитарного знания глазами историков // НЛЮ № 59 С 198–205.

⁷ *Иванов А. Е.* Студенчество России конца XIX – начала XX века: социально-историческая судьба. М.: РОССПЭН, 1999; *Morissey S. K.* Heralds of Revolutions: Russian Students and the Mythologies of Radicalism. N.Y.; Oxford, 1998.

медицинских обследований тех лет, изучение репертуара практик, коммуникативных сред и культурных вкусов петроградского студенчества переломного времени позволили связать его трансформации начала 1920-х годов с установками предшествующего десятилетия и показать этот важный (пускай и немногочисленный) социальный слой «изнутри», а не только как объект политического манипулирования и идеологической индоктринации⁸.

Сказать, что изучение становления советского универсума, с его набором ценностей и ритуалов, задавалось для Алексея именно эпохой упадка и демонтажа этого строя, было бы, на мой взгляд, слишком поспешным и неверным. Однако связь между проблематикой его научных занятий и личностным сознанием безусловно и признавалась, и рефлексировалась им самим. Для исторического анализа индивидуальной и групповой идентичности Алексею особенно важны во второй половине 1990-х годов были уже не социально-психологические подходы (Сержа Московичи и др.), но в первую очередь историко-антропологические исследования и аналитические статьи французских исследователей Бернара Лепти и Андре Бургьера. Глубокие и обстоятельные занятия историческими формообразованиями сексуальности (вслед за пионерскими работами Фицпатрик и Энгельстайн) принципиально включали «невидимые» и репрессированные практики и были тесно связаны с общими изменениями в обществе и академической среде конца 1980-х – начала 1990-х годов и вместе с тем абсолютно лишены сенсационного налета или наивно-просветительского пафоса⁹. Свидетельством несомненной персональной заинтересованности Алексея в позитивных переменах в поле гуманитарного знания в 1990-е годы, своеобразным итогом его ученического и преподавательского опыта является публикуемая ниже статья о путях реформирования института аспирантуры, подготовленная им совместно с петербургским социологом Борисом Винером. Тот же интерес к актуальным трансформациям нашего исследовательского сообщества, но уже в методологической плоскости, засвидетельствован в многочисленных рецензиях гуманитарных новинок на страницах «Новой русской книги». Особенно показателен здесь развернутый отклик Алексея Маркова (напечатанный уже посмертно) на очень содержательную и вызвавшую множество противоречивых откликов книгу Н. Е. Копосова. Конец 1990-х годов обогатил исследовательский арсенал Алексея, помимо эпистемологии Фуко, также обращением к социологии Бурдьё, к рассмотрению ценностных порядков по Тевено и Болтански и – в качестве философского дисциплинирования мысли – к методическому ригоризму аналитической традиции (и таких ее континентальных представителей, как Жак Буврес). Бессистемное и хаотичное заимствование «западных» методов и подходов постепенно сменялось к середине 1990-х более вдумчивым и рефлексивным освоением – и эти критичность и самостоятельность проявились у Алексея очень рано. Специальные работы по философии и социальной теории, занятия антропологией медицинских практик в Швеции (и в прагматическом и в этическом

⁸ Эти особенности работы Алексея Маркова особенно заметны в сравнении с более «конвенциональными» историческими и социологическими отечественными работами последних лет, посвященными той же проблематике 1920-х годов: *Платова Е. Э., Пшенико К. А.* Новое студенчество России: образ жизни: 20-е годы XX столетия. СПб.: Изд-во СПбГТУ, 1999; *Черных А. И.* Становление России советской: 20-е годы в зеркале социологии. М.: Памятники исторической мысли, 1998. Более значимыми для работы Алексея Маркова были исследования С. В. Ярова и М. Дэвид-Фокса, посвященные 1920-м годам; см. также сборник под редакцией Т. Выхавайнена: *Нормы и ценности повседневной жизни: Становление социалистического образа жизни в России 1920–1930-х гг.* СПб.: Нева, 2000.

⁹ Достаточно сравнить публикацию Алексея Маркова и Владимира Берсенева («Геи и полиция») с книгой К. К. Ротикова «Другой Петербург»; эта статья и комментарии Алексея широко использовались также в интересной работе: *Healey D.* Masculine Purity and «Gentlemen Mischief»: Sexual Exchange and Prostitution between Russian Men, 1861–1941 // *Slavic Review.* № 60 (2). 2001. P. 233–265. Подготовка сборника документов по истории гомосексуальности в России (совместно с Д. Хили) – еще один из начатых, но оставшихся нереализованными проектов Алексея.

измерениях) продолжали, обогащали и существенно меняли его исходную установку историка.

* * *

Сейчас, когда любой разговор об Алексее выстраивается в горькой модальности прошедшего времени: «был», «собирался», «готовился», – привычное выражение «историография вопроса» обретает при разговоре о его излюбленных сюжетах, темах и постановках проблем неожиданно личностное измерение. Спор о советской субъективности, история интеллигенции в повседневном и культурно-антропологическом срезе, «дискурсивная» история сексуальности, практическая методология и философский горизонт наших занятий с текстами и источниками прошлого и настоящего – все эти направления современной отечественной гуманитарии будут развиваться и с учетом сделанного Алексеем Марковым. Качество и характер работы любого историка определяются не только «вообще» окружающей эпохой или уже написанными до него исследованиями, но и личностным вкладом его предшественников в существующую традицию: кто-то другой или мы сами обязательно станем развивать детально изученные или полемически затронутые им идеи и вопросы – однако это будет, так или иначе, уже *после* Алексея Маркова. Ведь помимо «сухого остатка» в виде списка статей и публикаций особенно значимой в питерской и отчасти московской гуманитарной среде – в самых разных компаниях историков, философов, филологов, писателей и художников – была роль Алексея в качестве всезнающего и внимательного собеседника, неутомимого спорщика, участливого советчика и слушателя. И в человеческом смысле, и в профессиональном и интеллектуальном плане его уход стал совершенно невозможной утратой для всех, кто его знал.

Участие многочисленных друзей и коллег Алексея, живущих в России и за рубежом, – из которых нужно особенно отметить усилия и вклад Марии Майофис, – а также помощь его родителей, Ростислава Степановича и Валентины Николаевны Марковых, обеспечили подготовку данного издания к публикации. Без их настойчивости и заинтересованности оно вряд ли стало бы возможным.

Александр Дмитриев

Что значит быть студентом

Предисловие спустя шесть лет

Работа, предлагаемая вниманию читателя, была написана в середине 1990-х годов. Последние существенные дополнения и исправления датированы началом 1997 года. Это – кандидатская диссертация, которую автор защитил в Санкт-Петербургском филиале Института российской истории РАН в октябре того же 1997 года. Ее текст одновременно представляет собой исследование по *гранту № 967/94 Research Support Scheme Института «Открытое общество»* (1994–1996). Оба эти факта существенным образом отразились на общем замысле, архитектонике и стиле книги. Готовя рукопись к печати, я отказался от сколько-нибудь значительных изменений в основном тексте. Некоторые поправки и уточнения в вводных разделах оговариваются особо.

Принимая решение об издании работы в первоначальном виде, я отдавал себе отчет в том, что за последние шесть лет появились масштабные монографические исследования по истории российского и советского студенчества конца XIX – первой половины XX века: это и первый том капитальной работы А. Е. Иванова о дореволюционном студенчестве; и книги С. Морисси и П. Конечного – о студенческом дискурсе старого режима и советской студенческой субкультуре 1920–1930-х годов соответственно; и ключевой текст Т. Маурер о

русской профессуре XIX века¹⁰. Однако многое из того, что *конспективно* было изложено мною больше пяти лет тому назад, остается актуальной программой для дальнейшего анализа. С другой стороны, мое исследование в высшей степени характерно для уходящего в прошлое отрезка нашей интеллектуальной истории и, в этом смысле, само по себе – материал для осмысления.

Книга о петроградском студенте – или о «конструкции петроградского студента» – во многом результат усвоения российским историком современных подходов и дискурса социальных наук, бытующих (или бытовавших) в Западной Европе и Северной Америке. Восстанавливая в памяти собственный интеллектуальный опыт первой половины 1990-х годов, осмысляя его с помощью ставших уже «своими» аналитических инструментов, видишь, до какой степени он не был только «интеллектуальным», созерцательным. После окончания в 1990 году исторического факультета Ленинградского университета автор этих строк поступил на службу в Библиотеку Академии наук как младший научный сотрудник систематического каталога. В мои обязанности входили описание и систематизация российской и зарубежной литературы по отечественной истории и юриспруденции на европейских языках. Базовый *профессиональный* капитал был получен путем конверсии капитала *учебного*: исторической эрудиции, французского языка как *языка чтения* (на тот момент с очень ограниченным словарным запасом), некоторых познаний в итальянском. Профессиональная и возрастная спецификация, «топография» работы в каталоге создали условия для интеграции в мини-сообщество, выделявшееся «политическими разговорами» и символической значимостью владения иностранными языками. Последний фактор и практическая необходимость способствовали быстрому освоению основ английского. Период начала 1990-х годов менее всего можно назвать временем массовой апатии – по крайней мере, для круга, к которому принадлежал автор. Не удовлетворенный условиями работы в БАН, я уже осенью – зимой 1990/1991 года строил планы открытия издательства, специализирующегося на академической исторической литературе (прежде всего на *репринтах* классиков). С другой стороны, работа в БАН, где через мои руки проходили современные и не очень («спецхрановские») зарубежные работы по отечественной истории и юриспруденции; дружба с сотрудником Научной библиотеки им. М. Горького ЛГУ Ю. И. Басиловым (историком-германистом, переориентировавшимся на отечественную историю, но по-прежнему читавшим главным образом «западные» тексты на немецком и английском языках); моя вторая поездка в Венгрию (поздней весной 1991 г.), где я собственными глазами наблюдал стремительные политические и культурные перемены; участие в августовских событиях 1991 года на стороне отождествлявшегося с «демократией» российского руководства – стимулировали мое стремление писать историю «по-новому».

Едва ли можно сомневаться в том, что советская историческая наука была менее автономна от политики и *идеологии*, нежели европейская и североамериканская историография. В особенности в случае истории России конца старого режима и всего советского периода. «Объективизм» – тем более применительно к концу XIX–XX веков – прямо увязывался с *позитивизмом* и квалифицировался как разновидность «буржуазной идеологии», «идеология средних слоев», утопический «средний путь». Социология и история гуманитарного знания и социальных наук по большей части подменялись *идеологической* (хотя и парадоксальным образом приравненной к *научной*) «критикой» *идеологии*. В этих условиях только изменение социально-политического контекста *могло* стимулировать автономизацию исторического знания через возврат к *объективному взгляду*. Но помимо дефицита этого *взгляда* советская историография методически и – там, где это было возможно, – методологически все еще оставалась в лучшем случае (школа А. Я. Гуревича) в 1960–1970-х годах, а как правило – в начале XX века. Превращения истории в *социальную*

¹⁰ См., напр.: *Morissey S. K.* Heralds of Revolution: Russian Students and the Mythologies of Radicalism. N.Y.; Oxford, 1998; *Maurer T.* Hochschullehrer im Zarenreich: ein Beitrag zur russischen Sozial- und Bildungsgeschichte. Köln; Weimar: Wien, 1998 (Beiträge zur Geschichte Osteuropas. B. 27).

науку здесь не произошло. Оставаясь явлением главным образом западноевропейским и североамериканским, история как *наука* могла состояться в России только благодаря общению отечественных историков с их западными коллегами. В моем случае интерес к *теории* и *современным методам* был внутренне связан с темой дипломного проекта в университете: «Социальная психология студентов Петрограда в 1921–1925 гг. Источниковедческий аспект». После его завершения мною по-прежнему читались русскоязычные работы по социальной и исторической психологии, включая пособия по «современным» методам анализа массовой документации (т. е. прежде всего по *контент-анализу*). В силу формальных причин я не смог поступить в аспирантуру в год окончания университета и стал аспирантом-заочником Ленинградского отделения Института истории АН только поздней осенью следующего, 1991 года. Еще в 1989 году мой университетский научный руководитель И. Н. Олегина познакомила меня с работавшим в этом институте молодым историком «рабочего сознания» С. В. Яровым (он выступил на университетском семинаре Олегиной с докладом по теме своей кандидатской диссертации; позднее он рецензировал мою дипломную работу) и тогдашней заведующей отделом аспирантуры ЛОИИ Н. Б. Лебиной, нетипичность траектории академической эволюции которой способствовала нашему тесному общению на протяжении ряда лет. Тема будущей диссертации была выбрана заранее: «Социальная психология студентов Петрограда в 1914–1925 гг.». Новым научным руководителем стал тогдашний директор ЛОИИ доктор исторических наук, член-корреспондент РАН В. А. Шишкин. Поскольку аспирантура была заочной, мне предоставили максимальную автономию как в том, что касалось сбора материала, так и в выборе методологии.

Параллельно я стремился воспользоваться открывшимися возможностями для научного «бизнеса»: в условиях «либерализации цен» (1992 г.) выплачиваемая с задержками зарплата младшего научного сотрудника БАН уже не казалась весомой. Благодаря друзьям из профсоюзного комитета СПбГУ П. Самсонову и С. Иванову, мы с Ю. Басиловым познакомились с программой «Образование в духе мира», реализовывавшейся под эгидой НАТО, в которой участвовали Полемологический институт Гронингенского университета в Нидерландах и Мурманский педагогический институт. В декабре 1991 года в аэропорту «Пулково-2» наша четверка принимала делегацию из Гронингена, направлявшуюся в Мурманск. Мы договорились о сотрудничестве в написании учебного пособия для школьников «Образы России и Запада в (школьной) истории». Ю. Басилов, часто ездивший в Москву, подружился с корреспондентом голландской газеты «Ханделсблад НРС» Х. Смитсом. Последний сделал статью-репортаж о «молодых историках из Петербурга», впоследствии послужившую нам рекламой. Летом 1992 года мы вчетвером отправились в Москву с целью сбора архивных материалов советского периода для учебного пособия. Оказавшись в бывшем Центральном партийном архиве, переименованном в Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории, я и мои коллеги стали свидетелями подготовки российско-голландской выставки коминтерновских документов «Коммунистическая партия Нидерландов и Коминтерн» (впоследствии сорвавшейся), благодаря чему установили контакты с представителями российской и голландской архивно-научной бюрократии. Директор общинного архива Гронингена Ян ван ден Брук представил нас атташе по культуре голландского посольства и будущему консулу Нидерландов в Петербурге Дерку Яну Копу. Примерно в то же время я придумал для нас самостоятельный научно-исследовательский проект «Голландский Петербург», посвященный «тотальной истории» (под влиянием только что вышедшего в русском переводе исследования Ф. Броделя «Материальная цивилизация, экономика и капитализм в XV–XVIII вв.») голландской общины города в 1703–1920 годах¹¹. Уже в конце осени 1992

¹¹ К зиме 1992/1993 года стало ясно, что натовская программа «Образование в духе мира» сворачивается, и мурманско-гронингенский проект был заморожен.

года, по согласованию с Д. Я. Копом и директором Эрмитажа М. Б. Пиотровским, мы начали готовить выставку документов по истории петербургских голландцев в Меншиковском дворце. Состоявшаяся в феврале 1993 года выставка совпала с открытием генерального консульства Нидерландов в Петербурге. Благодаря ей мы заручились рекомендательным письмом посла Голландии в России д-ра Й. Боса. Уже к лету того же года проект «Голландский Петербург» выиграл полугодовой грант Фонда международной информации и коммуникации (Нидерланды). Став руководителем проекта, я ушел из БАН (в июне 1993 г.). На первом этапе своей реализации наш замысел предполагал систематическое описание печатных и архивных источников по истории голландской общины города. Именно эта работа вызвала особый интерес рецензента отчетов моей группы, преподавателя Гронингенского университета Яна ван Конингсбрюгге, к началу 1994 года решившего переориентировать нас на участие в *его* архивно-описательном проекте «Источники по истории голландско-российских связей в архивах Москвы и Санкт-Петербурга». Тянувшиеся почти год (по январь 1995 г.) и завершившиеся неудачей переговоры о взаимоприемлемых финансовых условиях этого участия означали, по сути, окончание голландского эпизода моей биографии. Между тем в 1993–1995 годах в рамках проекта мною был подготовлен и прочитан на кафедре истории Нового времени исторического факультета СПбГУ спецкурс по истории Нидерландов и голландско-российских отношений и написан ряд статей и тезисов: об антропологии голландского предпринимателя в Петербурге XVIII – начала XX века (не опубликована); о парадигмах исследования малой этнической группы в большом городе в англосаксонской социологии; об образе голландского левого в коминтерновской журналистике (не опубликована).

В январе 1993 года мы с Ю. Басиловым приняли участие в международной конференции о Февральской революции 1917 года в России, проходившей под эгидой ЛОИИ. Там я впервые познакомился с американскими, английскими и французскими славистами – У. Розенбергом, Р. Г. Суни, А. Рабиновичем, Э. Свифтом, С. Смитом, М. Ферро, Ю. Шеррер. Участвуя в дискуссии и общаясь с коллегами в кулуарах, мы стремились противопоставить интегрировавшихся в мировую историографию «молодых историков» «старикам», в чем отчасти и преуспели. Благодаря знакомству с У. Розенбергом спустя два года я принял участие в подготовке англоязычного «Критического справочника по русской революции. 1914–1921». Беседы с Ю. Шеррер «обернулись» годом учебы в парижской Школе передовых исследований по социальным наукам (EHESS) со стипендией французского правительства (в 1995–1996 гг.). А интенсивное общение с Э. Свифтом явилось важным событием в контексте моей переориентации с социальной истории на историю дискурса. Уже осенью того же 1993 года, получив рекомендательные письма У. Розенберга и И. Н. Олегиной, я оформил под тему будущей диссертации заявку на грант от RSS, который и выиграл летом следующего года. Заявка была выдержана в традициях социальной истории – я попытался, в частности, использовать концептуальный аппарат современной европейской социальной психологии (Тэджфел, Московичи).

На этом фоне уже к весне 1994 года состоялось мое знакомство с новыми «постмодернистскими» текстами по русской истории – например, со статьей Э. Наймана о «чубаровском деле», которую мне переслал Э. Свифт. Тогда же в моих руках оказались «Слова и вещи» М. Фуко. Необычные сюжеты, хотя и в традиционной аранжировке, разрабатывали близкие мне тогда коллеги: например, Н. Б. Лебина закончила (в соавторстве с М. В. Шкаровским) книгу о проституции в Петербурге – Ленинграде с середины XIX века до конца 1930-х годов. Собственный интерес к истории сексуальности проявился в выборе сюжета для доклада на готовившейся Левиной конференции по истории российской повседневности 1920–1930-х годов: концепции сексуальности в России 1920-х годов. Тогда я полагал, что пишу историю дискурса о сексуальности. На самом деле речь шла именно о «теориях» и их соотношении. Конференция оказалась поворотным для меня событием. В отличие от коллоквиумов в Институте истории, «погоду» здесь делали «постмодернисты». Я познакомился с теоретически ориентированными исследователями, жизнь и работа которых

проходила между англосаксонским и российским мирами, – учеником Э. Гидденса В. Волковым и политическим философом-фуколдианцем О. Хархординим. Будучи неадекватным пафосу доклада Хархордина о советской личности, я обрушил на автора поток бессмысленной «критики». В то же время подлинный интерес к философии М. Фуко заставил меня более внимательно отнестись к тому, *что же* именно хотел сказать Олег. Этот интерес привел меня весной следующего – 1995 года – на аспирантский курс В. Волкова по социальной теории в едва открытом Европейском университете.

Более глубокое усвоение «современного» исторического видения позволило мне написать текст об «автономии» и «корпоративности» в студенческом движении в России рубежа XIX–XX веков и во Франции в 1968 году как флуктуации европейского политического дискурса Нового времени, представленный в июне 1995 года на международной конференции по «революциям» в университете Абердина (Шотландия). Поездки на заседание Академического совета Международной ассоциации студентов-историков в Юваскюля (Финляндия), на «переговоры» с Яном ван Конингсбрюгге в Нидерланды, кратковременная работа в Международной Герценовской школе Н. И. Батожок (сентябрь – декабрь 1994 г.) – одной из первых частных средних школ Петербурга – содействовали дальнейшей «европеизации» моего сознания. Особую роль в этом движении сыграли мои отношения с Николаем Евгеньевичем Колосовым, с которым я был знаком еще с университетской скамьи (как студент может быть знаком с преподавателем). Историк французской бюрократии второй половины XVII века в начале своей карьеры, он всегда отличался ярко выраженными методологическими интересами. К середине 1990-х они сместились в сторону устной истории и когнитивных наук при сохранении французского критического пафоса 1970-х по отношению к «проекту» социальных наук в целом. В октябре 1995 года я участвовал в организованном им российско-французском коллоквиуме в СПбГУ, где рассказывал о советской профессуре «между партийно-государственной бюрократией от высшего образования и студенчеством». Этот доклад вызвал известный интерес у французских социологов Лорана Тевено и Жоэль Аффисар. Однако я еще не отдавал себе отчета как в специфике «социологии конвенций», так и тех отношений, которые традиционно поддерживали историки-«анналисты» с социологами. Впечатления от докладов Мориса Эмара, Бернара Лепти, Жана-Ива Гренье, Франсуа Досса также были «неопределенными»: мои представления об эволюции школы «Анналов» с конца 1980-х годов оставались еще весьма смутными.

С таким багажом, получив доброжелательные советы Копосова, я «высадился» в Париже в ноябре 1995 года. Мне предстоял год учебы в Школе передовых исследований по социальным наукам (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales). В качестве темы дипломной работы (diplôme d'études approfondies) я выбрал «Дискурсы о сексуальности в СССР между двумя мировыми войнами (1920–1930-е гг.)». Тем самым моя предыдущая работа не пропала, а проекты диссертации и грантовой работы включили в себя новую составляющую. Тот факт, что тема плохо «стыковалась» с сюжетами, близкими Ю. Шеррер¹², побудил меня искать неформального научного руководителя, каковым в итоге стал Андре Бюргьер, международно признанный специалист по исторической антропологии и истории семьи. Как двойственность моего статуса, так и относительная «широта кругозора», которую я приобрел в последние годы, позволили мне (и подталкивали меня) использовать шанс пребывания в Школе на сто процентов: я посещал семинары П. Бурдьё и С. Московичи, Ж. Ревеля и П. Нора, А. Бюргьера и Ж.-Л. Фландрена, по истории немецкой философии между мировыми войнами и по ранней истории социальных наук (конец XIX – начало XX в.), по философии гостеприимства и по юридической кодификации «свободных профессий» в Италии XIX века. Работа над дипломом требовала постоянного совершенствования во французском языке через «глубокое погружение» в новый для меня

¹² И вообще плохо вписывалась в ее семинар по истории русской интеллигенции.

социальный контекст. В определенный момент я обнаружил, что даже русские фразы строю на французский манер. Интерес к социальной философии, социальной теории и истории сексуальности тем самым приобрел «французский контур». Помимо дипломной работы, он существенно трансформировал мой подход к теме кандидатской диссертации (и грантового проекта для Института «Открытое общество», а также способствовал появлению текстов и докладов по «боковым» сюжетам: «Англо-американская культурная антропология, колониализм и „сексуальность“ аборигенов между мировыми войнами» (для лувенской конференции Международной ассоциации студентов-историков в декабре 1995 г.), «Евгеника и дискурс о сексуальности в Советской России 1920-х гг.» (для семинара А. Бюрдьера в мае 1996 г.). Период неопитства середины 1990-х не был и вряд ли мог быть временем совершенного владения усваиваемыми техниками научного и философского анализа. Тем не менее, при всем своем несовершенстве, защищенная в EHESS дипломная работа стала рубежом моей «научной биографии».

Вернувшись из Франции осенью 1996 года, я за три месяца доработал текст кандидатской диссертации. И лексика, и стилистика, и концептуальный аппарат этого сочинения несут на себе печать «французского года». Фуко, Бурдьё, социология конвенций Л. Болтански и Л. Тевено использованы здесь *характерным* для историка способом – не эклектично (если, конечно, не выходить на «метафизический» уровень – здесь мне положительно ближе поздний М. Фуко и П. Бурдьё), но с точки зрения *тактической полезности* тех или иных перспектив и концептов. Поскольку историка прежде всего интересует диахроническое измерение изучаемого явления (темпоральность и ее режимы), любой концепт становится «подвижным», «расплывчат» (сравнительно с его социологическим аналогом, данным в синхронии, т. е. опространственным). Историк – в равной степени «археолог» и «генеалог», если прибегнуть к словарю Фуко. Он изучает разрывы на фоне преемственности и наоборот. Любая идентичность для него сомнительна – хотя и инструментально необходима. Он «естественным образом» расположен к парадигмальному антидогматизму, смене перспектив.

Перспектива «студента», вокруг которой выстроена эта работа, была не только научным выбором (хотя и им тоже), но и практически ориентированным размышлением о *собственном* студенчестве (в смысле интегрированности в определенное сообщество, отношений с профессурой и университетской бюрократией, организации учебы, повседневных практик и, в особенности, сексуальности). Важное для автора неизбежно приобрело статус *общего*. Это *общее* далеко не всегда выглядит *органичным* в российском контексте, поскольку осмыслено с помощью *чужих* концептов, в *чужой* перспективе. Например, история студенческой сексуальности показалась некоторым старшим коллегам чем-то малозначительным и/или неприличным даже в 1997 году: «Действительно важны другие проблемы! А об этом вслух и говорить-то неловко (о мастурбации, например. – А. М.)... Вы же не медик?!» «Единственно возможный дискурс „о сексе“ – дискурс медицинский» – такова была конвенция, на которую опирались эти высказывания. Автор же исходил из перспективы «политики сексуальности», что позволяло нарушить сложившиеся конвенции, подорвать некоторые старые дискурсивные стратегии и произвести новые. Парадокс в том, что перспектива эта была очевидна для европейца или американца (очевидна по-разному, разумеется), но выглядела странной, импортированной «с Запада» из сугубо конъюнктурных соображений – в Россию (тоже, конечно, не для «всех»). С начала 1990-х годов коммерциализированная эротика и разрушала, и обслуживала традиционные ценности. Экономический дискурс о сексе – в каком-то смысле нонсенс, но в то же время он не требует политической революции (по крайней мере, тут не усматривается никакого автоматизма). Поэтому многие конвенции остались нерушимыми для невестернизированных интеллектуалов, во всяком случае. Столь богатая – с точки зрения «советского человека» 1970–1980-х годов – дискуссиями о сексуальности эпоха 1900–1920-х годов, дискуссиями, которые не могут быть сведены к рубрикам «медицинский дискурс» или «юридический дискурс», оказывается идеальным объектом для истории российской

«сексуальности». Поэтому аллергия или снисходительные насмешки отечественных историков звучат в данном случае резким диссонансом (даже с сугубо научной точки зрения). Но здесь и проявились слабость истории как автономной научно-гуманитарной дисциплины и известная идеологическая произвольность суждений «профессионалов».

Неуместность настоящей работы и определялась ее «французскостью» (или «американскостью»). Библиография диссертации вызвала у иных «старших коллег» недоумение: почему в работе по российской истории использовано столько книг и статей на иностранных языках, зачастую посвященных отнюдь не российской высшей школе и – даже! – не исторических? Это же «социология и философия»! Почему автор опирается на англо-американскую славистику в суждениях по ключевым вопросам (чистки в высшей школе первой половины 1920-х гг., отношения студентов и профессоров, профессоров и государства в тот же период): ведь они не знают «нашей специфики»? Не оттого ли, что, по собственному признанию, он рассказывает о себе «как студенте» и т. д.? Неужели мои оппоненты предполагали, что «одно из двух» – либо «о себе», либо «об историческом студенте»? Вряд ли. Едва ли для них никогда не стоял вопрос об аналитической перспективе и методологии – скорее неприемлемые (по разным причинам, но, почти всегда, далеким от «идеологии» *незаинтересованного ученого*) перспективу и «приемы» нужно было дискредитировать, представив их как нарушение автономии науки, то есть как «политику, опрокинутую в прошлое», и только, без всяких научно-дисциплинарных опосредований.

Диссертация оказалась не только характерным примером вестернизации российской гуманитарной науки и общественной жизни. Она также демонстрировала степень этой вестернизации. Для кандидатской она удивительно конспективна: иллюстрации помещены в сноски, развернутых цитат мало. Это – прежде всего *анализ*. Во-вторых, используемые понятия – двусмысленны. Их можно читать и как операционально-научные, и как эпистемологические (философские), и как политические (я-идеологические). Более или менее осознанное стремление автора совершить «французский жест» в так называемой «постструктуралистской» манере конца 1960–1980-х годов, в то же время оставаясь в пределах науки, наиболее ярко выразилось в этой полисемизации и культивировании небеллегривованного «пунктирного письма»¹³. Сегодня собственный стиль кажется мне откровенно подражательным. Но для неопита это был естественный ход.

Введение

Размышляя о содержании и форме этой работы, автор решил сосредоточить известное внимание на вопросах «общего характера», то есть подумать вместе с читателем о возможности так или иначе строить историко-психологическое исследование – в частности, исследование, обозначенное в названии этой книги, – и даже о принципиальной возможности исторической психологии. Отдавая себе отчет в «странности» такого начала для российской, да и не только для российской, традиции монографического исследования конкретно-исторического сюжета, мы черпали вдохновение в современных теоретических дискуссиях в мировой, а в особенности во французской, исторической науке, с одной стороны, и в том состоянии неуверенности, если не сказать растерянности, которое отличает сегодня тексты *методологически обеспокоенных* российских ученых, с другой. Кроме того, сам сюжет, избранный для анализа, требует обсуждения ряда важных методологических вопросов, тем более что работ, посвященных «психологии» отдельно взятой большой социальной группы, не так и много в исторической литературе – как отечественной, так и зарубежной¹⁴.

¹³ Конечно, с точки зрения логика-профессионала, любое историческое письмо неизбежно «пунктирно». А для ригориста среди таких профессионалов – неприемлемо в его претензиях на статус «научного».

¹⁴ См., в частности, работы: *Иерусалимский В. П.* Рабочий класс ФРГ: психология, сознание,

Возможно ли историко-психологическое исследование?

Несмотря на кажущуюся очевидность (ведь предпринимает же автор данное исследование), на этот вопрос едва ли существует простой и однозначный ответ. Во-первых, он связан с более общим вопросом о современном состоянии социальной психологии: ибо исследования больших социальных групп как социально-психологических объектов имеют весьма короткое прошлое и вызывают гораздо больше вопросов, нежели дают ответов¹⁵. Во-вторых, проблематичной остается «законнорожденность» самой исторической психологии, равно как и ее место на древе социальных наук: если речь идет об ответвлении истории, то едва ли разумно стремиться к моделированию сложившегося в социальной психологии инструментария научного анализа; равно бессмысленна и погоня за некоей неуловимой «историчностью» на территории социальной психологии (и все это при условии, что историческая психология вообще возможна!).

Посмотрим, какие решения предлагали наши предшественники, рискнувшие создать несколько различных версий историко-психологического исследования. Одной из первых возникла так называемая «психоистория», ориентированная на психоанализ и получившая особое распространение в США¹⁶. Ее представители предпочитали жанр психоаналитической биографии, что было весьма логично в рамках фрейдистской парадигмы. Биографии Вильсона, Гитлера, Александра Македонского и даже самого «отца-основателя» З. Фрейда вошли в моду. Вскоре психоисторики заинтересовались и более сложными для психоаналитического метода историческими реалиями, так называемым коллективным бессознательным – на материале средневековых процессов над ведьмами, прихода германских нацистов к власти, судеб первых американских колонистов¹⁷. Главные претензии, предъявляемые к психоистории оппонентами, сводились, во-первых, к критике ее теоретической базы – психоанализа как «ненаучной» доктрины и, во-вторых, к изобличению ее антиисторизма, то есть взгляда на исторического по своей сути субъекта (социальную группу) как на раз и навсегда данного, наделенного, так сказать, одной и той же психобиологической социальностью. Кроме того, психоанализ все-таки мало помогал решению проблем исторической психологии больших социальных групп, оставаясь (и будучи изначально) ориентированным на опыт «изолированного» в социальном отношении субъекта буржуазного общества начала века.

Другая попытка «сконструировать» историческую психологию принадлежала небольшому кругу французских ученых школы И. Мейерсона. Ее главным представителем остается историк античности Вернан¹⁸. Эта школа была многим обязана философии, социологии и этнологии начала века: Бергсону, неокантианцам, Дюркгейму и Моссу,

сознательность. М., 1986; Поршнев Б. Ф. Социальная психология и история. Изд. 2-е. М., 1979; Vernant J.-P. Mythe et pensée chez les Grecs: Études de psychologie historique. V. 1–2. Paris, 1974–1978; Demos J. P. A Little Commonwealth: Family Life in Plymouth Colony. L., 1971; Entertaining Satan: Witchcraft and the Culture of Early New England. N.Y., 1982; Hallpike C.R The Foundations of Primitive Thought. Oxford, 1979.

¹⁵ Об истории исторической психологии см.: Белявский И. Г., Шкуритов В. А. Психика. Культура. История. Ростов-на-Дону, 1990.

¹⁶ Есть несколько классических американских исследований, выдержанных в этом жанре: Demos J. P. A Little Commonwealth N. Y.: Oxford UP, 1971; Demos J. P. Entertaining Satan. N.Y.: Oxford UP, 1982.

¹⁷ Demos J. P. A Little Commonwealth.

¹⁸ См. фундаментальную для этой традиции работу Мейерсона и книги Вернана по истории греческой мысли: Meyerson I. Les fonctions psychologiques et les œuvres. Paris, 1948; Vernant J.-P. Op. cit.

Леви-Брюлю. Впоследствии, в 1950–1960-е годы, она испытала сильное влияние структурализма Леви-Строса. Мейерсон сконцентрировал свое внимание на проблематике человеческих «творений» – «œuvres» – как историко-психологического феномена: их структуре, объективации и т. п. В свою очередь, Вернан «наложил» эту теоретическую схему на историю личности в Древней Греции, будучи одним из пионеров исследований такого рода. Возможная претензия к мейерсоновской традиции может быть сведена к критике некоторой искусственности их построений, так сказать «насилия» над историей, ибо сами концепты Мейерсона представляются не столько «археологией» сознания, сколько онтологической схемой, которая сконструирована на основе и посредством анализа (в определенной этической проекции) современной ему личности, без учета многочисленных исторических разрывов.

Наконец, выделим демарш школы Анналов – историю ментальностей, которая не является исторической психологией в собственном смысле слова, но «работает» в том же направлении. Французские историки, отойдя в 1970-е годы от социально-экономической тематики, привнесли методологию Анналов в сферу истории духовного мира. «*Longue durée*» была найдена и там: «анналисты» стремились обнаружить и описать некие фундаментальные, «неподвижные» черты психологии человека Средневековья и раннего Нового времени, что им, до известной степени, удалось¹⁹. Вопросом остается, шла ли речь действительно об исторической психологии или скорее о выявлении «эпистем» – базовых моделей, лежавших в основе средневекового мышления. Последнее тем более вероятно, что поворот к анализу менталитета происходил на фоне сдвига от структурализма к постструктурализму и поглощения исторической реальности языком (но не у всех авторов, традиционно связываемых с этим направлением). Что же касается собственно социальной психологии, то в лице Московичи с его концептом социальных репрезентаций, дюркгеймовским в своей основе, ее французская ветвь влияла на историографию в немалой степени: во всяком случае, «укоренение» в массовой психике «научных» теорий (что можно было распространить на отношения письменной культуры церкви и устной народной культуры в эпоху Средневековья) стало постоянным предметом медитаций историков²⁰. Принципиальной проблемой для исследователей этого поколения стал вопрос методики: как анализировать коллективное сознание людей ушедших эпох. Многим казалось универсальным традиционное герменевтическое чтение исторических источников, но под новым углом зрения. Другие пытались использовать современные аналитические методики социальных наук – контент-анализ и анализ дискурса²¹. Причем часто авторы даже не упоминали о социально-психологической направленности их работ, сохраняя известную дистанцию между двумя дисциплинами. Со своей стороны, предпринимая исторические демарши, социальные психологи редко обсуждали эту «историзацию» своей дисциплины в

¹⁹ См., напр.: *Ariès P. Essai sur l'histoire de la mort en Occident du Moyen-Age à nos jours.* Paris, 1975; *Corbin A. Les filles de noce: Misère sexuelle et prostitution au XIX^e – XX^e siècles.* Paris, 1978; *Duby G. Le chevalier, la femme et le prêtre: le mariage dans la France féodale.* Paris, 1981, и мн. др. Имеется и российская ветвь «анналистской» традиции, представленная А. Гуревичем и его учениками: *Гуревич А. Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников.* М., 1989; *Гуревич А. Я. Средневековый мир: культура безмолвующего большинства.* М., 1990, и др.

²⁰ См. работу Московичи об усвоении психоанализа французской публикой и исследовательскую литературу, отражающую влияние гипотезы Московичи: *Moscovici S. Psychanalyse, son image et son public.* 2-e éd. Paris, 1976; *Chombart de Lauwe M.-J. Un monde autre: l'enfance. De ses représentations à son mythe.* 2-e éd. Paris, 1979, и др.

²¹ Об этих исследованиях см. в: *Struever N. S. Historical Discourse // Handbook of discourse analysis / Ed. by T.A Van Dijk. V. 1. Disciplines of Discourse.* L., 1985 P. 249–271.

качестве самостоятельной теоретической проблемы²². Тут же нужно учитывать известный «антипсихологический» крен в работе наиболее влиятельного на рубеже 1970–1980-х годов французского мыслителя М. Фуко, отмечавшего органический антиисторизм психологической науки²³. Главной проблемой «анналистов» стала нормативная природа их анализа. Критика структурализма быстро обнаружила сугубо эвристический характер «структур-эпистем», как бы ни оценивался этот факт с философской точки зрения.

В известной степени реакцией на критику и попыткой выйти из кризисного состояния своей дисциплины явился проект американских социальных психологов супругов Герген, принадлежащих скорее к европейской психологической школе²⁴. Гергены шли к исторической психологии с другой стороны, нежели Мейерсон и анналисты. Они – «классические» социальные психологи. Соответственно их интересовала не столько историческая реальность сама по себе, сколько «историческое измерение» современного им социального субъекта, «археология» тех или иных *наблюдаемых* социально-психологических явлений. Это роднит их демарш с часто противоположными по своему смыслу интеллектуальными ориентациями – с проектом Фуко и с этнометодологией, с символическим интеракционизмом и с социологией действия Л. Болтанского и Л. Тевено²⁵. Среди прочего (и это принципиально) они интересуются «разрывами» в истории человеческого сознания (как социального объекта, разумеется). Исследования этой школы могут охватывать разные по «масштабу» сюжеты – от истории жеста до истории субъекта как такового²⁶. Методологически, или даже скорее методически, ее авторы гораздо в большей степени привязаны к аппарату социальной психологии, включая формальные методы, тем более что они работают, как правило, с «живыми» социально-психологическими процессами.

Однако даже эти обнадеживающие примеры оставляют открытым вопрос об историко-психологическом исследовании любой «исчезнувшей» реальности. Не исключено, что подобное исследование вообще нереализуемо, по крайней мере с точки зрения современных стандартов социальной психологии. В рамках же истории следует говорить скорее о психологическом «векторе» исследования, рассматривающего эволюцию личности или группы. Тогда исторической психологии следовало бы ограничиться четким определением своей тематики и своего места на карте уже известных методов исследования. Более того, в одном и том же случае – как, например, в нашем, связанном с исследованием социальной психологии петроградского студенчества, – часто возможны оба подхода: «археология» современного нам российского студенчества или «герменевтика» студенческой корпорации 1910–1920-х годов. Выбор соответственно зависит от «цеховой» принадлежности исследователя: историк редко предпринимает малосовместимые с «обычаями» и языком профессии исследования «археологии» современности. Да и его ли это задача?

²² Примером является работа *Chombart de Lauwe M.-J.*, указанная в примеч. 1. (в файле – примечание № 20. – *верст.*).

²³ *Фуко М.* Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / Пер. Н С. Автономовой и В. П. Визгина. СПб., 1994. С. 368–385.

²⁴ *Historical Social Psychology* / Ed. by K.J. and M. M. Gergen. New Jersey; L., 1984.

²⁵ См., напр.: *Garfinkel H.* *Studies in ethnomethodology.* Englewood Cliffs; New Jersey, 1966; *Botlanski L.*, *Thévenot L.* *De la justification: Les économies de la grandeur.* Paris, 1991; *Goffmann E.* *The Presentation of Self in Everyday Life.* L., 1969.

²⁶ *Historical Social Psychology* / Ed. by K.J. and M. M. Gergen. New Jersey; L., 1984.

Еще один закономерный вопрос, связанный, однако, с вышесказанным, касается применения так называемых социально-психологических законов: вроде «закона внутригруппового фаворитизма – внегрупповой враждебности» Тэджфела²⁷. Если в данном случае речь идет о некоем подобии «биологического принципа», в рамках коего может иметь место весьма разный социальный опыт, то едва ли подобные закономерности вообще должны интересовать аналитика социальных феноменов – они ничего не могут дать для понимания *социального*. Если же, напротив, преследуется цель вскрыть некую *социально* -психологическую специфику, то как она может быть интерпретирована абстрактно, раз и навсегда? Почему сознание и поведение человека ушедших эпох должны подчиняться правилам, действительным для наших современников? И кроме того, не являются ли часто эти «законы» лишь санкцией современного нам «ходячего здравого смысла», наделенного легитимностью, его оправданием – грубо говоря, политическими банальностями?²⁸ То есть нет ли обратного «закона» Московичи движения: от здравого смысла к научной гипотезе (что не отменяет возможности «взаимообмена»)? Высказывая тем самым известный скепсис в отношении сколько-нибудь значительной роли открытых социальными психологами регулярностей в исторических исследованиях, мы не хотели бы отрицать их значения в строго определенном смысле (правда, этот смысл еще предстоит очертить). В любом случае, мы находим возможным воздерживаться от ссылок на эти «закономерности» как нечто проясняющее.

Выбор общего кадра данного исследования спроецирован, таким образом, на наше профессиональное самоопределение как историка, с одной стороны, и историческое видение социальных реалий, включая самого человека как социального субъекта и научное знание о нем, – с другой. Если мы и предпринимаем историко-психологическое исследование, то прежде всего как *историческое*, хотя оно и не является сугубо *толковательным*: некий элемент «*археологии*» современного нам российского интеллектуала, студента в том числе, присутствует постоянно – ощущается это читателем (либо даже автором) непосредственно или нет. Ведь исследователь с его этикой незаинтересованности тоже представлен в изучаемом им предмете.

Об объекте нашего исследования

Читатель уже знает, какие именно задачи ставит себе автор и из каких теоретических посылок он исходит. Однако необходимо с самого начала ограничить рамки исследования, максимально четко определить его объект: реконструкция социальной идентичности студента Петрограда в пред- и послереволюционные годы могла бы занять не один том.

Студенчество, которое интересует нас, составляло некое воображаемое и в то же время реальное единство на протяжении 1860-х – начала 1920-х годов: сообщество, отделенное невидимыми, но более или менее четкими «границами» от профессуры (т. е. внутри университета) и от государства с его правительственно-бюрократическими структурами (вне высшей школы). В свою очередь, пятилетие 1921–1925 годов позволяет сконструировать по меньшей мере два «студенчества», находящихся в противоречивых или враждебных отношениях друг с другом, не «отменяя», однако, минувшего. Во второй половине нэповского десятилетия это реконструированное минувшее кажется «воскрешенным» (несмотря на будущий катаклизм «культурной революции» 1928–1931 гг.). Именно история разрушения/восстановления самосознания социальной группы оказывается в центре нашего

²⁷ Tajfel H., Fraser C. *Introducing Social Psychology*. L., 1978; Tajfel H. *Intergroup Relations, Social Myths and Social Justice in Social Psychology* // *The Social Dimension* / Ed. by H Tajfel. V. II. Cambridge; Paris, 1984. P. 695–714 и др.

²⁸ Bollanski L., Thévenot L. *Op. cit.* P. 39–59. Ср. о принципе классификации: *Idem.* *Finding One's Way in Social Space: A Study based on Games* // *Social Science Information*. 1983. V. 22. № 4/5. P 631–680.

внимания. Таким образом, риторика (дискурс) о единстве, парадигмы «общестуденческого языка», «разломы», наметившиеся в этой риторике в пред- и послереволюционные годы, становление новых «языков», их кризис и гибель к середине 1920-х годов могут быть определены как проблематика настоящей работы. Само их рассмотрение потребует анализа совершенно разных «разделов» студенческой риторики – от политики до быта и сексуальности, поскольку каждый из них по-своему высвечивает парадигмы группового языка.

Мы уже подчеркнули воображаемо-реальный характер студенчества. Его реальность тем более ощутима, что воплощена в жизненном мире студента эпохи, в его *практиках* повседневности. Он не только так *говорил*, он так *жил*, если вообще целесообразно ставить стену между языком и «реальностью». Поэтому трансформация жизненного мира – столь же важное измерение для нашего исследования, как и эволюция риторики. «Единство» реализовалось в забастовках и бойкотах, деятельности хозяйственных и профессиональных организаций, стандартах поведения и быта, зафиксированных (и формируемых) «социологами» того времени. Сходным образом «разладу» были присущи собственные практики: классовые организации, «чистки» с активным участием одной из сторон, поляризация традиционных форм студенческой активности (сходки, студенческие объединения различного характера и т. п.), дифференциация жизненных стандартов (не без участия социологов-статистиков).

Наконец, мы не склонны рассматривать все эти изменения, абстрагируясь от исторической конкретики. Нестабильность, непредрешенность результата суть свойства любой человеческой ситуации, тем более они бросаются в глаза в данный исторический момент. Как появлялись нормативные формы риторики и «жизни» студенчества, их неизбежно политический (т. е. принудительный, связанный с отношениями власти) характер – все это тоже в поле нашего внимания. Безусловно, ни один исследователь не в состоянии проанализировать всю мозаику деталей, составляющих историю той или иной этической нормы – будь то «дискурсивной» или «практической». Главное – предложить более или менее убедительную модель этой мозаики. Как «единство», так и «раскол» студенческой корпорации – «человеческих рук дело»: их интерпретация менялась в зависимости от ситуации.

Несколько слов о методе

Из вышесказанного читателю уже многое стало ясно в отношении метода (а отчасти и методик) нашей работы. И все же сделаем некоторые уточнения.

Оставаясь историком и следуя, до известной степени, требованиям профессионального характера, автор не намерен выходить за пределы профессионального языка. В то же время последний дан нам в исключительном многообразии минувших и ныне действующих историографических школ. Мы вдохновлялись поисками теоретического и конкретно-научного характера французской и англосаксонской историографии 1970–1990-х годов, имея в виду «Анналы», «Past and Present», «новую культурную историю». Таким образом, мы можем «черпать из разных рек», оставляя за собой право конструировать свою собственную модель.

То же можно сказать и о методиках конкретного характера. Мы отказались от использования «специальных технических средств» – контент-анализа, анализа дискурса (в узколингвистическом смысле) и т. п. Однако традиционное историческое «толкование» – это самовнушение прошлого, «каким оно действительно было» либо нам видится после «медитирующего чтения», – также не осталось в нашем активе в своей первоизданной форме. Контроль за дистанцией, отделяющей исследователя от его объекта, настоятельно необходим. Хотя дистанция эта не представляет собой расстояния между различными логиками – скорее нужно говорить о ценностях.

Об историографии

Несмотря на критическое отношение к традиции (или именно потому), мы находим полезным предложить читателю историографический фон данного исследования, тем более что он отличается исключительной пестротой. И не только в риторическом плане, но и с точки зрения географии: об истории российского и, в частности, петроградского студенчества писали и по-русски, и по-английски. Исследуемый нами период освещен далеко не равномерно: большое количество работ о первой половине 1920-х годов соседствует с единичными и не дающими общей картины статьями о 1914–1920 годах. Наконец, студенчество как самостоятельный сюжет занимает незначительное место в историографии: его история вписана в более общие темы – высшая школа, интеллигенция, технические и научные работники, история политических партий и движений, история культуры (в узком и широком смысле слова), история досуга и т. п. Еще менее авторов интересовало студенческое самосознание, и уж совсем в малой степени – те его аспекты, которые оказались в центре настоящей работы. Тем не менее вольно или невольно многие касались близкой нам проблематики.

Среди общих трудов по истории высшей школы России и Петрограда накануне и после революции можно выделить монографии и статьи монографического типа, весьма подробно анализирующие административную сторону дела: 1) работу А. Е. Иванова о высшей школе России конца XIX – начала XX века, 2) книгу Ш. Х. Чанбарисова о формировании советской университетской системы²⁹, 3) исследование А. П. Купайгородской о высшей школе Ленинграда в первое послереволюционное семилетие и 4) статью Ф. Ф. Королева об истории высшего образования в 1917–1921 годах³⁰. Изобилующие фактическим материалом названные исследования позволяют реконструировать институциональную «рамку» жизни студенческой корпорации. А. Е. Иванов дал наиболее полный анализ развития высшего образования на исходе старого режима. Проанализировав большой комплекс архивных и опубликованных материалов по истории соответствующей политики министерства народного просвещения и «отраслевых» министерств, истории университетов и ведомственных учебных заведений, по негосударственному сектору высшего образования, статистике студенчества и преподавательских кадров, он наиболее полно охарактеризовал дореволюционное студенчество как социальную группу (ее состав по «социальному происхождению», профессиональное и географическое распределение, среднюю успеваемость и т. п.). Ш. Х. Чанбарисов впервые ввел в исследовательский оборот богатейший архивный материал по истории первых советских университетских реформ, в частности по летнему и осеннему (1918 г.) совещаниям Наркомпроса с профессурой, младшими преподавателями и студенчеством, политике в отношении студенчества в годы военного коммунизма и нэпа. А. П. Купайгородская всесторонне проанализировала изменения в высшей школе Петрограда – Ленинграда того же периода, обратив особое внимание на «структурную» политику властей, вопросы финансирования и обеспечения, изменение социального состава учащихся, организацию учебного процесса и научной работы. Статья Ф. Ф. Королева «сильна» статистической базой, картиной меняющихся государственных приоритетов в годы Гражданской войны, знанием преподавательской

²⁹ Книга Чанбарисова издавалась дважды – в 1973 году в Уфе (472 с.) и в 1988 году в Москве (256 с.). Разница в объеме говорит сама за себя; кроме того, сокращение произошло за счет важных в фактическом отношении разделов. Мы предпочитали пользоваться первым изданием книги.

³⁰ *Иванов А. Е.* Высшая школа России в конце XIX – начале XX века. М., 1991; *Чанбарисов Ш. Х.* Формирование советской университетской системы. Уфа, 1973; *Купайгородская А. П.* Высшая школа Ленинграда в первые годы Советской власти (1917–1925). Л., 1984; *Королев Ф. Ф.* Из истории народного образования в Советской России (Низшие и средние профессиональные школы и высшее образование в 1917–1920 гг.) // Известия АПН РСФСР. Вып. 102. М., 1959. С. 3–156.

работы того времени. К этим исследованиям необходимо добавить ряд ценных статей и монографий по истории отдельных реформ и связанных с ними трансформаций в структуре управления высшей школой – например, работы Т. М. Смирновой о принятии университетского устава 1921 года³¹, – равно как и «биографии» отдельных высших учебных заведений Петербурга – Ленинграда³². Исключительно ценны опыты анализа истории Наркомата просвещения, в особенности принадлежащие перу Ш. Фицпатрик и М. Б. Кейрим-Маркус³³, тем более что в первом из них известное место уделено и студенчеству на фоне региональных различий московской и петроградской политики. К этой «библиографической группе» примыкают и биографические исследования о Луначарском и Покровском как деятелях Наркомпроса³⁴. Административная «атмосфера», как она представлена в цитированных исследованиях, связана с анализом путей и способов конструирования студенческой риторики и действия, позволяет вообразить поведение бюрократа, его резоны и реакции на студенческие инициативы (и наоборот) – одним словом, горизонты «возможного», как оно могло тогда восприниматься, хотя, конечно, круг интересов названных авторов не включал наиболее важное для нас индивидуальное измерение студенческой административной политики, а именно: как те или иные решения рождались из опыта отношений конкретных бюрократов с конкретными студентами.

В ином ключе, с точки зрения эволюции социального института, преподносит историю высшей школы вторая книга Фицпатрик о социальной мобильности в нэповской России. Студенчеству в ней уделяется заметное место³⁵. Автор сосредоточила свое внимание на так называемой «пролетаризации» университета и сопутствующих проблемах – чистках студенчества и студенческих организаций, взаимоотношениях большевиков и «красных» вузовцев. Уже тогда, на опубликованных материалах, Фицпатрик показала противоречивый, «анархический» характер знаменитой «чистки» 1924 года и быструю нейтрализацию ее последствий восстановлением значительной части исключенных в следующем 1924/1925 учебном году. Она вновь подчеркнула значение региональных и ведомственных противоречий и впервые отметила решительную перемену в отношениях между партийными верхами и «новыми» студентами после дискуссии с Троцким в 1923–1924 годах, когда многие коммунисты высших учебных заведений – московских прежде всего – поддержали оппозицию. Вопрос о «пролетаризации» рассматривался сквозь призму исследования

³¹ *Смирнова Т. М.* История разработки и проведения в жизнь первого советского устава высшей школы // Государственное руководство высшей школой в дореволюционной России и в СССР. Сб. ст. М., 1979. С. 6–38; *Смирнова Т. М.* Органы государственного руководства высшей школой РСФСР 1917–1925 гг. (История фондообразователей архивов РСФСР). М., 1984.

³² История Ленинградского университета: Очерки / Под ред. В. В. Мавродина Л., 1969; Ленинградский горный институт за годы Советской власти. Л., 1971; Ленинградский горный институт им. Г. В. Плеханова. 1773–1973. М., 1973; Технологический институт им. Ленсовета: Сто лет. 1828–1928. Л., 1928. Т. 1–2; 150 лет Ленинградского ордена Трудового Красного Знамени технологического института им. Ленсовета / Под ред. В. А. Проскурякова. Л., 1978, и др. Отметим также важные работы Н. М. Катунцевой об эволюции и социальной роли рабочих факультетов, о структурах управления ими (Опыт СССР по подготовке интеллигенции из рабочих и крестьян. М., 1977; Роль рабочих факультетов в формировании кадров народной интеллигенции в СССР. М., 1966).

³³ *Fitzpatrick S.* The Commissariat of Enlightenment: Soviet Organization of Education and the Arts under Lunacharsky. 1917–1921. Cambridge, 1970; *Кейрим-Маркус М. Б.* Государственное руководство культурой. Строительство Наркомпроса. Ноябрь 1917 г. – сер. 1918 г. М., 1980.

³⁴ *О'Коннор Т. Э.* Анатолий Луначарский и советская политика в области культуры. М., 1992; [Чернобаев А. А. Профессор с пикой, или Три жизни М. Покровского. М., 1992].

³⁵ *Fitzpatrick S.* Education and Social Mobility in the Soviet Union, 1921–1934. Cambridge, 1979.

социальной мобильности в раннюю советскую эпоху, в отличие от недавней статьи Фицпатрик «Приписывая класс», сместившей акценты давней дискуссии в сторону анализа соотношения сословного и классового в *сознании* человека 1920-х годов³⁶.

Особо следует выделить работы об интеллигенции и отдельных ее группах, о профессуре и студенчестве в первую очередь. Блестящая монография С. Кассова о профессуре и студенчестве предреволюционной России отличается исключительным богатством материала и тонкостью анализа³⁷. Среди прочего ее автор уделил значительное внимание идеологическим, психологическим и организационным предпосылкам студенческого движения, социальным условиям жизни студентов, включая противоречия учебного процесса и внутриуниверситетской политики. Он впервые в современной историографии подчеркнул доминанту корпоративной установки во взгляде дореволюционного студента на мир, минимизировав при этом значение «политики»: движение учащихся высшей школы 1890–1910-х годов было, по его мнению, прежде всего движением за корпоративные права и совпадало с намерениями студентов-политиков лишь постольку, поскольку они не расходились с воображаемыми целями корпорации. Не вполне соглашаясь с рассуждениями автора, – ибо в России последних десятилетий старого режима политическое звучание приобретала отнюдь не только «чистая» политика, и те же студенты рассматривали свое противостояние с чиновником как политический акт, – признаем, что открытие новой перспективы, вероятно, неизбежно вело автора к такого рода простительным преувеличениям. Кассов справедливо обратил внимание коллег и на непродуктивность рассмотрения истории студенчества вне контекста его отношений с профессурой и государственной бюрократией: этот подход стал фундаментом и настоящей работы. Наконец, им были высказаны важные, хотя и спорные, суждения по частным проблемам: например, о преобладании младшекурсников среди лидеров студенческого движения в силу их относительно большей «свободы выбора». Мы полагаем, что уже в 1910-е годы ситуация изменилась вследствие возникновения легальной студенческой политики (после манифеста 17 октября 1905 г.), следствием чего стала «бюрократизация» студенческого движения. Однако важно само обращение к проблематике лидерства. Таким образом, исследование Кассова очертило новые контуры для исторического рассуждения о российском студенте рубежа веков.

Книга Дж. Макклелланда «Самодержцы и ученые» о профессуре в царской России высвечивает студенческий жизненный мир с другой стороны, с точки зрения ближайшего партнера-противника студентов – профессорско-преподавательской корпорации³⁸. Сословное самосознание профессорской корпорации, ее двусмысленные отношения с государственной администрацией, идея автономии университета и «мистика науки» как базовая черта профессионального сознания – эти векторы отчасти предопределили и ход наших размышлений о том, как представлял себе студент профессора, его наставника и оппонента в одном лице.

Наконец, мы можем указать ряд работ (диссертаций и статей) собственно о студенчестве: диссертацию М. В. Борисенко о петроградских студентах накануне Первой мировой войны – обстоятельную работу, где акцент поставлен на перипетиях политической борьбы в студенческой среде; диссертацию и статью П. Конечного о Петроградском университете в первые послереволюционные годы, и в особенности о чистке 1924 года в нем; диссертацию И. Н. Селезнева о социологии советского студенчества 1920–1930-х годов;

³⁶ Fitzpatrick S. Ascribing Class: The Construction of Social Identity in Soviet Russia // The Journal of Modern History. 1993. V. 65. № 4. P. 745–770.

³⁷ Kassow S. D. Students, Professors, and the State in Tsarist Russia Berkeley; Los Angeles; L., 1989.

³⁸ McClelland J.C. Autocrats and Academics: Education, Culture, and Society in Tsarist Russia Chicago; L., 1979.

многочисленные работы о рабфаковцах и, в целом, об изменении социального состава студенчества³⁹. В них мы находим важнейшую информацию для нашего сюжета – поэтому читатель не раз встретится с цитатами и ссылками на эти работы. Кроме того, данной группе исследователей в той или иной мере присуща та точка зрения на изучаемый предмет, от которой мы сознательно отталкивались. Их позицию наиболее отчетливо сформулировал П. Конечный в своей неопубликованной работе о студенческой культуре 1917–1941 годов: эта культура представляется в виде константы, *longue durée*, благополучно пережившей потрясения 1910–1930-х годов. Со своей стороны, мы настаиваем на разрыве, отделяющем концепцию студента начала века от идеи вузовца середины 1920-х годов, на том, что связь между ними может быть установлена только «археологически», используя лексикон М. Фуко, по «следам» предшествующей этики в последующей.

Кратко остановимся на месте студенчества в трудах по истории политической и идеологической борьбы, экономической и социальной структуры и ее эволюции, культуры России 1910–1920-х годов. Читатель сталкивается с настоящим морем литературы: от бесчисленных диссертаций, статей и книг о деятельности партийных, комсомольских и профсоюзных организаций в стенах высшей школы (не говоря о созданных на рубеже 1910–1920-х годов структурах партийного высшего образования) и кончая историями литературной и художественной жизни, театра, кино, библиотек и чтения, праздников⁴⁰. Безусловно, на этом фоне какие-то сюжеты освещены весьма поверхностно, а другие исключительно тенденциозно – особенно те, которые касаются политико-идеологической истории студенчества⁴¹. Чтобы «нарисовать» на базе наличной историографии картину политической и идейной жизни петроградского студенчества, согласующуюся с современными представлениями об объективности, приходится учитывать немногочисленные и не всегда конкретные упоминания в работах по истории высшей школы в целом и по истории научно-преподавательских кадров. Отметим, в частности, интересные (для времени их появления в свет) исследования Федюкина, Соскина и некоторых других историков⁴². Сосредоточенные на различных аспектах эволюции той или иной группы

³⁹ Борисенко М. В. Студенчество Петербурга в 1907–1914 годах. Автореферат канд. лис. Л., 1984; Конечный П. Chaos on Campus: The 1924 Student *Proverka* in Leningrad // Euro-Asia Studies. 1994. V. 46. № 4. P. 617–635; State Paternalism, Campus Culture and the Soviet Student Community, 1917–1941 (рукопись). 1994, Селезнев И. Н. Социологические исследования проблем студенческой молодежи в СССР (20-е – первая половина 30-х гг.). Канд. дис. Л., 1981; Lane D. The Impact of Revolution: The Case of Selection of Students for Higher Education in Soviet Russia 1917–1928 // Sociology. 1973. № 7. P. 241–252; McClelland J.C. Proletarianizing the Student Body: The Soviet Experience during the New Economic Policy // Past and Present. 1978. № 80. P. 122–146 и др.

⁴⁰ Сафразьян Н. Л. Борьба КПСС за строительство советской высшей школы. 1921–1927 гг. М., 1977; Красникова А. В. Студенческая организация при Петербургском комитете РСДРП(б) и ее вклад в советское государственное строительство в первые послеоктябрьские месяцы 1917 г. // Проблемы государственного строительства в первые годы Советской власти / Под ред. Ю. С. Токарева. Л., 1973. С. 67–82; Лейкин А. Я. Против ложных друзей молодежи. М., 1980; Шилов Л. А. Создание и укрепление партийных организаций вузов и их участие в борьбе за политическое завоевание высшей школы в первые годы советской власти (1917–1921 гг.) // Вестник ЛГУ. Серия истории, языка и литературы. 1965. № 8. Вып. 2. С. 14–24; Фортунатов В. В. Революционное студенчество и вузовская интеллигенция Петрограда-Ленинграда в 1921–1925 гг. // Великий Октябрь и молодежь / Под ред. В. И. Лариной. Л., 1978. С. 20–37; Bales K. E. Technology and Society under Lenin and Stalin: Origins of Soviet Technical Intelligentsia, 1917–1941. Princeton; New Jersey, 1978; Зак Л. М. История изучения советской культуры. М., 1981, и мн. др.

⁴¹ Практически отсутствует сколько-нибудь полная история политической жизни университета в 1917–1921 годах; то же можно сказать об истории небольшевистских политических объединений студентов. В какой-то – хотя и очень малой – степени утешением служит цитированная в примеч. 1 (в файле – примечание № 40. – *верст* .) небольшая работа А. Я. Лейкина.

⁴² Федюкин С. А. Великий Октябрь и интеллигенция: Из истории вовлечения старой интеллигенции в

научных и технических специалистов, книги Бэйлса, Джоравского, Ивановой также значительно расширяют наши сведения об учебной организации и социальных условиях существования студенчества⁴³. Эти исследования позволяют лучше понять профессиональные особенности самосознания студенчества разных вузов и факультетов, формы самопонимания и самопроявления студентов технических, естественнонаучных и гуманитарных специальностей.

Научная разработка истории студенческого быта и «менталитета» практически отсутствует. Ранняя статья Ш. Фицпатрик о сексуальных практиках студентов 1920-х годов остается среди редких исключений⁴⁴. Написанная в конце 1970-х годов, она трактовала сексуальность сквозь призму отношений между партийными функционерами и студенчеством и отмечала неспособность учащегося 1920-х помыслить себя как действительно «нового» студента, разорванность его сознания между критикой старого порядка и страхом «заразиться мелкобуржуазными представлениями». На наш взгляд, сегодня можно рассматривать эту неустойчивость в контексте становления личности советского интеллигента на иной, отличной от дореволюционной, основе, в рамках сложного конфликта между «старым» и «новым» студенчеством, между студентами-«пролетариями» и профессурой. Растущее число исследований по истории повседневной жизни нэповской России и по «археологии» советской личности открывает дорогу для дальнейшей конкретизации этого подхода⁴⁵.

Подводя итоги обзору историографии, существенной для освещения нашего сюжета, естественно признать, что ею были поставлены вопросы, определившие контур настоящей работы: «корпоративное» сознание дореволюционного студента, необходимость изучения студенческого поведения и сознания в контексте отношений учащихся с профессурой и бюрократией, преемственность и разрыв между «новым» и «старым» студентом в условиях революционных перемен в университете, так называемая «пролетаризация», место студенческого экспериментирования в эволюции советской личности и ряд других. Однако перспектива, избранная большинством наших предшественников, – это макроистория социальных процессов. Со своей стороны, автор данной работы стремится показать, насколько важно рассмотрение частного студенческого опыта: в его свете проблемы, в значительной степени порожденные риторикой историков, «исчезают» или приобретают необычный контур.

строительство социализма. М., 1972; *Он же*. Борьба с буржуазной идеологией в условиях перехода к нэпу. М., 1977; Партия и интеллигенция. М., 1983; *Соскин В. Л.* Ленин, революция, интеллигенция. Новосибирск, 1973.

⁴³ *Bailes K. J.* Op. cit.; *Joravsky D.* Soviet Marxism and Natural Science, 1917–1932. L., 1961; *Иванова Л. В.* У истоков советской исторической науки М., 1968; *Она же*. Формирование советской научной интеллигенции (1917–1927 гг.). М., 1980; *Ульяновская В. А.* Формирование научной интеллигенции в СССР. 1917–1937 гг. М., 1966.

⁴⁴ *Fitzpatrick S.* Sex and Revolution: An Analysis of Literary and Statistical Data on the Mores of Soviet Students in the 1920s. // *The Journal of Modern History*. 1978. V. 50. № 2. P. 253–276.

⁴⁵ *Левина Н. Б., Шкаровский М. В.* Проституция в Петербурге (40-е гг. XIX в. – 40-е гг. XX в.). М., 1994; *Naiman E.* The Case of Chubarov Alley: Collective Rape, Utopian Desire and the Mentality of NEP // *Russian History / Histoire Russe*. 1990. V. 17. № 1. P. 1–30 [см. русский перевод в сб.: Советское богатство: Статьи о культуре, литературе и кино. К 60-летию Х. Гюнтера. СПб.: Академический проект, 2002]; *Revolutionary Anorexia (NEP as Female Complaint)* // *Slavic and East European Journal*. 1993. V. 37 № 3. P. 305–325; *Kharkhordin O.* The Soviet Individual: Genealogy of A Dissimulating Animal // *Global Modernities / Ed. by Featherstone M. et al.* L., 1995. P. 209–226; *Idem.* Reveal and Dissimulate: A Genealogy of Private Life in Soviet Russia // *Public and Private in Thought and Practice.* / Ed. by Weintraub J. and Kumar K. Chicago, 1996. См. также русский перевод книги О. Хархордина «Обличать и лицемерить». М; СПб., 2001.

Источники и их критика

Для освещения настоящей темы могут быть привлечены значительные массивы архивных материалов в петербургских и московских архивохранилищах – Центральном государственном архиве историко-политических документов Петербурга (бывшем партийном), Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга (который в период написания книги находился на реконструкции), Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга, Российском государственном архиве социально-политической истории и Государственном архиве Российской Федерации в Москве, равно как и в ряде других. В нашей работе их использование ограничено документами ЦГА Санкт-Петербурга, ЦГАИПД и РГАСПИ.

В ЦГА Санкт-Петербурга наибольший интерес для нас представили следующие фонды: отдельных вузов; управления уполномоченного наркомпроса по вузам, рабфакам, научным, научно-художественным и музейным учреждениям г. Ленинграда – ф. 2556; отдела народного образования Ленгубисполкома – ф. 2552; Ленотдела Главного управления научных и научно-художественных учреждений – ф. 2555; Комиссии по улучшению быта учащихся – ф. 3176; студенческих профсекций – ф. 6276, оп. 69 (Ленгуббюро пролетарского студенчества) и фонды отраслевых профессиональных союзов. Архивы учебных заведений включают в себя, как правило, достаточно подробные отчеты о работе правлений, позволяющие проследить эволюцию отношений профессуры, студенчества и государства, позицию студенческих представителей, перипетии внутрестуденческого конфликта. Таковы, например, материалы Правления Ленгосуниверситета (ф. 7240, оп. 14), часто заменяющие нам другие источники по истории университета в 1917–1924 годах, погибшие в дни наводнения 1924 года. В них зафиксированы точка зрения студенческих делегатов на проекты реформ, с которыми выступали власти, реакция профессуры и студенчества на репрессивную политику государства, конфликты вокруг формирования академического представительства учащихся. До 1923 года протоколы были весьма лаконичны и передавали содержание отдельных выступлений несколькими, а то и одной фразой. Позднее они превращаются в некое подобие стенограммы, детально излагающей обсуждение даже второстепенных вопросов. Не менее существенны коллекции личных дел студентов. Их содержание предельно формально: стандартные биографии, справки об успеваемости, различного рода прошения. Эта бюрократическая краткость имеет и свои положительные стороны: исследователь получает в свои руки основные вехи жизненного и университетского пути вузовца, включая документы о социальном статусе, об истории его семьи, родителях. Благодаря сохранившемуся комплексу личных дел универсантов мы располагаем, в частности, биографиями вождя «старого» студенчества, председателя Центрального общестуденческого комитета Петрограда С. П. Жабы, высланного в 1922 году из России; партийного лидера университетских студентов-«пролетариев» К. И. Кочергина и многих других⁴⁶. Принципиально важны архивы общежитий первой половины 1920-х годов, на основании которых возможен анализ бытовых практик «красного» студенчества. Например, по университетскому общежитию в нашем распоряжении имеются документы Правления университета и исполнительного бюро профкома студентов⁴⁷. Материалы факультетов и их отделений освещают реформы учебного процесса, позицию студентов по этому вопросу, работу учащихся в научных кружках и семинариях⁴⁸.

⁴⁶ ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 2. Д. 1261.; Оп. 4. Д. 791.

⁴⁷ ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 14. Д. 153.

⁴⁸ См., напр.: ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 14. Д. 176.

Особо следует прокомментировать профсоюзные архивы⁴⁹. Они позволяют познакомиться с разными стилями студенческой речи: выступлениями на собраниях и заседаниях комитетов и бюро, просьбами о материальной помощи. Кроме рядовых профсоюзных собраний мы располагаем стенограммами комиссий по чистке, перепиской о судьбе отдельных исключенных. Указанные протоколы позволяют изучать студенческий дискурс об «общественности» и его иерархии в первой половине нэповского десятилетия. Взаимодействие профсекций с партийными и комсомольскими ячейками, бюро и комитетами, выборные кампании, формирование повестки дня и дебаты по важным вопросам – все так или иначе зафиксировано в архивных материалах. Последние тем интереснее, что профсоюзы были наиболее массовой организацией «пролетариев», своеобразной школой овладения официальным советским языком. На этом фоне выделяются решенные в другом жанре прошения об оказании материальной помощи, еще не приведенные к раз и навсегда заданному стандарту. Проблематика класса, пожалуй, одна из центральных для данного фондообразователя, каковой она, впрочем, была и для «нового» студенчества. Дебаты об изменении либо сохранении профсоюзной структуры в вузе по отраслевому принципу свидетельствуют об эволюции «классовой» картины мира. Отраслевая профсекция должна была соединять студента с рабочим коллективом, играя роль одного из гарантов «спайки» новой интеллигенции с системообразующей социальной группой. Ясно, что профсоюзные дискуссии представлены в основном выступлениями студенческих лидеров⁵⁰.

Партийные архивы, хранящие стенограммы собраний ячеек РКП(б) и отчеты партийных комитетов, позволяют заглянуть на верхние этажи студенческой «общественности», изучить технологию принятия многих решений⁵¹. Будучи «новыми» студентами, коммунисты конструировали образ мышления, в котором встречались официальные формулы и собственно *студенческий* мир. Взаимодействуя с «рядовым» учащимся, член партии нередко мог воспользоваться своим более высоким статусом, навязывая свои языковые модели. Безусловно, в каждом данном акте коммуникации в игру вступала конкретная конфигурация статусных ролей, исполнявшихся социальными актерами. В то же время ситуация 1920-х годов отличалась исключительностью партийного статуса во многих типах коммуникации – даже в интимных отношениях (конечно, следует избегать любой переоценки). Изучая протоколы партийных собраний, мы сталкиваемся с, так сказать, *эталонными* высказываниями, сопричастными студенческим реалиям и затем деформируемыми в условиях «демократической» студенческой коммуникации. Кроме того, отчеты парткомов интересны возможностью отследить разного рода искажения, нарушения и отступления от нормативного языка, особенно частые в условиях сосуществования данной этики с другими способами оценивать мир – сосуществования, реального на всем протяжении 1920-х годов⁵². Равным образом могут оказаться полезными комсомольские архивы.

Периодика – студенческая, вузовская, городская – иногда сообщает больше, чем архивные материалы. Во всяком случае, они корректируют друг друга. До осени 1918 года сохранялся в большей или меньшей степени плюрализм прессы, возникший после 17 октября

⁴⁹ ЦГА СПб. Ф. 6276. Оп. 69. Д. 4–6, 22, 29, 99 и др.

⁵⁰ Об «интерпретаторах» и связанных с их вмешательством отношениях доминирования см.: Bourdieu P. La distinction: Critique sociale du jugement Paris, 1979. P. 535–541.

⁵¹ ЦГАИПД. Ф. 1158. Оп. 1. Д. 1а, 1б, 208, 233, 238; Ф. 40. Оп. 1. Д. 1б и др. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 60. Д. 220, 489.

⁵² Речь здесь, разумеется, идет только о риторике письма – о дискурсе.

1905 года. При всех ограничениях печаталось немало студенческих газет и журналов: от эпохи 1914–1916 годов до нас дошли газета левой политической ориентации «Студенческие годы», ряд студенческих сборников⁵³. Особое внимание университету и институтам уделяла либеральная пресса – достаточно пролистать ежегодники газеты «Речь». Резко сокращается печатное пространство в 1917–1920 годах, сперва по причине отсутствия необходимых средств и падения корпоративной организованности студенчества, позднее – по цензурным соображениям и из-за дефицита бумаги. Студенческая пресса возрождается уже в первые годы нэпа, но в новом обличье. Если «Студенческие годы» были прежде всего *политическим оппозиционным* органом, то «Красный студент» и журнал университетского рабочего факультета «Вулкан» имели задачей представить университетскую и институтскую жизнь, а также литературное творчество. Специфика печатных изданий заключается в своего рода «двойной нормативности», когда нормативный студенческий – или «новостуденческий» – язык как минимум согласован с официальным *метаязыком*⁵⁴ – по крайней мере там, где этот последний определенно сложился (например, в политике). Печать не отличается, с другой стороны, от документов разного рода общественных организаций в том, что она также сосредоточена в руках интерпретаторов, доминирующих в корпоративной жизни. Учитывая особенности функционирования языка-практики, этот факт не представляет собой преграды, но существенно специфицирует процедуру анализа как архивных, так и печатных документов. Тексты нестуденческого происхождения, хотя и опосредованы *метаэтикой* эпохи, но специфичны как проявления того или иного *частного* дискурса. Однако даже они могут быть полезными, информируя о корпоративных практиках. Например, «Красная газета» в 1923 году писала о «неделе помощи пролетарскому студенчеству»⁵⁵. Из ее корреспонденций нам становится известно о «сборе милостыни» на городских улицах, технике пропагандистской кампании и т. п., что позволяет очертить тенденции в студенческой коллективистской культуре начала 1920-х годов. Интересны и важны свидетельства о студенческом быте. Кому бы они ни принадлежали – студенту или нет, раскрываемый в них мир повседневных практик доступен по большей части благодаря журналистике и литературе (художественной, мемуарной). Например, из публикаций «Красного студента» видно, *как* учащиеся пытались рационализировать быт посредством экономии времени, разделения домашнего труда, экспериментов с «дальтон-планом»⁵⁶. Регулярно появлявшиеся в журналах «пробы пера» на поприще художественной литературы доносят до нас живой язык студента-«пролетария», показывая рождение, трансформацию и ассимиляцию нормативного «мышления», зафиксированного вузовской журналистикой и партийно-профсоюзно-комсомольскими архивными материалами. Примитивные с точки зрения литературной техники студенческие рассказы, повести, поэмы оказываются в этом отношении более ценными, нежели изощренный писательский текст⁵⁷. «Пролетарии» часто писали не на студенческие темы, но о Гражданской войне, деревне. Выбор сюжетов и их освещение интересны прежде всего в контексте тревоги за потерю «классового статуса».

Социологические и статистические материалы датированы в массе своей 1920-ми годами, точнее – их серединой. Сугубо по Петрограду их найдено немного, но возможно

⁵³ См., напр.: Путь студенчества. М., 1916.

⁵⁴ Имеется в виду язык-основа, то есть язык, претендующий на универсальность.

⁵⁵ Красная газета. 1923. 3 октября, 10 октября, 23 ноября, 29 ноября.

⁵⁶ Красный студент. 1924. № 3. С. 25–28, 31; № 4. С. 24; № 6. С. 33–34; № 8/9. С. 19–22.

⁵⁷ Ср.: Каверин В. А. Освещенные окна // Каверин В. А. Собр. соч.: В 8 т. Т. VII. М., 1983. См.: Ч. III. Петроградский студент. С. 379–588.

привлечение – для анализа контекста – сведений по другим регионам. Объекты исследования варьировали от общей характеристики условий жизни и умонастроений студенчества до анализа жилищной обстановки, сексуального поведения, репертуара чтения или бюджета времени. В частности, мы располагаем итогами анкеты В. В. Кизеветтера о жилищно-бытовых условиях петроградского студенчества в середине 1920-х годов, опросом Е. В. Полякова о половой жизни и установках студентов Ленинградского медицинского института в тот же период, общим обследованием учащихся Технологического института⁵⁸. Социологические опросы одновременно конструировали «образцового студента» (т. е. играли политически значимую роль) и анализировали эффекты этого конструирования. До известной степени социология эпохи нэпа (да и дореволюционного времени) связана с той волей к рационализации, которую можно было бы описывать в терминах второго российского Просвещения, если бы она не накладывалась на культуру Серебряного века. Опросники были построены исходя из гипотезы о нормативной структуре студенческой личности, с отслеживанием возможных отклонений от заданной нормы. Студент, с одной стороны, усваивал данную схему, а с другой – творил ее как участник социального процесса. Не только социолог или общественный работник, но и преподаватель и – чаще всего – сам *студент* полагали (и, наверное, не могли не полагать) данную гипотезу оптимальной, а описываемую ею личность нормативной. Тем самым опросный лист, даже без учета полученных социологом данных, может быть важным источником по истории студенческих ценностей. Анализ более изощренный, с учетом корреляций между различными разделами и отдельными вопросами анкеты, позволяет исследователю выявить нюансы «нормативной личности», в особенности там, где ни у спрашивающего, ни у отвечающего не было ясности: например, в вопросе о статусе и перспективах семьи как социального института. Студент Коммунистического университета им. Я. М. Свердлова (Москва) в начале 1920-х годов считал семью явлением реакционным, буржуазным и соответственно лишённым будущего, противопоставляя ей, как правило, «длительное свободное сожительство»⁵⁹. Однако уже в середине десятилетия опросы студенчества различных регионов и специальностей – Харькова (медики), Одессы (вся совокупность городского студенчества), Петрограда (медики) – выявили поворот к семейным ценностям, хотя и неустойчивый. Неустойчивость отразилась и в дискуссиях вокруг нового брачно-семейного Кодекса РСФСР, принятого в 1926 году, и в социологической литературе, например в книге С. Я. Вольфсона «Социология брака» (1929 г.). По сути, зарегистрированный брак мало отличался от «длительного свободного сожительства» по своим юридическим последствиям. Поэтому в тех условиях было бы упрощением противопоставлять эти две формы семейной организации. Констатация исторической ограниченности семейного института, прямая его увязка с переходным к коммунистическому обществу периодом, с мелкобуржуазной стихией вели к предсказанию его скорой и неминуемой кончины⁶⁰. Причем этот взгляд не был конъюнктурой, но напротив – чертой «мышления», дискурсивной особенностью того *историзма*, который отличает марксизм. До тех пор пока апокалиптическое видение мира (ощущение кануна мировой революции) раннего большевизма было определяющим, будущее семейного

⁵⁸ Поляков Е. В. Студенчество ЛМИ как профессионально-бытовая группа (По анкетному исследованию 1924/25 г.) // Социальная гигиена. 1928. № 1 (11). С. 67–88; Кизеветтер В. В. Обследование студенческих общежитий при ленинградских вузах в санитарном и бытовом отношениях // Там же. № 4(14). С. 51–64: *Он же*. К характеристике современного студенчества. Л., 1927, и др.

⁵⁹ Гельман И. Половая жизнь современной молодежи. М.; Пг., 1923. С. 95.

⁶⁰ Вольфсон С. Я. Социология брака и семьи. Минск, 1929; ВЦИК XII созыва. Вторая сессия. Стенограф, отчет. М., 1925. С. 222–312; ВЦИК XII созыва. Третья сессия. Стенограф, отчет. М., 1926. С. 554–704, 862–868.

института казалось сумрачным⁶¹. В то же время какой-либо новый проект для половой жизни отсутствовал. Отрицательное отношение к семье сопровождалось критикой «буржуазной распущенности». Можно сказать, это были две стороны одной медали: в результате складывалось впечатление *ложности, двусмысленности* именно *буржуазного* брака, а не брака вообще. Потенциально оставалась возможность объявить коммунизм обществом реставрации «истинной семьи». Пропаганда умеренности – если не «пролетарского аскетизма» – звучала во многих текстах эпохи⁶². С другой стороны, оценка брачного института коррелировала с интерпретацией любви. Рационализм и материализм 1920-х годов выразился, в частности, в отрицании важной роли или даже реального существования «сложных эмоций», включая любовь. Студенты указывали на сугубо физиологическую основу отношений полов⁶³. Их взгляды вписывались в вульгарную версию фрейдовского психоанализа, как и в упрощенную павловскую физиологию. При этом некоторых «статистиков» удивляло, что отрицающие существование любви как таковой сами, однако же, ее пережили. У этой загадки могло быть несколько решений, не противоречивших одно другому (в рамках заданной системы этических координат): 1) если брак есть буржуазный институт, тогда его природа имеет мало общего с тем, что называется любовью, – более того, не является ли «любовь» буржуазной же риторикой о браке; 2) понятие «любовь» может служить и для обозначения простой физиологической связи; 3) «любовь» есть «сложная эмоция», но преходящая (как всякая эмоция) и связанная с «физиологией», и с «буржуазным» ее пониманием (основа брачного союза) ничего общего иметь не может и т. п. Эти решения основаны на анализе как дискурса эпохи, так и частной проблематики данной анкеты и ее метода.

Еще одним классом привлекаемых источников являются мемуары. Их сложно охарактеризовать уже потому, что грань между мемуарами и другими жанрами художественной литературы практически отсутствует: «Освещенные окна» В. А. Каверина – весьма характерный пример. Анализ мемуаров даже более труден, чем интерпретация студенческого литературно-поэтического творчества эпохи. Первые из них появляются «по свежим следам» в середине 1920-х годов⁶⁴. Второй поток мемуаров приурочен к десятилетию революции, к первым юбилеям рабочих факультетов (1927–1931/32 гг.)⁶⁵. Наконец, множество воспоминаний появилось в 1930–1990-е годы в России, СССР и за границей⁶⁶. Особенность источников этого рода – в привнесении более позднего текста; или,

⁶¹ В известном смысле, *искренний* (не только в качестве веры) марксизм только так и может рассматривать семейный институт. Новые возможности открываются лишь с *окончательной* и, до известной степени, *тотальной* теологизацией марксизма в советском обществе 1930-х годов.

⁶² Ср.: *Залкинд А. Б.* Половой фетишизм. К пересмотру полового вопроса. М., 1925; *Он же.* Половая жизнь и современная молодежь // Коммунистическая мораль и семейные отношения. Сб. ст. Л., 1926. С. 118–130; *Он же.* Половой вопрос в условиях советской общественности. Л., 1926; *Виноградская П.* Крылатый эрос товарищ Коллонтай // Коммунистическая мораль и семейные отношения. С. 96–115, и др.

⁶³ Ср.: *Гельман И.* Указ. соч. С. 66; *Ласс Д. И.* Современное студенчество: Быт, половая жизнь. М.; Л., 1928. С. 198–201.

⁶⁴ *Бухбиндер Н. А.* Студенческая организация при Петроградском комитете Р.С.-Д.Р.П. (больш.) // Красная летопись. 1923. № 6. С. 293–301; На пути к победе. Из революционной истории Горного института. Л., 1926. С. 158–181.

⁶⁵ См., напр.: Рабочий факультет ЛЭТИ им. В. И. Ульянова (Ленина). 1921–1931 Л., 1931; Красное студенчество. 1928. № 3/4. С. 26–40; 1929. № 11. С. 26–37.

⁶⁶ Ленинградский университет в воспоминаниях современников / Под ред. В. А. Ежова, В. В. Мавродина. Т. II. Петербургский-Петроградский университет. 1895–1917. Л., 1982; История Ленинградского университета:

скорее, в рассказе о прошлом сквозь призму ценностей другой эпохи. Нечто подобное происходит путешественником, попавшим в страну иной культуры, – с той разницей, что наш «путешественник» в этой стране долгое время жил на «правах гражданина»⁶⁷. Он рассматривает собственное прошлое с высоты пережитого позднее, «новыми глазами». Скажем, взгляд экономиста А. С. Наринского на его встречи с Н. И. Бухариным опосредован «борьбой с правым уклоном» 1928–1929 годов, репрессиями второй половины 1930-х годов, умолчаниями «хрущевского десятилетия», «гласностью» и, наконец, первыми годами постсоветской истории⁶⁸. Автор то тут, то там полемизирует с нынешними событиями и их интерпретаторами, подчиняясь новым дискурсивным нормам (разумеется, незаметно для самого себя): достаточно перечитать его рассуждения о «пролетаризации» института (в его случае – Московского института народного хозяйства)⁶⁹. Как выделить прошлое из мира чуждых ему ценностных ориентиров? Только соотнося оригинальные следы эпохи с мемуаристикой. Ведь иначе многие реалии умерли бы для исследователя бесповоротно: с течением лет мемуарист может «прочитать» в своем прошлом то, что когда-то представлялось ему несущественным или не могло быть «прочитано». Возвращаясь к тому же Наринскому, можно указать на историю двух исключенных за сокрытие своего социального происхождения. Автор конца 1920-х годов из среды «пролетариев» описал бы этот эпизод, не акцентируя или совсем не упоминая высокой успеваемости и активной общественной работы исключенных. Эти детали казались тогда малозначительными. Главное – обман, «классовая хитрость». Справедливость рассматривалась как классовая категория⁷⁰. Возможно, однако, что мемуарист, поступавший в институт на общих основаниях с дипломом об окончании единой трудовой школы по программе дореволюционного коммерческого училища, уже в 1920-е годы смотрел на вещи по-другому, нежели рабфаковец или направленный в вуз по партийной (или иной) путевке. Тем не менее антидискриминационное мышление, которое «водило» рукой автора воспоминаний, было бы для него тогда в некотором смысле экзотикой.

Такова общая характеристика источников, привлекаемых для рассмотрения настоящей темы. Их разнообразие создает не только трудности, но и возможность «рассказать» о прошлом многомерно.

Глава 1

Реальности «единой семьи»: петроградские студенты в 1914–1920 годах

В период Первой мировой войны и первых послереволюционных лет формы мышления студента о себе как студенте мало изменились по сравнению с длительной предшествующей

Очерки / Под ред. Мавродина В. В., 1969; На штурм науки: Воспоминания бывших студентов факультета общественных наук Ленинградского университета / Под ред. Мавродина В. В., Л., 1971; *Кареев Н. И.* Прожитое и пережитое. Л., 1990; Наша дань Бестужевским Курсам. Воспоминания бывших бестужевков за рубежом. Париж, 1971; *Лихачев Д. С.* Университет // Лихачев Д. С. Прошлое – будущему. Л., 1985. С. 23–27; *Наринский А. С.* Время тяжелых потрясений. СПб., 1993, и др.

⁶⁷ Хотя далеко не всегда эта культура была знакома мемуаристу изначально. Почти все студенты «открывали» ее для себя. Например, уроженец маленького украинского городка А. С. Наринский с приездом в Москву попал в другой мир: *Наринский А. С.* Указ. соч. С. 30–31.

⁶⁸ Там же. С. 30–36.

⁶⁹ Там же. С. 22–29.

⁷⁰ О «классовости» морали см.: *Преображенский Е. А.* О морали и классовых нормах. М.; Пг., 1923; Партийная этика: Документы и материалы дискуссии 20-х годов / Под ред. А. А. Гусейнова, и др. М., 1989.

эпохой 1860–1900-х гг. Хотя на уровне риторики степень «беспокойства» при обсуждении ставших к тому времени традиционными тем единства и солидарности заметно повысилась. Уже в работе С. Кассова отмечалось, что феномен студенческого движения предполагал апелляцию к традициям, заложенным в пореформенный период, известную спонтанность и слабую управляемость студенческого протеста, его теснейшую связь с вопросами корпоративного статуса и прав, наконец, эмоциональное отношение к членству в корпорации и все ту же солидарность⁷¹. В годы революции, Первой мировой и Гражданской войн эти черты по-прежнему доминировали в социально-психологическом автопортрете петроградского студента.

На первый взгляд, расширение социальной группы накануне 1914 года, равно как и новые возможности для «свободного» политического выбора, открывшиеся после 1905 года, вели к медленной, но бесповоротной деградации связующих студенческую семью «социально-психологических черт». Однако то ли эта деградация происходила слишком медленно, то ли происшедшие в российском обществе изменения не были настолько глубоки, но петроградский студент во многом остался тем же, кем и был. Конечно, простое повторение «модных» среди петроградских (и вообще российских) студентов «понятий» мало что дает для понимания становления социальной идентичности как процесса. Мы не собираемся, разумеется, отказываться от привычного в социальных науках использования, воспроизведения и (даже!) «оправдания» категорий обыденного сознания⁷², но попробуем проследить их генезис и способы существования и проявления.

«Признаки корпорации», или корпоративная жизнь

Корпоративность как система ценностей была представлена и в письме, и на практике. Она не сводилась только или даже прежде всего к противопоставлению себя окружающему миру – университетскому или какому-либо иному, но проявлялась в повседневности студенчества как социальной группы через существование и деятельность различных студенческих организаций, уклад жизни в студенческих гостиницах и столовых, особенности вовлечения новичков в общую «семью», и – не в последнюю очередь – в поведении выпускников. Сама по себе эта корпоративность не являлась чем-то исключительным, специфически российским: аналогичные феномены изучены историками студенчества Франции, США, Великобритании и других стран⁷³. Однако нам интересно посмотреть на нее с иного «наблюдательного пункта»: как формировались в языке и действительности рядового студента «комплексы корпоративного сознания»?

Чтобы разобраться в этом, обратимся к анализу того, что представлялось сводом «неотъемлемых» прав российского студенчества (на примере Петрограда), покушение на которые воспринималось особенно болезненно (откуда бы оно ни исходило) и которые «старожилы» стремились «привить» тому потоку новичков, что наводнил высшую школу в 1918/19 учебном году. Главное «право», из коего проистекали все остальные, можно было бы определить как право на корпорацию, на единство. Оно не было сформулировано эксплицитно, но «ощущалось» практически. (Редко встречалось в студенческой прессе описание и уж тем более обсуждение того, как следует друг друга называть, что носить и

⁷¹ *Kassow S. D.* Students, Professors, and the State in Tsarist Russia Berkeley; Los Angeles; London, 1989. P. 50.

⁷² *Boltanski L., Thévenot L.* De la justification. Paris, 1991. P. 161–162.

⁷³ *Caron J.-C.* Generations romantiques. Les étudiants de Paris et le Quartier Latin (1814–1851). Paris, 1991; *Jarausch K. H.* Students, Society, and Politics in Imperial Germany. The Rise of Academic Illiberalism. Princeton; New Jersey, 1982; *Cohen R.* When the Old Left was Young: Students Radicals and America's First Mass Students Movement. N.Y.; Oxford, 1993, и др.

т. п., – лишь с появлением учащихся рабочих факультетов оказалось, что это может стать проблемой.) Понятие «студенчество» интегрировало разрозненные группы учащихся вузов города и России. Студенты обращались друг к другу на «вы», используя выражения «господин студент» или «коллега»⁷⁴. Характерно и то, что называли «гордостью за форму» и что позднее было подмечено рабфаковцами в обидном прозвище «белоподкладочники»⁷⁵. Наконец, священная традиция единства впечатляюще проявлялась в моменты конфликтов той или иной части студенчества с «нестуденческим» миром, как принцип безусловной солидарности и взаимоподдержки.

Мемуарные свидетельства и студенческая «этнография» дают обильный материал для наблюдений и размышлений. В мемуарах студентов Петербургского университета различных эпох – не только анализируемой – ярко запечатлен тот стресс, который испытывал недавний гимназист, переступивший университетский порог. Мемуаристы выделяли ощущение несоизмеримой с их прошлым жизненным опытом свободы, возможность выбора – как в учебных программах, так и в общении⁷⁶. Однако речь шла об индивидуализме, прочно ассоциированном с жизнью в рамках определенного сообщества: недаром П. Иванов отмечал, что студенты-первокурсники любили не в меру часто величать друг друга «коллега»⁷⁷. «Свобода» интерпретировалась прежде всего как свобода от тех форм зависимости, которые обуславливали мир гимназиста, – от авторитаризма преподавателей, «единомыслия», «зубрежки», дисциплинарных практик гимназии. Эта же «свобода» предполагала подчинение общепринятым правилам дискурса и действия (если их можно разделять⁷⁸) – отказ следовать им, как показал опыт «красного студенчества», приводил к глобальному конфликту. Самоназвание и обращения можно рассматривать и в более широком контексте, имея в виду мир практик⁷⁹. Статус студента предполагал постоянную апелляцию к корпоративной традиции, отличительные формы действия (мода – «гордость за форму»; досуг – выходы в определенные театры, на поэтические вечера и т. п.; «места обитания» – студенческие дома, например на Мытнинской набережной, и образ

⁷⁴ См., например, «этнографическое» описание жизни московского студенчества в начале века: *Иванов П.* Студенты в Москве. Быт. Нравы. Типы. 3-е изд. М., 1918. С. 113. Есть свидетельства и о бытовании среди отдельных групп студенчества обращения «товарищ»: *Воронков М.* Из жизни дореволюционного студенчества. М., 1947. С. 8.

⁷⁵ *Воронков М.* Из жизни дореволюционного студенчества. С. 5–6; *Иванов П.* Указ. соч. С. 239–244 (сатирическое изображение «модника»).

⁷⁶ *Иванов П.* Указ. соч. С. 110–111. Однако так было не всегда, о чем свидетельствуют воспоминания Н. И. Кареева о Московском университете рубежа 1860–1870-х годов: «...студентов первого курса угощали преимущественно латинским и греческим языками с приемами, сильно напоминавшими гимназию» (*Кареев Н. И.* Прожитое и пережитое. Л., 1990. С. 114).

⁷⁷ См. примеч. 4. (в файле – примечание № 78. – *верст.*).

⁷⁸ Ср. идеи Витгенштейна и Остина о языке-действии: *Витгенштейн Л.* Философские исследования // Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1 / Пер. Козловой Н. С., Асеева Ю. А., М., 1994. С. 215, 218, 248–249 и др.; *Austin J. L.* Philosophical Papers. Oxford, 1962. P. 220–239.

⁷⁹ В этом смысле представляется продуктивной концепция Бурдьё о габитусе, под коим подразумеваются «<...> схемы-генераторы *принципов классификации* и поддающихся классификации практик, которые (схемы. – *А. М.*) функционируют на уровне практического действия, но не достигают эксплицитного выражения, и **суть результат оформления, в форме различных диспозиций, известного различного положения в социальном пространстве – точно определенного <...> внешним** (в контексте внутреннего/внешнего. – *А. М.*) **соотношением с другими такими положениями**» (*Bourdieu P.* La noblesse d'état: Grandes écoles et esprit de corps. Paris, 1989. P. 9; курсив и выделение – наши).

жизни в них; студенческий труд – заработки прежде всего «уроками»; университетская жизнь – сходки, землячества, политические кружки, различные формы взаимопомощи).

Конфликты вокруг статуса студенческой корпорации, связанные с игнорированием в университетском уставе 1883 года самого ее существования, «содействовали» складыванию группового самосознания не в последней степени. Но после принятия 27 августа 1905 года существенных юридических поправок к уставу поле конфликтов несколько сузилось: по крайней мере, уменьшились препятствия к легальной деятельности студенческих организаций и – в соответствии с манифестом 17 октября 1905 года – собраний, результатом чего явился расцвет землячеств в вузах Петербурга (впрочем, в этом город мало отличался от других университетских центров империи)⁸⁰. Возможно, именно сокращение пространства кризиса внутри и вне университета – хотя и очень относительное – повлияло на дискуссию об «умирании» или «перерождении» российского студенчества (как внутри самой студенческой корпорации, так и вне ее)⁸¹. При этом традиционные уже формы жизнедеятельности студенческого сообщества мало изменились: те же сходки, та же болезненная реакция на преследование товарищей, растущая политизация конфликтов с властями⁸², обозначившаяся еще накануне революции 1905 года. Одновременно столкновения с группой «академистов» свидетельствовали, что проблемы, связанные с развитием корпоративного самосознания студенчества в рамках авторитарного режима, не исчезли⁸³. «Академисты» казались другим студентам «инородным телом», – поскольку представляли интересы правительства и защищались структурами власти в моменты конфликтов с товарищами. Тем самым оставался открытым вопрос о признании государством самого существования студенчества как автономной корпорации. Кроме того, не было ясности со статусом студенческих организаций внутри университета: иногда, как в истории с проектом студенческого кооператива в Петербурге, режим делал настолько значительные шаги назад, что «завоевания» 1905 года выглядели лишь временным, эфемерным успехом⁸⁴. Именно в рамках подобных конфликтов студенты конструировали и «проявляли» свое групповое самосознание.

Возьмем столкновения с «академистами» 1914–1915 годов в Петроградском университете. 3–4 октября 1914 года в университете состоялись сходки «академистов». 4–5 марта 1915 года «антиакадемическая» сходка левых студентов привела к столкновениям с «академистами» в коридоре университета и массовому возмущению действиями последних. В начале ноября 1915 года в том же университете распространяется листовка «Обращение к студенчеству», обвиняющая «академическую корпорацию» в «загрязнении товарищеских

⁸⁰ См., например: Петроградский студенческий календарь на 1914/15 учебный год. Пг., [б.г.]. С. 99 (указана цифра – около 140 землячеств). С. 106–108 (проект нормативного устава землячества).

⁸¹ *Kassow S. D. Students, Professors and the State in Tsarist Russia* P. 370–374.

⁸² Важно подчеркнуть, что в России кануна первой революции любой социальный конфликт мог политизироваться, и даже сугубо студенческие «истории» 1890-х годов обретали политический характер в глазах и власти, и «общественного мнения». Мы говорим о политизации с учетом изменения содержания «политического» в России рубежа столетий и начала XX века. С возникновением РСДРП, партии социалистов-революционеров и Союза освобождения понятие «политического», вероятно, эволюционировало.

⁸³ О конфликте с «академистами» см.: *Лейберов И. П. Революционное студенчество Петроградского университета накануне и в период Первой мировой войны (март 1914 – февраль 1917 г.)* // Очерки по истории Ленинградского университета. Вып. 2. Л., 1968. С. 18. 23–24, 28–29.

⁸⁴ См.: *Лейберов И. П. Революционное студенчество Петроградского университета накануне и в период Первой мировой войны (март 1914 – февраль 1917 г.)* // Очерки по истории Ленинградского университета. Вып. 2. Л., 1968. С. 32.

традиций». «Академисты» прибегают к прямой помощи правительства и защите полицейских чинов⁸⁵. Как видим, источником возмущения большинства студентов были не столько сами «взгляды», но «официальность» группировки «академистов», воспринимавшихся как агентура правительства в университете. Хотя, конечно, учитывая «политическую сторону дела» (непосредственно вытекающую из того же «официального» статуса «академистов»), нельзя абстрагироваться от узкополитических коннотаций событий как для «буржуазной общественности», так и в сознании самих участников спектакля – студентов. Таким образом, конфликт вокруг «академической корпорации» не только выявил особенности уже сложившейся групповой самоидентификации студенчества, но и оказался тем жизненным миром (*Lebenswelt*), в котором она заново конструировалась⁸⁶, постоянно в то же время меняясь, как вновь пришедшими студентами, так и старшекурсниками. В этой связи уместно сказать несколько слов по поводу противоречивых данных о роли и месте новичков (перво- и второкурсников) в студенческих «историях» 1914–1919/20 годов (хотя слово «истории» тогда было уже «не в ходу»). Известна позиция С. Кассова, который отмечал (прежде всего на основании данных рубежа веков и кануна революции 1905 г.) доминирование младшекурсников в студенческом движении – среди его руководителей в том числе⁸⁷. Из эпохи 1914–1915 годов показательна фигура большевика С. Петриковского, начавшего участвовать в партийной работе еще с гимназических лет и выдвинувшегося уже на I–II курсах на руководящие роли в политической и общественной жизни университетского студенчества столицы⁸⁸. С другой стороны, наиболее яркой персоной «антибольшевистской оппозиции» в университете 1918 – начала 1920-х годов был С. Жаба – «вечный студент», член партии социалистов-революционеров и руководитель Центрального общестуденческого комитета Петрограда в годы Гражданской войны⁸⁹. Жаба начал учебу в 1913 году и прошел типичный для «вечного студента» путь – с академическими отпусками и переменной факультета⁹⁰. Более того, в своем отчете перед эмигрантской студенческой

⁸⁵ См. также: Студенческие годы. 1915. 13 ноября. № 19. С. 3–4.

⁸⁶ В данном случае слово «конструировалась» призвано подчеркнуть активную роль тех, кто «конструировал», то есть самих студентов. Жизни этих последних не были простым воплощением действия неких всемогущих социальных (социально-психологических) сил; каждый студент снова и снова конструировал свою самоидентификацию (на протяжении своего студенческого бытия и позже – в воспоминаниях), всякий раз изменяя самую конструкцию, которая пребывала в постоянном движении, выражавшемся в сложном процессе согласований, конфликтов и компромиссов с целью выработать и поддерживать прагматически организованную и гибкую конвенцию.

⁸⁷ *Kassow S. D.* Op. cit. P. 113, 147, 168.

⁸⁸ См.: *Лейберов И. П.* Указ. соч. С. 25 и др.; *Петриковский С. И.* Наш университет // Ленинградский университет в воспоминаниях современников / Под ред. В. А. Ежова, В. В. Мавродина. Т. 2. Петербургский-Петроградский университет. 1895–1917. Л., 1982. С. 128–137.

⁸⁹ Сведений о нем хотя и немного, но все же больше, чем о прочих лидерах студенчества эпохи, прежде всего благодаря его же отчету перед эмигрантскими студенческими организациями, подготовленному и изданному почти сразу после высылки 1922 года: *Жаба С.* Петроградское студенчество в борьбе за свободную высшую школу: Доклад студента Петроградского университета С. П. Жаба, представленный Второму Съезду Российских Эмигрантских Студенческих Организаций. Paris, [б.г.]. Кроме того, Жаба упоминается в ряде документов, например: *Зиновьев Г.* Студенчество и пролетарская революция. СПб., 1921. С. 28–40 (ср. *Жаба С.* С. 33). Нам удалось обнаружить в ЦГА С.-Петербурга личное дело универсанта С. П. Жаба, пусть и весьма формального характера, но позволяющее «реконструировать» его студенческую биографию: ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 2. Д. 1261.

⁹⁰ ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 2. Д. 1261. Л. 2–4, 11а-12.

общественностью он особо подчеркнул роль «старого студенчества» в условиях наплыва незнакомой с университетскими традициями молодежи в годы свободного приема – 1918/19 учебный год – и сосуществования с рабочими факультетами (в Петрограде с конца 1919 г.)⁹¹. Наконец, из истории высылки интеллигенции в 1922 году известно, что среди высланных были студенческие лидеры (включая С. Жабу) из числа «старых», или «вечных», студентов⁹². Вполне вероятно, что происшедшее изменение (если оно все-таки произошло) как раз характеризует то, что студенческое самосознание в 1917–1919 годах стало конструироваться на принципиально иных основах: реальная численность студенчества быстро падала в силу различных причин (мобилизации, разрухи и голода, окончания учебы, ухода из вуза по причине неподготовленности к восприятию программы и т. д.), в то время как университеты начали сталкиваться с абитуриентами, пришедшими не из гимназий и не с интеллигентскими родословными, то есть наделенными иным, нежели у их предшественников, габитусом⁹³. Оставшиеся немногочисленные «старрики» символизировали некую традицию, о поддержании и воспроизведении которой они не могли не заботиться, ибо сквозь ее призму понимали, описывали этот мир и жили в нем. Кроме того, сознавая неустойчивость, как им казалось, большевистского режима, они не видели для себя перспектив в тех конформистских практиках, которые отличали студенчество старших курсов в годы старого порядка⁹⁴, сверх того, и сама новая власть едва ли стремилась учитывать их интересы. Однако нам кажется, что существенные изменения в конструировании студенческого самосознания происходили уже после 1905 года, когда работа в ставших легальными землячествах, кооперативах, кассах взаимопомощи, студенческих столовых и прочих «хозяйственно-учебных организациях» не несла опасного «политического» привкуса. В этих обстоятельствах началась неизбежная рутинизация и «бюрократизация» этих институций студенческой жизни, которая не могла не закрепить их за более «опытными коллегами». Старшекурсники приобретали в глазах новичков статус «хранителей студенческих традиций» и до известной степени действительно являлись таковыми. В дальнейшем в смутной атмосфере 1918/19 года пришедшие по свободному набору а priori не могли взять на себя какую-либо инициативу в самоорганизующемся студенческом сообществе, а «старикам» ничего не оставалось, как выступать в роли «застрельщиков». «Существо» передаваемых традиций, казалось, оставалось прежним, но способы их «хранения и передачи» менялись: студенческая самоидентификация как процесс предполагала выделение касты «старейшин», то есть «хранителей» и «наставников», причем эти последние все более отождествлялись с «вечными студентами». Автоматически началась и кодификация самой традиции, у которой появились собственные историки. Первые следы кодифицирующей историографии студенчества относятся к годам «стольпинской реакции»: это книги и статьи С. Мельгунова, Г. Энгеля и В. Горохова, Р. Выдрин⁹⁵. В период Первой

⁹¹ Жабa С. Указ. соч. С. 24–25, 57–58.

⁹² О подготовке и проведении высылки см.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 54. М., 1965. С. 265–266; Алексеев П. В. Революция и научная интеллигенция. М., 1987. С. 164–166.

⁹³ В 1918/19 учебном году в I ПГУ числилось 8314 студентов при реально занимающихся 1214 (ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 14. Д. 130. Л. 4 об., 54). Ср.: Купайгородская А. П. Высшая школа Ленинграда в первые годы Советской власти (1917–1925). Л., 1984. С. 58, 63.

⁹⁴ Kassow S. D. Op. cit. P. 111 (о слабом желании – если не его отсутствии – старшекурсников Московского университета продолжать забастовку 1899 г. и возможных мотивах этих настроений).

⁹⁵ Мельгунов С. П. Студенческие организации 80–90-х годов в Московском университете. (По архивным данным). М., 1908; Горохов В., Энгель Г. (Е. А.) Из истории студенческого движения 1899–1906. М., 1908; Выдрин Р. Основные моменты студенческого движения в России. М., 1908, и др.

мировой войны выделяется продолживший это начинание сборник под редакцией С. Г. Сватикова, написанный студентами-историками и общественными работниками для студентов же⁹⁶. Актуальность издания подчеркивалась соединением сугубо исторических статей с публицистикой о современном – для авторов – студенческом движении. Публикации, подобные данному сборнику, с одной стороны, подкрепляли ту «бюрократизацию», о которой говорилось выше, а с другой – обеспечивали традиции известную независимость от лиц: ведь она становилась писаной. Хотя и этот факт нужно рассматривать в контексте возвышения «вечных студентов» – ведь писаная история требует хранителей и толкователей.

По своей сути 1918/19 учебный год в Петрограде – как, впрочем, и в Москве – представляет собою один из ключевых моментов в эволюции студенческой самоидентификации. Столкновение студенчества и его лидеров с первыми шагами Советской власти по реализации программы народного университета – открытого и доступного широкой публике, не требующего предварительного гимназического образования и подконтрольного «советской общественности» (что в российских условиях обернулось жестким государственным контролем) – поставило перед ними проблему ассимиляции и одновременно вытеснения «простодушных» новичков, не имевших сколько-нибудь четких представлений о «коде» студенческого поведения. При этом первоначальные попытки Наркомата просвещения привлечь старое студенчество на свою сторону путем раздачи внутриуниверситетских привилегий не увенчались успехом – сотрудничество с властью, тем более направленное против профессуры, не отвечало студенческим традициям⁹⁷. Кроме того, само оно привело бы к утрате корпоративной автономии, не говоря уже об автономии университета. Приток «чужаков», обязанных своим социальным продвижением новому режиму, первоначально казался угрозой самому существованию корпорации. Глухо об этом упомянуто в отчете С. Жабы; отчетливо проговорено в воспоминаниях «красных студентов»⁹⁸. Однако до прямого конфликта между двумя «фракциями» не дошло: «новички» еще не были сплочены усилиями государства, а также его политических структур и оказались легко уязвимы и для быстрого усвоения правил игры, когда это было возможно, и для вытеснения из университета, при ином развитии событий⁹⁹. Именно в этот период чаще, чем обычно, вспоминают о «бунтарском духе» студенческой традиции¹⁰⁰. Кроме того, в студенческом самосознании окончательно оформился новый важный фактор, о котором еще недавно, в 1905 году, трудно было даже помыслить: профессорский лозунг автономного университета, автономного не только от государственного, но и от всякого общественного контроля, объявлялся общим наследием, знаменем и лозунгом дня. В 1905 году студенты следовали противоположным путем: они открыли университет для собраний и дискуссий политиков, интеллигентов и рабочих,

⁹⁶ Путь студенчества. М., 1916.

⁹⁷ *McClelland J.C.* Bolshevik Approaches to Higher Education, 1917–1921 // *Slavic Review*. 1971. V. XXX. № 4. P. 823–825; *Fitzpatrick Sh.* The Commissariat of Enlightenment. Soviet Organization of Education and the Arts under Lunacharsky, 1917–1921. Cambridge, 1970.

⁹⁸ *Жаба С.* Указ. соч. С. 9, 24–25, 26–27; Красное студенчество 1929. № 11. С. 26–29; На штурм науки: Воспоминания бывших студентов факультета общественных наук Ленинградского университета / Под ред. В. В. Мавродина. Л., 1971. С. 21, 60.

⁹⁹ *Жаба С.* Указ. соч. О «методах» ассимиляции см.: На штурм науки. С. 75–79, 135–136.

¹⁰⁰ См: *Жаба С.* Указ. соч. С. 18, 20, 23, 26, 55–56, 61.

стремясь к «слиянию» его с обществом и превращению в «народный»¹⁰¹.

Почему или, вернее, как произошел этот поворот? Был ли он связан с «политикой» в узком смысле слова? Полагаем, что помимо снижения – весьма относительного – студенческого радикализма в 1907–1917 годах, и, возможно, в значительно большей степени, здесь прослеживается та же логика: угроза студенческой идентичности казалась отнюдь не абстрактной, «народный» университет грозил затопить и без того поредевшее студенчество, игнорируя его код поведения и связанные с ним традиции. Сверх того, формирующаяся каста студентов-«бюрократов» («общественников»), подобно профессуре, стремилась к стабильности, гарантировавшей статус и связанные с ним привилегии. Будучи, до известной степени, «хранителями традиции», вольно или (скорее всего) невольно они должны были способствовать повороту. Наконец, лозунг «автономного» университета соответствовал способу мышления и действий студенчества как корпорации; причем его не нужно было «изобретать» – он давно использовался студентами инструментально против старой автократии и постоянно звучал в дискурсе профессуры. Новый элемент групповой идентичности позволил также в риторике и на практике закрепить компромисс с профессорской корпорацией против большевиков, определяя свою принадлежность к единой традиции и давая общий лозунг дня. Таким образом, он отражал своего рода конвенцию, достигнутую путем согласования интересов и взаимных уступок в сложных условиях революции и Гражданской войны.

Завершая краткий обзор особенностей и эволюции студенческого самосознания во второй половине 1910-х годов, еще раз подчеркнем исключительную гибкость и подвижность, с одной стороны, и самодостаточность, с другой, этой системы, каждый раз заново конструируемой и отчасти изменяемой любым рядовым студентом. Перейдем теперь к более детальному разбору наиболее важных ее аспектов – так, как они были даны в индивидуальном опыте.

«Естественные права» российского студента и его корпорации

Круг корпоративных представлений в евро-американской цивилизации Нового времени воспроизводил идею просветителей о «естественных правах», распространяя и опосредуя ее применительно к группе. В этом заключалось известное противоречие с присущим гражданскому обществу духом эгалитаризма¹⁰². Это противоречие – «реликт прошлого», осмысленный в новых терминах. В России, где гражданское общество только нарождалось, ситуация была еще более запутанной: в корпоративном можно усмотреть сословное. Впрочем, как показывают исследователи высшего образования во Франции и Германии рубежа столетий и более позднего времени (вплоть до современности), меритократическая риторика и там часто скрывала замкнутый сословно-корпоративный характер академических элит и их самовоспроизводства¹⁰³. Так же противоречиво было и самосознание российских

¹⁰¹ О перипетиях лозунгов «автономного» и «народного» университета см. в работах: *McClelland J.C.* Autocrats and Academics: Education, Culture, and Society in Tsarist Russia Chicago; L., 1979; *Fitzpatrick Sh.* The Commissariat of Enlightenment...; *Гусятников П. С.* Революционное студенческое движение в России. 1899–1907. М., 1971; *Матвеев М. И.* Студенты Сибири в революционном движении. Томск, 1966; *Иванов А. Е.* Высшая школа России в конце XIX – начале XX века. М., 1991. *Иванов А. Е.* Демократическое студенчество в революции 1905–1907 гг. // Исторические записки. 1982. № 107. С. 171–225. *Иванов А. Е.* Университеты России в 1905 г. // Исторические записки. 1971. № 88. С. 114–149.

¹⁰² *Манхейм К.* Проблема интеллигенции // Манхейм К. Демократизация культуры. Ч. 1. М., 1993. С. 28–34.

¹⁰³ *Bourdieu P.* La noblesse d'état...; *Charle C.* La république des universitaires, 1870–1940. Paris, 1994; *Jarausch K. H.* Students, Society, and Politics in Imperial Germany. The Rise of Academic Illiberalism. Princeton; New Jersey, 1982; *Ringer F. K.* The Decline of the German Mandarins: The German Academics Community, 1890–1933. Cambridge; Mass., 1969. P. 39–42.

и, как частный случай, петроградских студентов на перекрестке между политическим радикализмом/либерализмом и охраной корпоративных прав группы. Однако именно с усвоения (или «конструирования») последних начиналась студенческая биография бывшего гимназиста или реалиста.

Первое базовое право – право называться студентом и носить студенческую форму – автоматически означало, что субъект ощущал себя членом корпорации и участвовал в ее жизни. Как уже было показано выше, это право вступало в противоречие с сохранявшимся в силе даже после 1905 года уставом университета 1883 года, что часто приводило к невозможности вести деятельность студенческих организаций внутри университета/института, – например, в случае со студенческим кооперативом универсантов, слушательниц Высших женских курсов и учащихся Психоневрологического института в годы Первой мировой войны¹⁰⁴.

Право на неприкосновенность и ненаказуемость иначе как по решению студенческого суда чести или с согласия сходки/суда распространялось на каждого члена корпорации. Петроградские студенты 1914–1919 годов часто демонстрировали приверженность этому принципу. Так было в связи с арестом лидеров и активных работников левых партий в 1916 году и во время конфликтов 1919–1920 годов вокруг мобилизации петроградского студенчества на фронт. Студенты выражали возмущение нарушением священного права неприкосновенности без различия политических и иных взглядов арестантов и призывников.

Другим важным правом было право на сходку. Последняя представляла собою специфический институт, который можно сравнить с народным собранием. Американский историк Д. Броувер усматривает его корни в жизни русской крестьянской общины, привлекавшей внимание студентов в 1860–1870-е годы¹⁰⁵. Так или иначе, сходки быстро стали неотъемлемой чертой студенческой жизни и приобрели некоторые ритуальные особенности: отсутствие жесткого регламента, постоянный шум и дискуссия всех со всеми, открытый характер голосования (как правило!), принцип «один человек – один голос». Сходка могла быть и курсовой, и общеуниверситетской (общевузовской). Первокурсники, как их описывал в начале века П. Иванов, со «священным трепетом» являлись на первую в их жизни сходку – незабываемый момент вступления в общественно-политическую жизнь корпорации¹⁰⁶. На сходках могли происходить потасовки и горячие дискуссии между противоборствующими студенческими фракциями, но доминировал дух солидарности и гордости за принадлежность к сообществу. Сходка была внешним проявлением самого факта существования социальной корпорации там, где этот факт не всегда признавался. Кроме того, она утверждала прямую демократию со всеми ее атрибутами в качестве базового принципа студенческой жизни.

Право на солидарность, или корпоративную помощь, можно трактовать достаточно широко: будь то солидарность политическая, будь то моральная или «материальная» – все они могут и должны быть учтены. Солидарность пронизывала жизнь корпорации уже на уровне землячеств (о них речь пойдет ниже), члены которых помогали землякам-первокурсникам освоиться в непривычной для них университетской атмосфере, требуя взамен участия в своей деятельности¹⁰⁷. Затем студент попадал в сеть различных

¹⁰⁴ Студенческие годы. 1915. № 19. 13 ноября. С. 4; № 21. 27 ноября. С. 4; *Лейберов И.* Указ. соч. С. 32.

¹⁰⁵ *Brower D.* Training the Nihilists: Education and Radicalism in Tsarist Russia Ithaca; London, 1975. P. 124 (цит. по: *Kassow S.* Op. cit. P. 55–56).

¹⁰⁶ См.: *Иванов П.* Указ. соч. С. 116–117 (см. там же о прокламации: С. 115).

¹⁰⁷ См., напр.: *Воронков М.* Указ. соч. С. 26–30.

касс и комитетов взаимопомощи, кооперативов, научных обществ, студенческих библиотек и столовых, политических организаций. Большинство из них было ориентировано на цели взаимопомощи. Внимательные наблюдатели, такие как С. Кассов, уже отметили, что ничто не занимало студентов так, как их корпоративная жизнь и ее проблемы, – чистую «политику» они тоже рассматривали сквозь эту призму (это неудивительно и, наверное, естественно для любого корпоративного сообщества)¹⁰⁸. Характерным примером служит в этой связи история Василеостровского студенческого кооператива, о котором уже упоминалось. Дискуссия, предшествовавшая его открытию, позволяет нам вскрыть некоторые особенности студенческого дискурса той эпохи. Споры нашли отражение на страницах петроградского студенческого издания – газеты «Студенческие годы». Главным вопросом оставалось направление финансовой деятельности кооператива: либо искать средства у благотворительных организаций и у крупных предпринимателей, либо стремиться их заработать самостоятельно. Левая редакция газеты склонялась, подобно москвичам с их Студенческим домом, ко второму решению¹⁰⁹. По сути, стержень дискуссии лежал в видении и осмыслении внешнего мира сквозь корпоративные очки: даже если газетными публицистами из студенческой среды двигала идеология, они вынуждены были пользоваться риторикой о студенческой самостоятельности и независимости, всячески выделяя тему престижа сообщества и отдельно взятого студента. Прямая демократия, о которой говорилось выше, являлась средством поддержания и культивирования группового сознания, в то же время позволяя студенческим лидерам вещать от имени «демократической интеллигенции» или ее существенной части. (Конечно, было бы ошибкой рисовать студенческую субкультуру как сугубо замкнутую на самое себя, однако в данном случае нас интересует именно эта сторона студенческой жизни.) Факты солидарности с политически преследуемыми студентами для студента-новичка были, возможно, наиболее ярким материалом для конструирования образа студенческого единства, но повседневно он сталкивался именно с кооперативом, наподобие Василеостровского в 1915–1917 годах, или с землячествами.

Реализация права на создание студенческих организаций и участие в их деятельности не встречала затруднений только на первый взгляд. Несмотря на Манифест 1905 года, студенческая свобода в стенах *alma mater* оставалась жестко ограниченной. Студенты – прежде всего университетские – часто были вынуждены создавать свои организации вне высшей школы. И в то же время в 1907–1917 годах студенческие организации и общества различного характера исчислялись десятками. Возродившаяся субкультура землячеств – только один из многих примеров. В начале века казалось, что землячества скоро исчезнут – студенты все меньше интересовались их деятельностью¹¹⁰. Однако после революции 1905–1907 годов они возродились и более активными, и в значительно большем числе. Появились внутригородские землячества, объединявшие выпускников одной и той же гимназии или жителей одного из городских районов. Значительно больше стало и землячеств по этническому признаку. Только в Петроградском университете к началу Первой мировой войны существовало более сотни землячеств по всем перечисленным признакам¹¹¹. Землячества образовывали что-то вроде «корпорации в корпорации», вербуя своих членов по происхождению, то есть по месту рождения, этническому признаку, месту учебы. В то же

¹⁰⁸ *Kassow S. D.* Op. cit. P. 86–87 (конфликт между кассой взаимопомощи СПбУ и землячествами) и др.

¹⁰⁹ Студенческие годы. 1915. № 18. 5 ноября. С. 4 («От редакции»).

¹¹⁰ *Иванов П.* Указ. соч. С. 126–127; *Kassow S.* Op. cit. P. 78.

¹¹¹ Петроградский студенческий календарь на 1914/15 учебный год. Пг., [б.г.]. С. 99 (указана цифра – около 140 землячеств).

время их замкнутость была весьма условна: ведь главная задача заключалась в интеграции новичков в университетскую (институтскую) студенческую жизнь и лоббировании интересов «земляков». Землячества практиковали неформальное общение среди своих – встречи на квартире – у одного из «земляков» или по месту прописки организации – с долгими разговорами на местные и прочие – весьма разнообразные – темы¹¹². Не менее важной была целенаправленная работа с первокурсниками: ознакомление со студенческими порядками, в частности введение в студенческую «политику», экскурсии по городским местам, связанным с историей студенчества и студенческого движения, социальная помощь (жилье, работа, питание). Некоторые землячества пытались помочь своим членам в решении финансовых проблем, хотя и располагали немногими возможностями: либо помощь частных благотворителей общего с «земляками» происхождения, либо создание собственной кассы взаимопомощи, либо попытки организовать свою столовую и т. п. Наконец, важной являлась учебная и культурная деятельность этих объединений – коллективные выходы в театр, библиотеки землячеств, дискуссии¹¹³. Таким образом, землячество стремилось создать собственный «жизненный мир», в котором студент-участник мог прожить все университетские годы. В некотором смысле землячество заменяло ему семейную атмосферу. В связи с этим уместно напомнить концепцию Ю. Хабермаса о порождении буржуазной семейной культурой – с ее совместным чтением и дискуссиями за столом и у камина – современной общественной жизни¹¹⁴. Возможно, студенческие землячества (и не только в России) были неким суррогатом этой семейной культуры. В любом случае, их влияние на конструирование студенческой общности трудно переоценить. Практически все, так или иначе занимавшее студенчество всего вуза – от учебы до высокой политики, – проходило предварительную стадию обсуждения в землячествах. Разумеется, структура «интересов» членов землячеств менялась от одного сообщества к другому: где-то доминировали политические «страсти», где-то в центре оказывались «развлечения» и учеба – сути дела эти различия не меняют. Студенческая солидарность уходила своими корнями в практику взаимовыручки «земляков». Вероятно, значимость институции получила довольно отчетливое дискурсивное выражение – о землячествах говорили много и часто. Они вызывали особое беспокойство властей¹¹⁵.

Но если с землячествами, как формой реализации «органического права» студента, пришлось смириться, иначе складывалась судьба касс взаимопомощи и кооперативов. Археология первых приводит нас к социал-демократической кассе Санкт-Петербургского университета 1890-х годов¹¹⁶. Да и последние часто были в руках студентов-политиков. Связано это было с нелегальным характером студенческой общности до 1905 года, что делало всякую деятельность такого рода рискованной. И хотя после 17 октября 1905 года юридические условия изменились, прежние установки эволюционировали медленно. Даже в рассматриваемый период 1914–1920 годов «экономической работой» нередко занимались

¹¹² В этом они напоминали землячества французских студентов первой половины XIX века. Можно напомнить, в частности, свидетельство Г. Флобера о землячестве, которое он не особенно стремился посещать. Ср.: *Caron J.-C.* Op. cit. P. 133–134.

¹¹³ О различных сторонах жизни землячеств см.: *Kassow S. D.* Op. cit. P. 77–85; *Воронков М.* Указ. соч. С. 18–30; *Иванов П.* Указ. соч. С. 126–127.

¹¹⁴ *Habermas J.* Strukturwandel der Öffentlichkeit: Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft. Frankfurt am Main, 1995. S. 107–116.

¹¹⁵ См. подробнее: *Kassow S. D.* Op. cit. P. 77–85.

¹¹⁶ *Kassow S. D.* Op. cit. P. 85–86, и др.

члены различных политических партий, часто одновременно входившие в более или менее нелегальные структуры, вроде Объединенного комитета представителей социалистических фракций университета¹¹⁷. Но с течением времени ситуация менялась в контексте той рутинизации и бюрократизации, о которой мы уже говорили. Однако опыт студентов-«бюрократов» зачастую включал и «политику». Просто они не уходили из нее после II курса, да и репрессии за участие в политической деятельности смягчились и не приводили к вытеснению даже всех активистов. Соответственно и многие «экономические» дискуссии казались на самом деле идеологическими. Так было, в частности, с полемикой об источниках финансирования студенческих организаций¹¹⁸. При всей своей политизированности лидеры редко позволяли себе не считаться со спецификой студенческого дискурса – если можно прибегать к глаголу, имеющему коннотацию сознательного действия, – по сути, они и сами мыслили в студенческих категориях: поэтому апелляция либо к традиции «демократического студенчества», либо к признанным ценностям корпоративной независимости оставалась лейтмотивом всех публичных споров. Даже те, кто отрицал существование единой корпорации, не могли отрешиться от этого призрака в своей речи. Поэтому «экономические организации» дискурсивно и практически дополняли «жизненный мир» петроградского студента, будучи важным инструментом поддержания институциональной солидарности. Если кооперативы охватывали меньшую часть учащихся высшей школы, то к услугам касс взаимопомощи рано или поздно прибегал всякий «недостаточный студент». Корпорация поддерживала своего члена, когда это было необходимо, требуя взамен минимум лояльности. Сами практики участия в деятельности кассы были как бы практиками солидарности: член кассы ежемесячно вносил взнос, который работал на него самого и на его товарищей. Отчеты правления, заслушиваемые ежегодно, проходили бурно и не кажутся современному читателю корреспонденций и стенограмм простой формальностью¹¹⁹. Наряду с этим, подобно всем остальным студенческим организациям, право студента на самостоятельный выбор – участвовать или нет в их деятельности (т. е. присоединиться к ним или нет) – признавалось и уважалось. Корпорация стремилась тем самым к довольно гибким формам взаимодействия с индивидами, которые, в свою очередь, конструировали для себя некое сообщество равных.

Более противоречивая картина складывалась в деятельности политическо-идеологических организаций студентов. Накануне Первой мировой войны кадеты и меньшевики пользовались легальным статусом, как и проправительственные академисты. Большевикам и эсерам всегда грозила возможность ареста. Однако нелегальный статус отнюдь не снижал зону влияния этих фракций¹²⁰. Не имеет смысла обсуждать особенности студенческих субструктур существовавших в России политических ассоциаций – нас интересует всего лишь политический аспект студенческого мира. Политические партии не отменили политического же звучания собственно студенческого протеста (вспомним о

¹¹⁷ Лейберов И. Указ. соч. С. 3–32.

¹¹⁸ Там же. См. примеч. 39 и 47.

¹¹⁹ См., например: Студенческие годы. 1915. № 19. 13 ноября. С. 4; 1915. № 21. 27 ноября. С. 4 (о кассе взаимопомощи и кооперативе на Высших Женских Курсах). Мы подразумеваем здесь возможную ассоциацию с деятельностью различных «добровольных» обществ в советскую эпоху, где доминировали формализм, конформизм и связанное с этим последним притворство. В этом смысле кассы взаимопомощи выглядят эталоном «добровольности».

¹²⁰ Сегодня нужно с изрядной долей осторожности оценивать степень влияния большевиков в университете и вузах города – преувеличения советской историографии сомнений не вызывают (см.: Kasso S. D. Op. cit. P. 89, 128). При всем том постоянное присутствие этой фракции в политической жизни дореволюционной высшей школы едва ли стоит оспаривать.

стычках с «академистами», выступлениях солидарности с Государственной думой осенью-зимой 1916–1917 гг. и т. п.), но их проникновение в корпоративную среду стимулировало некоторые кризисные тенденции. Представители политических партий – сами студенты – скептически или с опасением смотрели на «чисто» студенческие выступления, проповедовали сомнения в самом существовании единой корпорации, что было вдвойне симптоматично, если учесть их доминирующие позиции в ряде организаций вузовцев¹²¹. Однако присутствие тех же фракций превращало студенчество города в нормальную социальную группу, внося свою лепту в индивидуальное конструирование студенческого самосознания. Новичок, учившийся быть студентом, не мог вообразить этого бытия без такого атрибута «политики», как студенческие организации российских партий. В свою очередь, студенты-политики не могли вполне абстрагироваться от своего социального статуса и условий политической деятельности. Призывы к проведению совместных с рабочими выступлений, равно как и к поддержке Государственной думы, находили отклик среди студентов, но при условии успешного оперирования мифами о «демократическом студенчестве», «барометре» российского общества и т. п.¹²² Отторжение «академистов» отчасти объяснялось и тем, что они не учитывали специфики студенческой политики, ее традиционности; а традиционный студенческий радикализм соотносился с левым флангом политического спектра. Кроме того, будучи слишком тесно связанными с правящим режимом, «академисты» пренебрегали и другими базовыми принципами корпорации – независимостью и оппозиционностью. Показательно, что после октября 1917 года с той же проблемой столкнулись большевики (вплоть до появления рабочих факультетов): «старики» сравнивали их представителей с «академистами»¹²³. Пользуясь этим – осознанным или нет – игнорированием норм, лидеры нормальных политических фракций смогли создать «фронт» солидарности против «академической» группировки¹²⁴. Поэтому мы можем говорить о границах права на политическую организацию – границах, установленных историческими мифами корпорации и ее базовыми принципами, как их себе представляли отдельно взятые индивиды.

Под идеологическими ассоциациями мы понимаем более широкую палитру, включающую, в частности, христианские студенческие общества, возникшие в начале 1910-х годов и имевшие большой успех в высшей школе столицы. Будучи новым явлением, практика этих последних соответствовала тем не менее студенческим ценностям «просвещения народа» и плюрализма выбора. Сверх того, элемент оппозиционности также присутствовал в их деятельности: их отношения с государственным православием не были простыми¹²⁵. Религиозный поворот был сопряжен с общим поправлением российской интеллигенции после 1905 года и идеологическими поисками ее «веховского» крыла. В

¹²¹ *Kassow S. D.* Op. cit. P. 81–86 (о политике Объединенного Совета землячеств Московского Университета и Кассы Взаимопомощи студентов Петербургского Университета) и др.

¹²² *Рождественский В. А.* Первые опыты // Ленинградский университет в воспоминаниях современников: В 3 т. / Под ред. В. А. Ежова, В. В. Мавродина. Т. 2. Петербургский-Петроградский университет. 1895–1917. Л., 1982. С. 146–160; *Ариавский К. Г.* Путь к Октябрю // Там же. С. 161–163; *Петриковский С. И.* Наш университет // Там же. С. 128–137.

¹²³ *Жаба С.* Указ. соч. С. 20, 32, 55.

¹²⁴ В газете «Студенческие годы» (1915. № 19. 13 ноября) опубликовано обращение 63 университетских землячеств против «академистов», где акцентировалось внимание на доносах «ничтожной горстки темных лиц» (С. 3–4).

¹²⁵ Ср. журнал христианского студенческого движения «Студенческий листок», выходивший в Петрограде с июня 1909 по декабрь 1917 года.

студенческой среде он увязывался с «упадочными настроениями» и разочарованием в традиционных идеалах. Возможно, в сугубо идеологическом отношении такое действительно распространилось на рубеже 1900–1910-х годов, но, скорее всего, было временным, оставив следы в виде христианских обществ¹²⁶. Однако любые выводы здесь должны носить временный характер в силу слабой изученности явления.

Культурные и научные организации различного профиля сводились главным образом к библиотекам, литературно-поэтическим объединениям, научно-исследовательским обществам. Некоторые из них были давно и прочно институционализированы. Разумеется, участники научных кружков поддерживали тесные дружественные отношения с профессурой. Существовали и объединения, более напоминавшие домашние кружки, что также вписывалось в традиции русской интеллигенции (существовавшие с первой половины XIX в.)¹²⁷. Наконец, библиотеки нередко становились центрами встреч и дискуссий по политическим, культурным и «чисто» студенческим вопросам. Если научные общества всегда стремились к полной самостоятельности, то культурные ассоциации нередко входили в орбиту финансируемых их деятельностью «экономических» организаций или землячеств. При «прозрачном», как нам представляется, корпоративном содержании студенческих читален и других культурных практик научные кружки выглядят «обочиной» этого корпоративного мира и открывают одно из возможных направлений будущей профессиональной деятельности. Однако их роль в конструировании студенческой самооценки и интеллектуальной независимости трудно переоценить.

Уже говорилось, что индивидуализм не только допускался, но и поощрялся в студенческой среде, в отличие от гимназии (по крайней мере, так полагали многие мемуаристы). Корпорация ставила ему известные рамки, очерченные прежде всего кодом чести студенческого поведения, но рамки эти были достаточно широки. Широта выражалась, например, в возможности дискуссии о самом существовании корпорации. В целом все, что касалось мнения, было зоной свободы; исключая, однако, одиозные политические воззрения, рвавшие с традицией и способные привести их носителя к остракизму¹²⁸. Индивидуализм практик был куда более проблематичен: любые серьезные отступления от установленного кода поведения, например штрейкбрехерство в дни забастовки, вели к символическому, а иногда и физическому насилию¹²⁹. Конечно, отношение к моде, сексуальному поведению и художественным вкусам не было столь ригористским, но также налагало известные обязанности на студентов: ходить в университете в форме вошло в правило. Недаром писавшие о студенческой жизни отмечали трудности первокурсников с покупкой студенческой формы – дорогим, но необходимым и почетным приобретением¹³⁰. Но даже здесь допускалась свобода самовыражения. Неучастие в жизни корпорации – при минимуме лояльности к ней – широко распространилось в годы Первой мировой войны. Такой стиль

¹²⁶ См., например, результаты некоторых студенческих анкет эпохи: *Кауфман А. А.* Русская курсистка в цифрах // *Русская мысль*. 1912. № 6. С. 85–86 (автор отмечает незначительное влияние религиозной традиции на мировоззрение курсисток, например, В. Соловьев набрал 2,3 % показаний, имея тенденцию к возрастанию популярности у группы учащихся младших возрастов – 4,5 %) и др.

¹²⁷ *Александров Д. А.* Историческая антропология науки в России // *Вопросы истории естествознания и техники*. 1994. № 4. С. 7–9.

¹²⁸ В качестве примера можно привести членов «академической» корпорации, общавшихся разве что друг с другом.

¹²⁹ С. Кассов пишет о забастовке 1899 года: «Немногие бросили вызов забастовке из-за мобильных групп студентов, срывавших те редкие лекции, которые смогли собрать аудиторию» (*Kassow S.* *Students...* P. 98).

¹³⁰ *Иванов П.* Студенты в Москве... С. 7, 10–11.

поведения не вызывал коллективного раздражения – студенчество никогда не напоминало секту. При этом не стоит недооценивать важности элементарных повседневных практик: именно вокруг них возникло напряжение в 1918/19 учебном году, с наплывом «новых студентов» в высшую школу Петрограда. Обращения «господа студенты» и «коллеги», равно как и сюртуки на белой подкладке, стали отличительным признаком «стариков», вызывая оскорбительные насмешки в устах «новых»¹³¹. В дальнейшем, с приходом рабфаковцев, наметившийся конфликт продолжал разрастаться. Любопытно, что ряд имеющихся (хотя и поздних) свидетельств позволяет говорить о создании его предпосылок еще в 1910-е годы: например, прозвище «белоподкладочник», с соответствующими социально-политическими коннотациями, можно было услышать от студентов Московского университета уже тогда¹³².

О студенческом кодексе чести

Мы уже не раз упоминали некий магический «кодекс чести» студента, служивший мощным средством дисциплинирования и принуждения. Он никогда не был жестко зафиксирован, но имел институционализированные средства регулирования и поддержания. Таковыми были сходки и избираемый ими студенческий суд чести. Неписанный характер кодекса подчеркивает специфику студенческой корпорации с ее культом индивидуализма и антиформалистским пафосом. Однако студенческая речь и оформленная ею картина мира задавали «границы приличий» каждому члену корпорации. Безусловно, дискурс и соответствовавшие ему формы мышления не были чем-то объективным, независимым от индивидуального сознания. Их конструирование было конвенционально и субъективно.

Кодекс чести самим фактом своего существования напоминает нам об известной архаичности корпоративной жизни и ее установлений. Кроме того, он прямо связывает проблематику студенчества с более общими вопросами истории российского образованного общества. С одной стороны, речь идет о сословной структуре, так и не упраздненной до 1917 года, и о влиянии практик дворянского сословия на все образованное общество. С другой – российский университет как социальный институт «происходил» из Западной Европы. Можно сказать, что корпоративность русского университета до известной степени обязана своим существованием западноевропейскому средневековому городу с его гильдейским и цеховым правом¹³³. Неудивительно, что этика «чести», с ее средневековыми сословными обертонами, не была исключительно российским феноменом – студенты Германии, Франции и Великобритании имели схожие «кодексы поведения» и обслуживающие их институции¹³⁴.

Наиболее серьезным преступлением были обман ради материальных выгод и кража: виновного могли приговорить к исправительным работам, оштрафовать или подвергнуть

¹³¹ *Масляков С.* Борьба с «белоподкладочниками» // Красное студенчество. 1929. № 11. С. 29; На штурм науки: Воспоминания бывших студентов факультета общественных наук Ленинградского университета. С. 47, 76–77 и др.

¹³² *Воронков М.* Из жизни дореволюционного студенчества. С. 5–6 (другой вариант – «индюки»).

¹³³ Кассов отмечает глубинное противоречие между интересами абсолютистского государства, породившего университет в России, и такими чертами последнего, как внесословность и служение науке, которое предполагало поиск научной истины, то есть свободу исследования и приверженность космополитической академической культуре (Op. cit. P. 14–15). Оставив в стороне весьма двусмысленный демократизм университета как такового, согласимся, что мистика науки (McClelland) и принципы корпоративной солидарности были порождены средневековым латинским университетом.

¹³⁴ *Caron J.-C.* Générations romantiques. Les étudiants de Paris et le Quartier Latin (1814–1851). P. 169–196; *Jaraus K. H.* Students, Society, and Politics in Imperial Germany. P. 234–332.

остракизм¹³⁵у. Среди тяжких проступков перед корпорацией фигурировали предательство и штрейкбрехерство во время студенческих «историй», заслуживавшие бойкота¹³⁶. Могли рассматриваться в суде и более мелкие проступки, вплоть до подробностей сексуальной жизни, хотя и весьма редко¹³⁷.

Существование института суда и – в еще большей степени – эффективное общественное мнение исполняли важную дисциплинирующую функцию, периодически преследуя нарушителей корпоративных норм. Дисциплинарные практики напоминают о генезисе гражданского общества в России, затрагивавшем в дореволюционный период лишь образованное общество. Кодекс студенческой чести, обязанный своим существованием европеизации страны, также «работал» на эту эволюцию. Будучи интериоризован буквально каждым студентом и имея таких защитников, как общественное мнение и институт товарищеского суда, он обеспечивал дополнительные гарантии корпоративного единства и солидарности, формализацию и гомогенизацию практик студенческой жизни и дискурса о них.

Стандартизация студенческого языка

Поступив в университет (институт), первокурсник учился одновременно и быть и говорить по-студенчески. Мы исходим из витгенштейновского положения о бессмысленности противопоставления языка и практик и потому рассматриваем становление реалий студенческого «жизненного мира» в-языке и из-языка. В достаточной степени однородная – по крайней мере, чтобы существовать, – корпорация должна была иметь гомогенный формализованный дискурс. (В данном случае мы менее всего ведем речь о студенческом жаргоне, но подразумеваем значительное сходство в представлении и осмыслении окружающего мира, в формах мышления, зафиксированное в овеществленных текстах¹³⁸.) Студенческий дискурс описывал университетский социум как трехчастную структуру, включавшую самих студентов, профессуру и представителей власти. Первых и последних разделял перманентный конфликт, укорененный в традиции. Профессура, занимавшая промежуточное положение, то склонялась к компромиссу с властями, как это было вплоть до большевистского переворота, то сближалась со студенчеством (в особенности с лета 1918 г.). Позитивный образ своей группы формировался посредством самоопределения – демократическое студенчество – и апелляцией к почти пятидесятилетней демократической же традиции. Вообще, слова «демократия» и «демократический» постоянно фигурировали в студенческом лексиконе применительно к истории, сегодняшнему дню и конкретным действиям студентов. Трехчастная картина студенческого мира, пребывающего в перманентном внутреннем конфликте, переносилась и на внешний мир, где присутствовали демократия, самодержавие и буржуазия, причем последняя виделась «несимпатичной», эгоистичной, соглашательской (с автократией, конечно)

¹³⁵ *Kassow S. D.* Op. cit. P. 55 (дело растратчика Бущика – казначея студенческой кассы СПбУ). P. 81–82 и др.

¹³⁶ *Kassow S. D.* Op. cit. P. 81–82.

¹³⁷ *Kassow S. D.* Op. cit.

¹³⁸ Нашей идеей дискурса мы обязаны М. Фуко (*Foucault M.* L'archéologie du savoir. Paris, 1969. P. 153), давшему ему следующее определение: «Назовем дискурсом известную совокупность высказываний – в том виде, как они определены одним и тем же дискурсивным образованием <...>; он [дискурс] состоит из ограниченного числа этих высказываний, для которых можно определить известный круг условий их существования».

силой¹³⁹. Само студенчество тоже мыслилось как неоднородное, но доминирующей модели описания этой «неоднородности» выявить не удалось. (Здесь мы заранее абстрагируемся от «академистов», которые были как бы не совсем студентами.) Нерасчлененность студенчества в языке оборачивалась его нерасчлененностью на практике. Линии дифференциации, которые уже наметились, кажутся весьма призрачными, неуверенными. Возьмем то же понятие «белоподкладочник», фигурировавшее в студенческой речи уже в годы Первой мировой войны, а возможно, и раньше¹⁴⁰. Оно подразумевало определенную моду – сюртук с белым бантом, синий воротник, белые перчатки и шпага на боку в торжественных случаях, – распространенную среди студентов юридического факультета. Понятием того же ряда было «индюки» – «надменные физиономии и чопорные фигуры в зеленых форменных сюртуках с красными воротниками, в дворянских фуражках и неизменных белоснежных перчатках», – прилагавшееся к экс-лицеистам¹⁴¹. Конечно, социально-иерархические коннотации могли присутствовать в семантическом поле этих понятий, но в то же время мы должны учитывать год выхода в свет мемуаров комментировавшего их очевидца – 1947-й. Скорее всего, вначале речь шла о некоторых элементарных практиках повседневности вкупе с университетским подразделением или предшествующим учебным опытом (лицей, гимназия, реальное училище). Едва ли эти определения претендовали на выделение какого-либо «студенческого класса». Равным образом, обращение «товарищи», отличавшее «активистов» общественной работы различного происхождения и студенческую богему – «вечных студентов», например, – не претендовало на «раскол» с «коллегами» и «господами студентами»¹⁴². Учащиеся осмысливали свою корпорацию как сложное целое – варьирующееся, но единое. Этот замкнутый мир противостоял враждебному ему миру внешней власти и солидаризировался за стенами университета с «демократической общественностью», не растворяясь, впрочем, в ней.

Интересно проанализировать и дискурсивный контекст понятий «профессура», «профессор». Эти два слова различались не только грамматически: «профессура» как означающее для некоторого социального единства фигурировала в качестве одной из ипостасей власти – особой, в университетском контексте, но все же власти, которой не следовало доверять и которая по определению связана с администрацией, поставленной «самодержавием». В то же время профессор как лицо, как учитель интерпретировался скорее в контексте лекции, семинария, встреч за пределами вуза¹⁴³. Он был частью студенческого мира. Характерно, что ничего подобного не происходило с означающими для администраторов (кураторов, надзирателей) от режима.

«Парии» студенческого мира – «академисты» – занимали место «продажного иуды» университетской «демократии». Тем самым они ставились вне корпорации, одновременно выполняя роль отрицательного примера (в качестве нарицательного понятия). «Академистов» ассоциировали с лексемами «грязь», «загрязнение», маргинализируя их статус¹⁴⁴. После 24–26 октября 1917 года происходит быстрая маргинализация понятий

¹³⁹ Колоницкий Б. И. Антибуржуазная пропаганда и «антибуржуйское» сознание // *Анатомия революции. 1917 год в России: массы, партии, власть* / Под ред. В. Ю. Черняева. СПб., 1994. С. 188–202.

¹⁴⁰ Воронков М. Указ. соч. С. 5–6.

¹⁴¹ Воронков М. Указ. соч. С. 5–6.

¹⁴² Там же. С. 7.

¹⁴³ См, например, воспоминания Н. И. Кареева о взаимоотношениях со студентами СПбУ в конце 1880-х – 1890-е гг.: *Кареев Н. И. Прожитое и пережитое*. П., 1990. С. 185–188, 193–200.

¹⁴⁴ Лейберов И. П. Указ. соч. С. 28.

«большевики», «коммунисты», начавшаяся еще весной – летом того же года¹⁴⁵. Маргинализирующим фактором было то, что и «академисты», и «большевики» оказались в пределах дискурса о враждебном политическом режиме и символизировавшей его университетской администрации.

Представляется существенным проанализировать и дискурс об «уроках», то есть о студенческой реальности вне университета. Контекст «репетиторских заработков» довольно однообразен: нехватка средств, тяжелые материальные и бытовые условия, то есть скорее нечто принуждающее. «Уроки» мешают учиться, препятствуют полноценным занятиям дома и в библиотеке, хотя и дают возможность прожить. Почти не говорится о самих учениках («уроки» обезличены), о педагогической технике, вообще о каком-либо нематериальном интересе. Мы видим враждебный мир труда, с которым студенту придется столкнуться после университета, а с другой стороны – напоминание о гимназическом прошлом. С. Кассов отметил, ссылаясь на Чехова, страх провинциала перед серым мещанским будущим его родителей¹⁴⁶. Студенческий дискурс о труде и жизни вне стен вуза (исключая богемное времяпрепровождение, на самом деле являвшееся элементом студенческого стиля) косвенно подтверждает это наблюдение.

Активное усвоение языковых форм означало интериоризацию определенной картины мира и имело, среди прочего, дисциплинирующее воздействие.

Интеграция «новичков»

Корпорация может самовоспроизводиться, только имея эффективную стратегию «обращения» новичков. Но и эти последние – не глина; они сами желают интегрироваться, стать студентами. Рассматривать интеграцию исключительно как род принуждения означает удаляться от реальности. Речь идет о процессе, который во многом «создают» сами первокурсники, через «притирку» к студентам старших курсов, привыкание к атмосфере вузовской жизни. Меняются не только они сами, но и то, что их окружает, в том числе их старшие товарищи и профессора. Для того чтобы лучше понять ход этих изменений, разумнее всего обратиться к индивидуальному опыту самих первокурсников.

Мемуары большевистского лидера универсантов в 1913–1915 годах С. И. Петриковского служат нам одним из таких свидетельств: он, поступив в университет в сентябре 1913 года, «первые две-три недели был наидисциплинированнейшим студентом. Аккуратно посещал все лекции, семинары, консультации, увлекся высшей математикой, физикой»¹⁴⁷. О подобной стратегии первокурсника приходится читать нередко. Вс. Рождественский вспоминал, как «составлял себе примерный план посещения лекций»¹⁴⁸. Так же описывает первые шаги начинающего универсанта «этнограф» студенчества Москвы П. Иванов¹⁴⁹. Наш первокурсник начинал с самоприспособления к

¹⁴⁵ *Жаба С.* Петроградское студенчество в борьбе за свободную высшую школу. С. 59–60; *Бухбиндер Н. А.* Студенческая организация при Петербургском комитете Р.С.Д.Р.П. (больш.) // Красная летопись. 1923. № 6. С. 293–301.

¹⁴⁶ *Kassow S. D.* Op. cit. P. 50–51, 62.

¹⁴⁷ *Петриковский С. И.* Наш университет. С. 130.

¹⁴⁸ *Рождественский В. А.* Первые опыты // Ленинградский университет в воспоминаниях современников: В 3 т. / Под ред. В. А. Ежова, В. В. Мавродина. Т. 2. С. 146.

¹⁴⁹ *Иванов П.* Указ. соч. С. 112–113.

«нарисованному» им же образу универсанта. Этот образ предполагал дисциплину, знакомую новичку по гимназическим годам, но требовавшую куда большей ответственности, чем раньше: право выбора учебного плана и свободного посещения обязывало.

Весьма быстро модель поведения менялась: достаточно было иногда одной встречи. Так случилось и с Петриковским, который в конце сентября 1913 года встретил своего гимназического учителя Н. В. Крыленко, сразу же вовлекшего его в большевистскую подпольную работу. Такие повороты претерпевали многие: если для Петриковского ключевым событием стало возобновленное знакомство с учителем, для сибиряка К. Г. Аршавского центром притяжения явилось сибирское землячество университета, где он также нашел недавних товарищей по гимназическому кружку¹⁵⁰. Новичок искал компании, и легче всего было вновь окунуться в среду земляков либо бывших соучеников. Если, как у Аршавского и Петриковского, «знакомцы» оказывались подпольщиками, первокурсник имел все шансы на то, что скоро его «будет не хватать» на занятиях¹⁵¹. Возможны были и иные ситуации: Вс. Рождественский следовал своим богемным интересам начинающего поэта и сразу примкнул к «бесчисленным студенческим литературным кружкам»¹⁵². Кто-либо другой, готовивший себя к карьере ученого, искал знакомств в научных студенческих обществах, кружках и библиотеках¹⁵³. Стратегию можно было, до известной степени, выбрать: конечно, свобода выбора зависела от качеств социального актора: социальной позиции, которую он занимал относительно других акторов, информации, находившейся в его распоряжении, и т. п. Не участвовавший в студенческих организациях и мало интересовавшийся политикой в свои первые университетские годы, будущий герой Февральской революции Владимир Иванович Хлебцевич (поступил на физико-математический факультет Петроградского университета в 1913 г.) примкнул к обычной жизни первокурсников с вечеринками и бесконечными дискуссиями¹⁵⁴. Возможно, это была наиболее распространенная из стратегий первокурсников.

Интеграция осуществлялась и через знакомство с общестуденческими ритуалами и традициями: участие в сходках, «университетский коридор» (с его правилами «хорошего тона») ¹⁵⁵. Становление студента реализовывалось и воплощалось в языке. С усвоением «мышления по-студенчески» первокурсник реально таковым становился. Об особенностях вузовского дискурса мы уже говорили.

Место профессуры в корпоративном бытии студенчества

Наиболее близким «соседом», который многое определял в самих основах

¹⁵⁰ *Аршавский К. Г.* Путь к Октябрю // Ленинградский университет в воспоминаниях современников: В 3 т. / Под ред. В. А. Ежова, В. В. Мавродина. Т. 2. С. 161.

¹⁵¹ *Петриковский С. И.* Указ. соч. С. 132.

¹⁵² *Рождественский В. А.* Первые опыты // Ленинградский университет в воспоминаниях современников. С. 150.

¹⁵³ О «политике» знакомств см.: *Иванов П.* Студенты в Москве. Быт. Нравы. Типы. Изд. 3-е. М., 1918. С. 245–265 (сатирическое изображение).

¹⁵⁴ Краткий биографический очерк студента В. И. Хлебцевича. Сызрань, [б.г.] / Сост. *Хлебцевич И. А.*, С. 10, 35, 41; Благородная жертва Февральской революции 1917 г., студент Петроградского университета В. И. Хлебцевич, его героическая смерть и литературные произведения. Вып. 1. Сызрань, [б.г.]. С. 15, 63.

¹⁵⁵ *Рождественский В. А.* Указ. соч. С. 146.

студенческого бытия, была профессура – еще одна вузовская корпорация, одновременно прописанная по чиновничьему ведомству и потому поддерживавшая довольно двусмысленные отношения с автократическим государством. Формальные отношения двух корпораций колебались от враждебных – как это не раз бывало до революции, в том числе в 1914–1917 годах, – до союзнических (особенно с лета 1918 г.). Однако принципиальная модель оставалась неизменной: контроль, попытки его ограничить и преодолеть, компромисс – все в условиях постоянного контакта. Собственно, эти контакты определяли подвижную границу, изменения которой меняли, иногда в чем-то существенном, корпоративные реальности, студенческий габитус¹⁵⁶. Когда мы говорим о контроле, то имеется в виду не только и даже не столько его репрессивная функция, сколько сложное отношение с конструктивным потенциалом – этот контроль формировал определенные формы мышления о мире и поведения и доводил до автоматизма навыки их применения, создавая базовые возможности для переживания свободы¹⁵⁷.

«Пограничная зона» контактов и конфликтов двух корпораций охватывала все университетское пространство, но аудитория, где проходили лекции и семинарские занятия, представляется точкой особого напряжения. Профессора избирали различные стили общения со студенчеством, но при любом из них процедура лекции, конструкция и интерьер аудитории символизировали режим профессорской власти. Соппротивление, которое это доминирование порождало, обнаруживалось в наиболее явной форме в моменты студенческого бойкота того или иного профессора – «правого» или «соглашателя» – и в периоды студенческих забастовок. Например, 16 сентября 1914 года студенты бойкотировали лекцию ультраконсерватора В. Н. Гридовского, подвергнув профессора обструкции¹⁵⁸. Поводы для подобных конфликтов могли быть разнообразными, но особенно часто ими оказывались идеологический подтекст курса, входивший в противоречие с освященными традицией ценностями «демократического студенчества», поведение даже слывшего либеральным профессора в обстоятельствах конфликта учащихся с властями, а то и просто качество лекций¹⁵⁹. В такой ситуации профессура, следовавшая нормам корпоративной солидарности, обычно порицала студенческое поведение; эти оценки разделяла и либеральная пресса¹⁶⁰. Студенты осмысливали себя через противопоставление «мужества и твердости» собственной корпорации – «трусости» и «соглашательству» профессуры¹⁶¹. В свою очередь, в других обстоятельствах, с лета 1918 года, после заключения союза с профессурой против новой власти, характер студенческой корпоративности вновь изменился: идеал «автономного университета» должен был конституировать основу интегральных ценностей двух сообществ. Эта конвенция была

¹⁵⁶ См.: *Barth F.* Introduction // *Ethnic Groups and Boundaries* / Ed. by Barth F. Boston, 1969. P. 10, 13–15, 32–35.

¹⁵⁷ См. об экономии власти и свободы: *Foucault M.* *Le pouvoir, comment s'exerce-t-il?* // *Dreyfus H., Rabinow P.* Michel Foucault. Un parcours philosophique. Au-delà de l'objectivité et de la subjectivité / Tr. de l'anglais par F. Durand-Bogaert. Paris, 1984. P. 312–315.

¹⁵⁸ *Лейберов И.* Указ. соч. С. 18.

¹⁵⁹ Таких примеров множество: например, во время забастовки 1911 года студенты Московского университета встречали улюлюканьем даже популярных преподавателей-либералов (*Kassow S. D.* *Op. cit.* P. 355).

¹⁶⁰ Это неудивительно, так как конституционные демократы были, до известной степени, «профессорской партией».

¹⁶¹ *Kassow S. D.* *Op. cit.* P. 399.

плодом ряда уступок и компромиссов, прежде всего со стороны профессоров, допустивших студентов к управлению университетом (что, впрочем, могло случиться и помимо профессуры, в ходе реализации советской реформы лета-осени 1918 г.). Некоторое перераспределение власти в рамках университета было закреплено (или одновременно сконструировано) в студенческом и профессорском дискурсах¹⁶². Данный компромисс указывает на смещение плоскости соприкосновения и взаимного приспособления двух групп из аудитории в ученые советы университета и факультетов, а также в административно-хозяйственные инстанции. Меняется вузовская «география власти» – следом или одновременно с ее экономией. Перемены затрагивают и установки профессуры относительно студенчества в моменты конфликтов последнего с властями (равно как и наоборот). В обстановке арестов и полицейских преследований в последние месяцы Гражданской войны ученые советы неоднократно обращаются к властям с жалобами, просьбами и даже требованиями по поводу задержания отдельных студентов, а также и профессоров¹⁶³. До известной степени конкуренция между корпорациями смягчается в пользу конструкции «университетской семьи» с общими традициями и предназначением. Думается, что к этим переменам привела не только общая угроза со стороны новой власти: политика последней представляется крайне противоречивой – иногда благожелательной и даже «искательной» по отношению к студентам (лето – осень 1918 г.), иногда протягивающей руку профессорам (Комиссия по улучшению быта ученых), иногда откровенно враждебной и тем и другим (институт комиссаров в вузах, рабочие факультеты, аресты, мобилизация)¹⁶⁴. Не менее важно падение престижа интеллектуального труда вообще и социального статуса профессуры в частности. Профессора имели перед собой дилемму: или все потерять в результате реализации реформы 1918 года (с ее предельно жесткими требованиями сменяемости университетской бюрократии, разделением научной и учебной работы, жестким общественно-государственным контролем за деятельностью вузов и откровенно эгалитаристским пафосом), или найти общий язык со студенчеством, – а искать его они начали еще летом 1917 года, на «мануйловском совещании» по университетской реформе. Таким образом, контуры профессорской корпорации также сместились.

Особенно интересно проследить эту смену самоопределений и диспозиции отношений власти на примере области, казавшейся профессуре зоной своей абсолютной компетенции, – организации преподавания и учебного процесса. Студенты 1919–1920 годов, вернее, их лидеры чувствуют себя вправе не только вносить предложения по назревшим переменам, но и настаивать на своих вариантах. Так, по сути, именно они настояли на отказе от факультетской системы и занятиях по индивидуальному плану, принятом профессурой¹⁶⁵. Последняя пошла на большие уступки студенчеству, повернувшись спиной к советской

¹⁶² *Жаба С. П.* Петроградское студенчество в борьбе за свободную высшую школу. С. 10–13, 53–54.

¹⁶³ Об отношениях власти и профессуры в годы Гражданской войны см.: *McClelland J.C.* The Professoriate in the Russian Civil War // *Party, State, and Society in the Russian Civil War: Explorations in Social History.* / Ed. by Koenker D. P. et al. Bloomington; Indianapolis, 1989. P. 243–266; *Bailes K. E.* Natural Scientists and the Soviet System // *Ibid.* P. 267–295.

¹⁶⁴ *Fitzpatrick Sh.* The Commissariat of Enlightenment. Soviet Organization of Education and the Arts under Lunacharsky, 1917–1921; *Королев Ф. Ф.* Из истории народного образования в Советской России. (Низшие и средние профессиональные школы и высшее образование в 1917–1920 гг.) // *Известия АПН РСФСР.* Вып. 102. М., 1959. С. 90–105; *Чанбарисов Ш. Х.* Формирование советской университетской системы. Уфа, 1973. С. 105–120, 156, 161–176, 337–338; *McClelland J.C.* Bolshevik Approachs to Higher Education, 1917–1921 // *Slavic Review.* 1971. V. XXX. № 4. P. 818–831, и др.

¹⁶⁵ *Жаба С. П.* Указ соч. С. 13–14.

власти¹⁶⁶. Университетский мир перевернулся.

Читатель может быть несколько удивлен, что, провозглашая в начале настоящей главы тезис о незначительности изменений в студенческом мире до 1920 года, мы утверждаем теперь, будто случились революционные перемены в самосознании петроградского студента в 1917–1920 годах. Это не совсем так: происшедшие перемены лежали по другую сторону студенческой «границы», нежели это подразумевалось в нашей общей предварительной гипотезе, – не между студентом и реальностью вне университета, не в рамках самого студенчества, а поверх внутриуниверситетской «границы» с профессурой, хотя и под влиянием внешнего мира.

Элементарные формы жизни

Переключим наше внимание на, казалось бы, ускользнувшие от анализа элементарные практики персонажей настоящего исследования – те, что также можно интерпретировать с помощью понятия «габитус». К ним относятся быт – распорядок дня, выбор местожительства, организация жилого пространства, привычные городские маршруты, различные формы заботы о своем теле, география отдыха и развлечений, – а также «духовные» проявления студенческой повседневности, как то: круг чтения, любимые театральные постановки, предпочтения в музыке, изобразительном искусстве, фотографии, кино; наконец, особую составляющую образуют стили сексуальной жизни во всем их многообразии – ухаживание и соблазнение, партнеры, нестандартное сексуальное поведение и т. д. В конечном счете речь идет о принципиально важных слагаемых групповой и индивидуальной идентичности¹⁶⁷.

Круг предпочтений формировался студентом так же рутинно, прозаически, как и «рождение» языка и мира университетской жизни – индивидуально, но в рамках возможного. Описать этот процесс тем труднее, что студенческий габитус перманентно менялся. Например, круг модного чтения образованной публики претерпел кардинальные трансформации с начала XX века: достаточно сравнить первые студенческие переписи, включавшие проблематику «любимой книги», с опросом студенток Высших женских курсов Петербурга в 1909 году – быстрое продвижение литературы модернизма налицо¹⁶⁸. Многие заставляет предположить маленькую «революцию» в сексуальных отношениях: переход к смешанному образованию, либерализация дискурса о браке, ставшее заметным еще до 1917 года распространение психоанализа и – шире – дискуссий о поле¹⁶⁹. Тем более нет сомнений в переменах географии передвижений и отдыха, организации жилого пространства, режима потребления и заботы о теле. Уловить нечто стабильное, но на фоне быстрых изменений – таков предмет настоящего параграфа (хотя рассмотрение этих сюжетов достойно нескольких монографий – при всех документальных лакунах для периода 1917 – начала 1920-х гг.).

Итак, быт. География мест проживания петроградских студентов в 1914–1920 годах

¹⁶⁶ Общий язык был найден уже на июльском и сентябрьском (1918 г.) Всероссийских совещаниях деятелей высшей школы (*Чанбарисов Ш. Х.* Указ. соч. С. 111, 119).

¹⁶⁷ Bourdieu P. *La distinction: critique sociale du jugement*. Paris, 1979. P. 422–431.

¹⁶⁸ Ср.: *Кауфман А. А.* Русская курсистка в цифрах. С. 86–88; *Радин Е. П.* Душевное настроение современной учащейся молодежи по данным Петербургской общестуденческой анкеты 1912 года. Психологическая и социологическая самооценка. Разочарованность. СПб., 1913. С. 59–60 и др.

¹⁶⁹ *Engelstein L.* *The Keys to Happiness: Sex and the Search for Modernity in Fin-de-Siècle Russia*. Ithaca; L., 1992. P. 215–420; *Эткинд А. М.* Эрос невозможного: История психоанализа в России. М., 1994. С. 171–214; *Он же.* Содом и Психея: Очерки интеллектуальной истории Серебряного века. М., 1996. С. 59–139.

существенно менялась в эпоху Гражданской войны в связи с кратковременным, но стремительным ростом контингента учащихся и его последующим не менее резким сокращением (фактор, действовавший внутри высшей школы) и по причинам перемен на рынке жилья (эмиграция хозяев, реквизиции, политика «уплотнений»), коммунальных услуг, голода, с падением роли денег, открытием общежитий, появлением неожиданных форм коллективной жизни студентов – коммун и т. п. Однако концентрация студенчества в центральных городских кварталах была тенденцией долгосрочного характера, которую революция и разруха не смогли кардинально переменить. Причины не требуют длинных объяснений: примерное совпадение географий учреждений высшего образования, культурной сферы и студенческого жилья очевидно¹⁷⁰. Разумеется, и в центре студенты стремились найти квартиры (комнаты) по максимально низкой цене: например, на Васильевском острове или в доходных домах Петроградской стороны. Но студенческого квартала, в отличие от Парижа первой половины XIX века, Петроград не имел. Студенческое население жило дисперсно. Правда, еще до революции возникли «студенческие дома» – например, на Мытнинской набережной Петроградской стороны и около Политехникума, но они оставались маргинальным явлением, необходимым и одновременно доступным отнюдь не для всех учащихся. Крайние точки студенческой географии лежали за пределами обжитого центра: например, в северном пригороде – для политехников. Но даже учащиеся удаленных вузов стремились найти жилье ближе к центру; по крайней мере, так было в годы старого режима, когда городской транспорт функционировал еще исправно.

Квартира или комната (последнее – чаще) нередко снималась на двоих или более студентов, деливших арендную плату и коммунальные расходы. Обстановка или оставалась от хозяев, или ограничивалась (как правило) самыми элементарными объектами: стол, кушетка, настольная лампа. К ним могли добавляться платяной шкаф и книжная полка. Насколько аскетическим полагали студенты свой скудный быт? Аскетизм если и упоминается в письмах, мемуарах и «этнографических» текстах, то как вынужденный, обусловленный низкими доходами: нет и следа от идеологического аскетизма студенчества эпохи «хождения в народ»¹⁷¹.

Распорядок студенческого дня сильно варьировался от индивида к индивиду и со дня на день. Неопределенность была его наиболее характерной чертой, сближавшей студента по образу жизни с маргиналами всех мастей и литературно-артистической богемой, то есть тоже маргиналами особого рода. Однако ординарный студент все же довольно часто присутствовал на лекциях и семинариях в вузе и участвовал в жизни студенческих организаций. Если он был в достаточной мере дисциплинирован, то его день начинался довольно рано, с тем чтобы можно было успеть на утренние лекции и в библиотеки, имевшие обыкновение закрываться в 3–5 часов пополудни¹⁷². Остаток дня мог быть посвящен студенческим делам, друзьям и знакомым или чтению и самостоятельной работе. Часто студенческие развлечения продолжались далеко за полночь, делая день петроградского вузовца длинным и разнообразным по впечатлениям. Однако здесь обрисован своего рода идеальный образ. Не стоит забывать, что многие прирабатывали уроками, забиравшими изрядную долю времени. Немало было и тех, у кого не было ни гроша на развлечения и даже на книги, а нередко и на сколько-нибудь сносную комнату. Недаром «этнограф» московского студенчества начала века П. Иванов вывел образ быстро деградирующего студента-бомжа¹⁷³. Его день мог проходить в поиске пропитания и «бесцельном

¹⁷⁰ *Kassow S. D.* Op. cit. P. 71; *Кареев Н. И.* Прожитое и пережитое. С. 223.

¹⁷¹ *Иванов П.* Студенты в Москве. С. 12–38.

¹⁷² *Кауфман А. А.* Указ. соч. С. 81–84.

¹⁷³ *Иванов П.* Указ. соч. С. 153–172.

времяпровождении». Нам остается еще раз подчеркнуть удивляющие наблюдателя разнообразие и нестабильность студенческого распорядка, ставшие чертой самосознания (как, впрочем, и желание добиться некоторого порядка, нормализовать свою жизнь). «Типичный студент таков – и он должен быть таковым».

Соответственно четкие маршруты студенческих перемещений также ограничивались университетом/институтом и библиотекой; для некоторых же они включали – пусть и время от времени – театры, музеи, студенческие и литературные кафе, публичные дома и т. д. По расположению места учебы и, нередко, жительства стрелка и набережные Васильевского острова и Невский проспект были главными студенческими артериями, а конки и извозчики – транспортными средствами (но многие перемещались пешком – ради экономии). Путешествующий пешком по центру студент имел, разумеется, несколько иную картину города, нежели постоянно пользующийся извозчиком. Однако габитус петроградского студента (именно как студента), представляемый в виде сложной классификационной динамической схемы или, скорее, сложного и запутанного переплетения таких самонастраивающихся схем, вряд ли ранжировал студенческие миры в зависимости от способа передвижения. Вообще переплетение в одном студенте габитусов «разного происхождения» еще более осложняет задачу: ведь наш учащийся мог быть сыном университетского профессора и крупного чиновника, учителя провинциального городка и зажиточного крестьянина и т. д. Насколько студенческий габитус вытеснял или подавлял все остальные? Скорее нужно говорить о сложном процессе совмещений, «притирок» и доминирования, которое и составляло индивидуальность каждого из акторов. При этом «чистый», надындивидуальный студенческий габитус – это не более чем удобная модель описания различных форм индивидуального поведения. Однако в том смысле, в каком наш студент все же оставался студентом, для него способ его передвижений не содержал конструктивного различия – в отличие, например, от стратегий поведения в университетском коридоре. Другое дело – рассматривать бытовые и прочие «мелочи» в общем контексте: тогда молодой пешеход неуловимо присутствовал в имидже свободного маргинала.

К своему телу учащийся конца империи и начала советских лет относился с куда большим вниманием, чем стереотипный «шестидесятник» (еще раз приходит на память это назойливое сравнение с «людьми 1860-х»!). И это несмотря на все неурядицы и нищету в годы «военного коммунизма». Мемуаристы говорят о студентах-«модниках» (чистота рассматривается как нечто само собой разумеющееся) в великолепных сюртуках, шарфах и белых перчатках¹⁷⁴. Из литературных источников нам известны гомосексуальные сообщества студентов с особым вкусом к «внешней» саморепрезентации¹⁷⁵. Наконец, общая «сексуализация» культуры эпохи заставляла больше «заниматься собой». В этом контексте интересно посмотреть на развитие студенческого спорта в Петрограде. Пожалуй, в субкультуре русского студенчества ему никогда не уделяли внимания, сопоставимого с тем, которое обращали на спорт британские или американские универсальности. Однако расцветший в 1920-е годы студенческий и школьный спорт возник не на пустом месте и не из идеологических устремлений власти и культа армии исключительно¹⁷⁶. У него были

¹⁷⁴ Воронков М. Указ. соч. С. 5–6.

¹⁷⁵ Эту информацию можно почерпнуть из разных источников: *Есенин С. А.* Материалы к биографии / Под ред. coll_0, 1993. С. 335–338, 432–433; *Богомолов Н. А.* Михаил Кузмин: статьи и материалы. М., 1995. С. 103–105, 113–115 и др.

¹⁷⁶ О месте спорта в жизни петроградского студента до 1917 года см.: *Зеликсон Е. Ю.* Очерки по истории физической культуры в СССР. От отмены крепостного права и развития промышленного капитализма в России до Великой Октябрьской социалистической революции (1861–1917 гг.). М.; Л., 1940. С. 141–142, 145, 147, 149. Ср.: *Сватиков С.* Русское студенчество прежде и теперь // *Путь студенчества.* М., 1916. С. 17.

дореволюционные предшественники, и не только в среде «академистов»¹⁷⁷. Спорт был, конечно, куда более «благородным», «британским», нежели в «пролетарскую» эпоху 1920–1930-х годов. Но это подчеркивает и разницу в «границах» и самосознании студентов на протяжении одного десятилетия.

В полумаргинальной студенческой жизни отдых и развлечения имели не меньшее значение, чем учеба. Поскольку в Петербурге не было «студенческого квартала» в буквальном смысле слова, трудно указать скопления студенческих закусочных, кафе, рюмочных. Однако на Васильевском острове, на Вознесенском проспекте таких мест хватало (как, возможно, и в других районах города, где находились вузы, например, поблизости от Политехнического института). Подобно парижским студентам, для петроградцев это – места товарищеских встреч, дискуссий – одним словом, общения. Не случайно правительство столь настойчиво относилось к просьбам об открытии студенческих столовых: в представлении чиновников Министерства народного просвещения и Министерства внутренних дел они рано или поздно должны были стать центрами политической деятельности. Именно подобная настойчивая реакция привела к проволочкам с регистрацией Василеостровского студенческого кооператива¹⁷⁸. Наверное, рассматривать весь мир студенческого «общепита» сквозь призму политики необоснованно: темы обсуждения были по-студенчески разнообразны. Вообще «тематических» закусочных и рюмочных имелось много меньше, нежели обслуживавших студентов с разными интересами. Среди заведений с богемной направленностью накануне революции процветали поэтические кафе, вроде «Бродячей собаки». Они были местом встреч и знакомств начинающих художников с маститыми поэтами и писателями. Особую позицию в студенческом «релаксе» занимали каникулы и праздники – прежде всего профессиональные. В Москве – это Татьянин день, в Петербурге – 8 февраля (день Университета). Праздник начинался с торжественных собраний в высших учебных заведениях, а затем продолжался в ресторанах – с попойками, танцами и ночными гуляньями. Собирались не только студенты, но и профессура, выпускники прошлых лет. Последнее позволяло, подобно немецким студенческим пивным ритуалам, завязывать полезные для будущей карьеры контакты с влиятельными в мире политики, бизнеса, искусства и академии людьми¹⁷⁹. Кроме того, праздник разрушал, до известной степени, субординацию (или ее ритуалы) между студентами и профессорами. Возможно, это позволяло иногда разрешать разного рода политические недоразумения и конфликты либо даже избегать их. Наконец, необходимо учитывать и еще одну символическую функцию такого праздника – поддерживать культ традиции и *alma mater*, постоянно заново конституировать обе вузовские корпорации и «патриотизм» конкретного института. До войны каникулы означали разъезд студенчества по домам, пусть временный, но «распад корпоративного тела». Однако после 1 августа 1914 года далеко не для всех это стало возможно. Студенты оставались в городах, подрабатывая в различных частных и государственных учреждениях¹⁸⁰. В первые послеоктябрьские годы

¹⁷⁷ Ср.: Кушнырь-Кушнарев Г. И. Исторический очерк возникновения и развития академических организаций в России. СПб., 1914. С. 11, 14, 133, 140.

¹⁷⁸ Лейберов И. Указ. соч. С. 32. Ср.: Kassow S. D. Op. cit. P. 71–72. О студенческих пивных см.: Иванов П. Указ. соч. С. 271–282 (московская пивная «Седан»).

¹⁷⁹ Kassow S. D. Op. cit. P. 13–14; Иванов П. Указ. соч. С. 80–81. Ср. Jarausch K. H. Students, Society and Politics in Imperial Germany. The Rise of Academic Illiberalism. P. 234–332. Существовали и другие формы установления и поддержания контакта с профессурой в неформальных условиях – благодаря студенческим дружба, например: Кареев Н. И. Прожитое и пережитое. С. 205.

¹⁸⁰ О быте петроградского студенчества в годы Первой мировой войны (1914–1917) см., напр.: Слушательницы Петроградских Высших Женских (Бестужевских) Курсов на втором году войны. Бюджет. Жилищные условия. Питание. По данным переписи (анкеты), выполненной статистическим семинарием в

тенденция вновь переменялась: из голодного Петрограда буквально бежали в сельскую местность и в малые провинциальные города¹⁸¹. Кроме того, государственная власть стремилась использовать освобождающихся студентов в качестве сельских школьных учителей и ревизоров сельских школ от Наркомата просвещения¹⁸². Но учащиеся всему предпочитали поездку к родственникам.

Перейдем к характеристике студенческих предпочтений в более «тонкой» сфере. Круг чтения, как уже отмечалось ранее, был гибкой, изменчивой реальностью: в начале века зачитывались классикой XIX столетия и социально-политической и экономической литературой. В «годы реакции» модными стали модернистские тексты и религиозная мысль (правда, лишь у небольшой части студенчества)¹⁸³. Но несмотря на все повороты, можно выделить важную характеристику студенческого габитуса применительно к кругу чтения: читали «престижную» в среде русской интеллигенции литературу – классику и вызывавшие дискуссии новинки.

Театр оставался «вотчиной» студенческой публики. Мы знаем, что студенты не только часто его посещали, но были неплохо осведомлены о перипетиях внутритеатральной жизни: специально намечали коллективный выход на спектакль с тем, чтобы громко выразить свое отношение к происходящему на сцене – освистать постановку или устроить настоящую овацию. Во время мировой войны эта традиция сохранялась, хотя и нет свидетельств о чем-либо подобном премьере чеховской «Чайки» в начале века. В годы Гражданской войны, когда театры сворачивали деятельность, а численность студентов сильно упала, традиция временно замерла. Если выделять те постановки, которые особенно привлекали студенческую публику, то нужно назвать пьесы с политическим подтекстом и театр авангарда¹⁸⁴. Маргинальная «богемность» столичного студенчества прочитывается и здесь.

Изобразительное искусство не является массовым зрелищным видом художественной деятельности. Поэтому о пристрастиях студентов в этой области мы почти ничего не знаем. Равным образом, по стечению обстоятельств, немного информации и по теме «петроградские студенты и музыка»; за исключением разве что свидетельств о популярности ее танцевального жанра (и танца как такового)¹⁸⁵. Аристократический балет явно не входил в число фаворитов вузовцев, да и билет на балетный спектакль стоил недешево. Почти ничего не известно о пристрастии к фотографии и кино. Очевидно, что, подобно другим горожанам, студенты любили сниматься на фото, но об их «фотовкусах» трудно что-либо сказать. «Народный» кинематограф оставался еще слишком «плебейским» видом творчества, чтобы оказаться в центре внимания универсантов и других вузовцев.

Говоря о «студенческой любви», мы не можем, к сожалению, опираться на материалы «половых переписей» петроградских учащихся, весьма частых на рубеже 1900–1910-х годов

конце октября 1915 г. / Под ред. А. А. Кауфмана. Пг., 1916. По данным опроса, если в 1914 году в зарботке нуждалось 35 % курсисток, то в 1915-м – уже 61 % (С. 28).

¹⁸¹ Картины жизни университетской интеллигенции этого периода воссозданы «по свежим следам» в цитируемых выше мемуарах Кареева: *Кареев А.* Цит. соч. С. 263–287.

¹⁸² *Королев Ф. Ф.* Из истории народного образования... С. 127–128, 133–136, 137–138. Ср. решение Петросовета о мобилизации студентов учительствовать в городских школах первой и, отчасти, второй ступеней: Студенты-учителя // Красная газета. 1921. 28 января.

¹⁸³ *Kassow S. D.* Op. cit. P. 71; *Кареев Н. И.* Прожитое и пережитое. С. 223.

¹⁸⁴ *Kassow S. D.* Op. cit. P. 75; *Иванов П.* Указ. соч. С. 112. Ср.: *Петровская И. Ф.* Театр и зритель российских столиц. 1895–1917. Л., 1990. С. 69, 79, 87, 96, 106, 109, 189–190.

¹⁸⁵ *Иванов П.* Указ. соч. С. 243.

и в эпоху нэпа. Однако для анализа долгосрочных тенденций все же разумно их учитывать. (Свидетельствами, прямо относящимися к нашему периоду, являются тексты студенческой публицистики – в газете «Студенческие годы», а также переписки и мемуаров.) После революции 1905–1907 годов дискурс о сексуальности в России «завоевывал» все новые дискурсивные территории, что было связано с распространением психоанализа, творчеством Розанова, «атмосферой» Серебряного века. Интерпретация самых разных сторон и «сезонов» человеческого существования и деятельности в рамках мышления о сексуальном становилась, как и в Европе, дискурсивным фактом. Можно говорить о «сексуализации» жизни образованного российского общества¹⁸⁶. Особенно ярко эта черта проявлялась в культуре богемы и авангарда¹⁸⁷. Студенчество же еще в 1860–1870-х годах оказалось в центре дискуссий о «половом вопросе», причем Дискуссий о сексуальном здоровье молодежи. Автоматически темы Проституции, венерических болезней, разврата с курсистками и брака стали центральными в дискурсе о студенческой сексуальности. Судя по опросам, едва ли можно оторвать дискурсивные практики от недискурсивных: пользование услугами публичных домов Действительно было обычным делом¹⁸⁸. Проблематика сексуальной «распущенности» курсисток совпала с расцветом феминистского Дискурса в их среде начиная с последней трети XIX века. О необходимости ранних «гимназических» браков писал популярный и читаемый В. В. Розанов¹⁸⁹. На рубеже 1900–1910-х годов беспокойство нарастает: пишут об «упаднических» антиобщественных настроениях, культе «аморального» романа М. Арцыбашева «Санин» Среди студентов¹⁹⁰. Одновременно литературная богема обращается к сексуальному «экспериментаторству»: в 1906 году публикуется роман М. Кузмина «Крылья» откровенно гомоэротического содержания; кружок Вяч. Иванова организует скандально известные Собрания; в определенном контексте «живет» любовный треугольник Мережковский – Гиппиус – Философов и т. д.¹⁹¹ Тема сексуальной свободы и ее границ была в моде у петроградских студентов вплоть до конца 1920-х годов. Но при всей своей маргинальности студенты показали себя более консервативными, нежели артистическая богема: к примеру, нет указаний на толерантное отношение к товарищам из гей – сообщества. «Свободные отношения» с курсистками чаще были мифом, чем реальностью. Даже высокий процент посетителей публичных домов совпадает с ростом озабоченности «моральной порядочностью и чистотой»¹⁹². Налицо те

¹⁸⁶ О значении психоанализа в дискурсивной истории сексуальности см.: *Foucault M. Histoire de la sexualité. V. I. Volonté de savoir. Paris, 1976. P. 120–126, 148–151, 157–158, 197–198, 209–211*; о либеральных спорах о сексе в России см.: *Engelstein L. The Keys to Happiness...*

¹⁸⁷ *Engelstein L. Op. cit. P. 359–420*; *Эткинд А. М. Эрос невозможного... С. 41–79*; *Он же. Содом и Психея: Очерки интеллектуальной истории Серебряного века.*

¹⁸⁸ *Членов М. А. Половая переписка московского студенчества и ее общественное значение. М., 1909. С. 16–27*; *Иванов П. Указ. соч. С. 90 (о Тверском бульваре).*

¹⁸⁹ *Розанов В. В. Опавшие листья. Короб первый // Розанов В. В. Сочинения. Л., 1990. С. 232–234*; *Stites R. The Women's Liberation Movement in Russia: feminism, Nihilism, and Bolshevism, 1860–1930. Princeton; New Jersey, 1978. P. 170–171*; *Engelstein L. Op. cit. P. 299–358.*

¹⁹⁰ См., напр.: *Радин Е. П. Душевное настроение современной учащейся Молодежи... С. 60*; *Кауфман А. А. Русская курсистка в цифрах. С. 87*; *Engelstein L. Op. cit. P. 385–387* и др.

¹⁹¹ *Engelstein L. Op. cit. P. 359–420*; *Богомолов Н. А. Михаил Кузмин. С. 59–62, 67–98, 101–102, 122–124* и др.

¹⁹² *Радин Е. П. Указ. соч. С. 85–87*; *Иванов П. Указ. соч. С. 114–115* и др.

противоречия либерального дискурса о сексуальности, о котором писала Л. Энгельштейн: стремление к установлению буржуазного «морального порядка» и способа мышления о сексе в терминах викторианской эпохи совпало в России с изменениями принципиального характера в самом западном мышлении о поле¹⁹³. Как показал М. Фуко, речь шла не о парадигматической революции, а о переменах в рамках буржуазного дискурса юридического типа – более того, сконструированный медициной и биологией XVIII–XIX веков феномен человеческой сексуальности завоевал новые, невиданные до того позиции¹⁹⁴. Русские либералы, а подчас и радикалы оказались «между двух огней», как, впрочем, и при столкновении с другими сложными общественными проблемами – и дискурсивно, и внедискурсивно. В этом отношении петроградские студенты не были исключением: сексуализируя реальность, они в то же время все еще пытались заключить ее в рамки буржуазной семьи, принимая с этой точки зрения «патриархальный» пафос текстов Розанова. Попытки феминисток сконструировать альтернативные образцы сексуальных практик не увенчались и, вероятно, не могли увенчаться сколько-нибудь серьезным успехом. Легализация культуры сексуальных меньшинств ограничилась узким богемным кругом и была кратковременной: эта культура не смогла реализовать себя посредством конструирования группового самосознания с четкими «границами», но осталась на уровне допустимого в богемном сообществе эксперимента, не всегда детерминирующего в глазах и самих его участников, и богемной «общественности» статус «экспериментирующих»¹⁹⁵. При всем том не стоит драматизировать всех этих противоречий: их подлинная драма разыгрывается уже после революции, в 1920-е годы.

Конкретизируя описание практик студенческой сексуальности, выделим традиционные места знакомств с партнерами: студенты имели, казалось бы, много возможностей, но чаще всего встреча происходила в семье проживающего в столице товарища – с его сестрой или другой родственницей. Можно было завязать отношения с курсистками в дни совместных политических выступлений или работая в смешанных в половом отношении организациях, вроде Василеостровского кооператива. Наконец, к услугам вузовцев были и более неформальные сообщества – литературные вечера, студенческие закусовые, столовые и кафе. Обычное знакомство чаще всего заканчивалось кратковременным флиртом – браки и даже долговременные сексуальные отношения являлись редкостью. Собственно, за стенами публичного дома «свободный секс» был не в моде, ибо феминистские новации в женских стратегиях (даже в «образованном обществе») оставались скорее редким курьезом, чем обыкновением. Существовала, правда, как утверждает П. Иванов, стратегия купеческих вдов-домовладелиц выдавать замуж за «попавшегося» студента-арендатора засидевшуюся «в девках» дочь¹⁹⁶. Но браки можно назвать скорее редкостью – слишком запоминающимися были примеры вечно «недостаточных» студенческих семей, тем более если учились оба супруга. Поэтому публичный дом, с коим многие знакомились еще в старших классах гимназии, служил главным прибежищем студенческих «порывов». Этот факт не радовал самих его посетителей: нельзя сказать, чтобы в российском «образованном обществе» получили полное признание французские установки 1840-х годов на поведение юноши или даже мужчины буржуазного круга, несмотря на трансъевропейские заимствования. Сверх

¹⁹³ Engelstein L. Op. cit. P. 3–8, 422–423.

¹⁹⁴ Foucault M. Histoire de la sexualité. V. I. La volonté de savoir. P. 120–126 и др.

¹⁹⁵ Последнее замечание имеет к студентам косвенное отношение: необходимы дополнительные исследования, чтобы констатировать легализацию сексуальных меньшинств в студенческой среде.

¹⁹⁶ Иванов П. Указ. соч. С. 100–101. О студенческих «способах» познакомиться с девушкой см. у того же автора: С. 89–92, 95, 114–115.

того, в самой Франции в рассматриваемую эпоху мышление также изменилось: средоточие «беспорядка» и нездоровья (атрибута этого беспорядка) – публичный дом – контролировали все строже, видя в нем мину, подводимую под биологическую полноценность и выживаемость нации¹⁹⁷. Российские социологи именно с проституцией связывали распространение венерических болезней, в первую очередь гонореи¹⁹⁸.

Носители иной сексуальной ориентации посещали общеизвестные среди их сообщества места встреч (Таврический сад, Зоосад, район Аничкова моста и т. д.), равно как и более толерантные к культуре сексуальных меньшинств собрания артистической богемы¹⁹⁹. Однако об их стратегиях мы знаем очень немногое: насколько они напоминали модели поведения их американских и европейских собратьев?²⁰⁰ Лишь косвенные впечатления можно составить на основании материалов о знакомствах Кузмина²⁰¹. Скорее всего, традиционные для мужского сексуального меньшинства – до самого недавнего времени – «однодневные» романы были наиболее характерны для студентов-геев.

Представленные нами стратегии студенческой сексуальной самореализации едва ли могут удивить – они также «работали» на маргинально-«богемный» имидж студенческой среды. Сексуальное, как принадлежность «интимной сферы», играло, однако, весьма важную роль в конструировании самим студентом своего нового образа для себя и других. Индивидуальный опыт становился коллективным благодаря тому множеству точек соприкосновения, которые объединяли самых разных учащихся. В связи с изменением «границ» студенческого мира в годы Гражданской войны перемены должны были затронуть и сексуальные стратегии вузовцев – в том, что касалось их маргинального статуса. Тем более что на короткий момент показалось, что «сердцевина» буржуазного секса – семья – теряет свои социальные привилегии²⁰². Не случайно, очевидно, что именно студенты наиболее горячо подхватили лозунг «отмирания семьи», как показали некоторые опросы начала 1920-х годов²⁰³. Кроме того, качественно новую ситуацию создало введение смешанного образования и падение прежних социальных перегородок – в условиях хаоса Гражданской войны и массовых перемещений населения. В этом смысле былая маргинальность улечивалась параллельно с «маргинализацией» всего общества. Однако сказать что-либо конкретное об эволюции студенческой сексуальности в 1917–1920 годах не представляется возможным: мы не смогли обнаружить каких-либо достоверных материалов.

Если попытаться в нескольких словах описать эволюцию студенческой корпорации как

¹⁹⁷ Corbin A. Les filles de nocce: Misère sexuelle et prostitution au XIX^e siècle. Paris, 1982. P. 385–480.

¹⁹⁸ Членов М. А. Половая перепись московского студенчества... С. 16–27; Радин Е. П. Душевное состояние... С. 85–87 и др.

¹⁹⁹ Богомолов Н. А. Михаил Кузмин. С. 67–98.

²⁰⁰ Poliak M. L'homosexualité masculine ou: le bonheur dans le ghetto? // Sexualites occidentales / Communications. № 35 / Sous la dir. d'Aries P., Bejin A. Paris, 1982. P. 37–55.

²⁰¹ Богомолов Н. А. Указ. соч. С. 99–116.

²⁰² Stites R. Equality, Freedom and Justice: Women and Men in the Russian Revolution. 1917–1930 // The Marjorie Mayrock Center for Soviet and East European Research / The Hebrew University of Jerusalem. Research Paper. 1988, April. № 68. P. 4–5, 9–12; Fitzpatrick Sh. Sex and Revolution: An Examination of Literary and Statistical Data on the Mores of Soviet Students in the 1920^s // The Journal of Modern History. V. 50. № 2. 1978 June. P. 272–274.

²⁰³ См., напр.: Гельман И. Половая жизнь современной молодежи: Опыт социально-биологического обследования. М.; Пг., 1923. С. 84, 95.

социально-психологического феномена в 1914–1920 годах, то целесообразно сосредоточиться на трансформации дискурсивно-практического контекста существования петроградских студентов и «узких мест», из этого проистекавших. В самом деле, изменилось почти все извне: социальный мир, в котором студенты «заслуженно» имели маргинально-«богемный» статус, «границы» между студенчеством и профессурой, студенчеством и государством (последние из названных «границ» стали еще более нестабильны); набор элементарных практик жизни студента претерпевал бурные перемены и даже катастрофы. В то же время студенческая элита – определим так немногочисленное «старое» студенчество – стремилась, насколько возможно, сохранить традиционные дискурс-практики корпорации нетронутыми: автономию, оппозиционность режиму, апелляцию к традиции, студенческую общественность. Между исчезнувшими или быстро меняющимися «границами» группы еще жили прежние формы мышления о корпорации и окружающем ее мире – их неизбежное «истончение» грозило «разрывом» в недалеком будущем.

Подводя краткий итог рассмотрению «элементарных» жизненных практик петроградского студента, можно сказать, что их совокупность оказывалась базовым конструкционным материалом для «строительства» индивидом своего студенческого «я», сама по себе будучи результатом стечения обстоятельств, приспособлений и компромиссов.

Глава 2

В поисках «пролетарского студенчества»: петроградские студенты в 1920–1925 годах

Развивая выводы, сделанные в конце предыдущей главы, мы последуем путями, которыми мог пройти петроградский студент после того, как предсказуемый «разрыв» произошел. Новая эпоха в жизни учащихся высшей школы города открывается в 1920–1921 годах с концом Гражданской войны и подлинным «вторжением» государства на политическое поле университета и академии (в широком смысле слова). Это не означает, что государственная политика стала стабильной и непротиворечивой: скорее 1920-е – первую половину 1930-х годов можно определить как «стабильную непредсказуемость», и не только в высшей школе. Речь идет о повседневном присутствии и влиянии государственных интересов и их представителей в университете и институтах на ситуацию. Государство отчасти содействовало обнажению неизбежного кризиса, порожденного противоречиями предыдущего периода. Однако ему не всегда удавалось – и чаще не удавалось – разрешить цепь этих кризисов с желаемыми результатами, чему препятствовали и сами несовместимые друг с другом стратегии различных бюрократических аппаратов²⁰⁴. В нашей версии событий государство выступает лишь одним из *социальных актеров*, повлиявших на конструирование новой студенческой идентичности. Главное же внимание уделено анализу *внутрикорпоративного конфликта* «нового» и «старого» студенчества и его последствий. Соответственно «границы эпохи» совпадают с кризисным этапом так называемой «пролетаризации» высшей школы, начавшейся с открытием первых рабочих факультетов (в Петрограде – с 1919/1920 г.)²⁰⁵. Создавая эти необычные институты, в которых обучались студенты, не получившие базового образования, но при этом

²⁰⁴ Fitzpatrick S. Education and Social Mobility in the Soviet Union, 1921–1934. Cambridge, 1979. P. 97–102 (о чистке 1924 г.).

²⁰⁵ См.: Купайгородская А. П. Высшая школа Ленинграда в первые годы Советской власти (1917–1925). Л., 1984. С. 88–95; Катунцева Н. М. Опыт СССР по подготовке интеллигенции из рабочих и крестьян. М., 1977. С. 31–32.

рекомендованные к прохождению нормального вузовского курса, государство организационно оформило ту чуждую «старикам» волну, которая едва не захлестнула высшую школу еще осенью 1918 года. Нарастание конфликта стало очевидным уже в первый год эксперимента, ибо рабфаковцы выступали – и воспринимались – в качестве государственных агентов на поле студенческой политики, что ставило их вне освященной традиции. Наряду с этим продолжалось изменение «границ» студенчества как корпоративной группы. В той мере, в какой проявились неустойчивые «реставраторские» тенденции в нэповском обществе, сопровождавшиеся, например, известным «восстановлением» профессуры как государственных чиновников, наделенных некоторыми нечиновничьими правами и при этом весьма подозрительными самой власти, возрождалось и маргинально-«богемное» студенчество, независимо от того, было ли оно «красным» или «белоподкладочным». Наблюдалась и реставрация элементарных практик студенческой повседневности, пусть и относительная. Очень быстро это отразилось и на взаимоотношениях государства с далеко, казалось бы, не автономными «пролетарскими» студентами²⁰⁶. Исследователь наблюдает причудливый процесс качественных перемен в конструировании групповой идентичности наряду со своего рода реконструкцией «жизненного мира». В целом это неплохо вписывается в наши представления о «временности» и «неустойчивости» нэпа, но характер изучаемых реалий много сложнее. Можно сказать, что некоторые черты «буржуазного интеллигента» советской эпохи начинают проступать, хотя и неуверенно, в облике «студента-пролетария». Мы далеки при этом от мысли о неизменности «советского интеллигента» с 1920-х годов до 1991 года. Интереснее посмотреть на вещи с точки зрения «археологии» в стиле М. Фуко, отыскивая следы нашего современника в том времени. Такой подход продуктивен еще и потому, что «реставрация» окончилась в начале 1930-х годов именно как возрождение некоторых черт общества старого режима. Сталинизм был эпохой конструирования и нового общества, и нового субъекта, и социальных идентичностей, включая студенческую. Но ему предшествовали эксперименты.

Война корпораций

Первые петербургские рабочие факультеты открылись в декабре 1919 года – в университете 8 декабря, чуть позже в Политехническом институте. По воспоминаниям их слушателей, набор был немногочисленным – несколько десятков человек в возрасте от 16–17 до 40 лет, в основном рабочие с петроградских заводов, матросы и красноармейцы, несколько крестьян. Весь конец года они чинили вышедшие из строя отопительную и водопроводную системы. Главной задачей нового учреждения было подготовить слушателей к прохождению университетского курса, при том что исходная база у некоторых рабфаковцев составляла три класса сельской школы. Многие были членами партии или комсомола, служили в частях особого назначения (ЧОН)²⁰⁷. Преподаватели первого университетского рабфака еще не были сугубо «советскими» – например, лекции здесь читал

²⁰⁶ О профессуре см.: *Bailes K. E.* Technology and Society under Lenin and Stalin: Origin of the Soviet Technical Intelligentsia, 1917–1941. Princeton; New Jersey, 1978; *Idem.* Party, State and Society in the Russian Civil War: Explorations in Social History / Ed. by Koenker D. P. et al. Bloomington and Indianapolis, 1989. P. 243–295; *О’Коннор Т. Э.* Анатолий Луначарский и советская политика в области культуры. М., 1992. С. 67–71, и др. О студенчестве и различных аспектах повседневности: *Fitzpatrick S.* Sex and Revolution: An Examination of Literary and Statistical Data on the Mores of Soviet Students in the 1920s // The Journal of Modern History. 1978. V. 50. № 2. P. 253–276; *Naiman E.* The Case of Chubarov Alley: Collective Rape, Utopian Desire and the Mentality of NEP // Russian History / Histoire Russe. V. 17. № 1. P. 1–30; *Konechny P.* Chaos on Campus: The 1924 Student Proverka in Leningrad // Euro-Asia Studies. 1994. V. 46. № 4. P. 617–635.

²⁰⁷ На штурм науки: Воспоминания бывших студентов Факультета общественных наук Ленинградского университета / Под ред. В. В. Мавродина. Л., 1971. С. 43–46, 84, 227–231.

П. А. Сорокин. Поэтому трудно считать рабфак образца 1919–1921 годов идеологически «однородным» и однозначным. Это не помешало, однако, быстрому развитию конфликта между его слушателями и студентами-«основниками»²⁰⁸. С. П. Жаба утверждает, что поначалу между ними едва не установились дружеские отношения шефства старших над младшими и передачи студенческой традиции, позже нарушенные вмешательством партийных структур и трудностями военной жизни²⁰⁹. По воспоминаниям студентов факультета, первые столкновения произошли вокруг требования рабфаковцев признать за ними все базовые студенческие права на сходках и в студорганизациях, что будто бы спровоцировало резкий отпор со стороны университетских лидеров из числа «вечных студентов»²¹⁰. Учитывая имидж «выдвиженцев» новой власти, такое развитие событий представляется правдоподобным. Но если все выглядело и как-то иначе, показательны сами версии, сконструированные *post factum*: *партийное манипулирование* рабфаковцами и *презрение* «старого студенчества».

Рабочий факультет даже территориально составлял «особый мир»: он разместился в здании бывших Высших женских курсов на 10-й линии Васильевского острова, будучи «недосягаем» для пропаганды «основников», которые, в условиях голода, непростых, мягко говоря, отношений с городскими властями, мобилизации, мало интересовались делами «подозрительной» группы будущих универсантов. Все изменилось в 1921–1922 годах. В августе 1921 года СНК принимает новый университетский устав, вводящий жесткие меры административного регулирования жизни высшей школы и студенческий набор по линии местных советских органов, Красной Армии, РКП(б), РКСМ и профсоюзов²¹¹. Соответственно уже осенью 1921/22 учебного года в университете и других вузах появились первокурсники, во многом отличавшиеся от студентов 1918 года. Они выделились в самостоятельную мини-корпорацию, объединенную и организационно-административно (в том числе через партийные, комсомольские и профсоюзные структуры), и по структуре индивидуальных практик – схожим габитусом. Сразу установилась связь между первым курсом и численно выросшими рабочими факультетами: этим студентам легче было найти общий язык друг с другом, нежели с прочими соучениками. Новая «корпорация в корпорации» быстро увеличивала число своих адептов и пользовалась поддержкой государственной и партийной бюрократии зинovieвского Петрограда, тогда как «старому» студенчеству наносился удар за ударом: давление на сходках и выборах в Советы; аресты и в конце концов высылка осенью 1922 года его вожаков из числа членов небольшевистских партий, чистки 1923–1924 годов (последняя имела целью избавиться от всех «опасных» элементов). Было бы ошибкой, однако, утверждать, что такой сценарий развития событий был предreshен уже в 1921 году – и предreshен где-то наверху. Напротив, даже обстоятельства чистки 1924 года показывают, что результирующая – если она вообще имела место быть – проистекала из взаимодействия противоречивых тенденций и не в последнюю очередь из несовместимости двух студенческих корпораций²¹². Если габитус среднего

²⁰⁸ «Основниками» называли «полных» студентов (в отличие от студентов рабочего факультета).

²⁰⁹ Жаба С. П. Петроградское студенчество в борьбе за свободную высшую школу. Paris, [б.г.]. С. 24, 29, 48.

²¹⁰ На штурм науки. С. 21.

²¹¹ Об уставе и его принятии см.: *Смирнова Т. М.* История разработки и проведения в жизнь первого советского устава высшей школы // Государственное руководство высшей школой в дореволюционной России и в СССР. Сб. ст. М., 1979. С. 6–38.

²¹² *Fitzpatrick S.* Education and Social Mobility. P. 97–102; *Konecny P.* Chaos on Campus.

представителя «старого студенчества» был описан в предыдущей главе, то для понимания происходившего в первой половине 1920-х годов логично обратиться к так называемым «новым студентам».

Конструирование «пролетарского вузовца» происходило вне всякой апелляции к студенческим традициям, исключая прошлое эфемерных социал-демократических большевистских студорганizations и студенческие бунты рубежа веков и в период революции 1905–1907 годов, переосмысленные с точки зрения партийной истории начала 1920-х годов. Но даже это – наспех изготовленное – прошлое казалось не «традициями», а скорее оружием в войне корпораций, отчасти позаимствованным у противника и приспособленным для своих нужд. Более того, самоназвание «новое студенчество» подчеркивало именно революционное начало новой корпорации. У нее было одно *подлинное* прошлое – революция и Гражданская война. Миф об этом прошлом появился рано – в студенческих журналах начала 1920-х годов мы находим немало студенческой прозы и поэзии, где почти все сюжеты взяты из опыта Гражданской войны²¹³. В контексте этого «прошлого» атрибуты большевистской революционной традиции военно-коммунистической эпохи интерпретировались как составляющие суть индивидуального «я»: «гештальт» пролетариата и его партии, доминирование «общественного» над «индивидуальным», при известной анархии в принятии решений и соблюдении принципа ответственности, эгалитаризм «без берегов» и т. п.²¹⁴ Особого внимания в этом ряду заслуживают риторика «пролетарских» студентов о партии и комсомоле и их партийно-комсомольские практики.

Партийная ячейка описывалась как конститутивное для корпорации в целом и ее индивидуального члена образование. Она позволяла сохранить связи между «пролетариями» вуза с новым обществом за его стенами, не утратить «пролетарские» черты. Любопытно, что эгалитаристские настроения «нового» студенчества оборачивались иерархизацией корпорации в значительно большей степени, чем раньше: ныне появились доминирующие – и в то же время институционализированные – наставники в делах коммунистической веры (раньше институционализация отсутствовала: хранитель традиций вовсе не обязательно был членом какой-либо партии или студорганizations, хотя бюрократизация и нарастала в 1910-е гг.), одновременно ведавшие вопросами сугубо прагматическими – вплоть до распределения стипендий и материальной помощи. Если мы обратимся к протоколам студенческих профсоюзных собраний первой половины 1920-х годов, то увидим, как партийные, комсомольские и профсоюзные структуры иной раз предreshали сам вопрос пребывания учащегося в университете или институте²¹⁵. Довольно быстро были выработаны кодовые конвенции языка и практик, позволявшие отделить «чистых» от «нечистых». Хотя и существовали спускаемые сверху – из губернского комитета партии, из Наркомпроса и т. д. – инструкции по технике этой классификации, их реинтерпретация и выработка взаимоприемлемых *норм* осуществлялись в вузе, прежде всего местными коммунистами (но не только ими). Вопреки распространенному заблуждению, партийная ячейка была далека от фантазии тайного религиозного ордена: «наставники» могли быть того же или даже младшего, чем сверстники-некоммунисты, возраста – что немаловажно в среде учащихся, даже солидно подготовленных, – и иной раз разбирались в учебных делах много хуже иного

²¹³ См.: Красный студент 1924. № 1. С. 4; № 2. С 1–2; № 3. С 2–5; № 4–5. С. 1–5; 1925. № 1. С. 13–16; № 6. С. 13.

²¹⁴ Вышеприведенный ряд носит, возможно, недопустимо расплывчатый и излишне «психологичный» характер – более того, может показаться совершенно произвольным. Его задача – напомнить читателю (пусть и несколько идеологизированным языком) «атмосферу эпохи», как она представляется автору. (*нем.*) – структура, форма, конфигурация. Это понятие подчеркивает принцип целостности восприятия, то есть то, что «организмизм» испытывает на себе воздействие «поля», а не единичной ассоциации.

²¹⁵ ЦГА СПб. Ф. 6276. Оп. 69. Д. 4. Л. 39 об., 45, 51, 109; Д. 22. Л. 35 об.

члена комсомола или даже беспартийного. Поэтому они попадали в зависимость от «экспертов»-некоммунистов во многих вопросах. Кроме того, повседневные контакты в учебных аудиториях несколько нивелировали иерархичность. Наконец, быстрая утрата доверия к студентам-коммунистам со стороны высших партийных инстанций – уже после дискуссии с Троцким и его сторонниками осенью 1923 года, когда большинство вузовских коммунистов примкнули к оппозиции, – также несколько уравнило их доминирующее положение, уменьшив расстояние между ними и подозрительной для властей студенческой «богемой»²¹⁶. В этих условиях положение «наставников» оставалось шатким. Влияние на рядового студента-«пролетария» у них всегда могли оспорить более образованные представители «старого студенчества», усвоившие некоторые правила игры, и профессура²¹⁷. Поэтому конструирование «нового» студенчества происходило посредством квазирелигиозного дискурса на основе единства базовых практик «жизненного мира». В пределах этого дискурса гарантией сохранения статуса «красного» студента являлось утверждение о ценностной природе доминирования коммунистов в высшей школе, то есть моральная санкция. На партийную ячейку замыкалась «солнечная система» организаций и семинаров по изучению партийной доктрины, дополнявшаяся сходными комсомольскими и профсоюзными структурами. Эти последние обеспечивали не только и даже не столько рационализацию доктрины, – хотя, конечно, в 1920-е годы «просветительство» не было еще маргинализировано, – сколько *эмоциональный аспект* отношения к обещаемому ею будущему (представления о самой доктрине не были еще превращены в канон – допускалась дискуссия)²¹⁸. В мире «пролетарского» студенчества партийная ячейка выступала организатором и распределителем и до известной степени делала возможным само существование этого мира, объединяя «пролетариев» как *пролетариев* на сходках начала 1920-х годов. В этом смысле она была им *необходима*. В условиях конфликта с «белоподкладочниками» такой партийный центр играл роль «штаба» рабфаковцев и поступивших по командировкам первокурсников, все еще бывших меньшинством. Лишь к середине 1920-х годов, когда оформилась каста красных «вечных студентов», стали заметны неожиданные для многих современников следствия послереволюционной бюрократической иерархизации²¹⁹.

Мы не будем специально останавливаться на месте комсомола в жизни петроградского «красного» студента, хотя в 1920-е годы эта организация быстро увеличивала свое представительство в университетах и институтах города. Значение РКСМ в культуре студенческой общности может быть в основных чертах описано в рамках анализа партийной ячейки. Зато профсоюзы нуждаются в специальной интерпретации, ибо они связаны с проблематикой «пролетарской», «классовой» сущности «нового студента». «Партийность» и «революционность» корпорации оказалась теснейшим образом совмещена с риторикой о классе. Дискурс – официальный, студенческий – нэповской эпохи

²¹⁶ О коммунистах в учебной аудитории см.: Красный студент. 1925. № 6. С. 4–6, 12. Ср.: *Жаба С.* Указ. соч. С. 59. О дискуссии 1923 года в вузовских партактивах и ее последствиях см.: *Fitzpatrick S.* Op. cit. P. 95–97.

²¹⁷ В этом отношении примечательны студенческие рассказы того времени об опасностях дружбы «нового» студента с классово чуждым «коллегой». Ср.: Красный студент. 1924. № 2. С. 2–5; № 4–5. С. 7–11. Ср.: На штурм науки. С. 75–79, 135–136.

²¹⁸ О работе школ и семинаров по марксизму, партийной истории, истории рабочего, профсоюзного и молодежного движения в России и на Западе см.: Красный студент. 1924. № 4–5. С. 34–36; 1925. № 2. С. 32; № 4. С. 24, 30–31; № 5. С. 3–4; Красная газета. 1923. 3 февраля, и др.

²¹⁹ См. личное дело организатора партийного комитета ПГУ К. И. Кочергина: ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 4. Д. 791. Воспоминания его и о нем: На штурм науки. С. 16–23, 174, 223, 225, 233.

рассматривал общество в виде классово-сословной иерархии²²⁰. При весьма высокой социальной мобильности и размытости границ между общественными группами озабоченность социально-групповой принадлежностью распространилась необычайно. В центре этого миропорядка оказалась категория «пролетариата». «Карьерные» возможности индивида замыкались на его способность ассоциировать себя с этой категорией. «Новые» студенты «замкнули цепь» с помощью одного из своих самоназваний – «студенты-пролетарии». Особенно интересно, как эта процедура осуществлялась в конкретном индивидуальном опыте. Поступавший в вуз или на рабфак по командировке сразу же предъявлял свои «классовые грамоты», вписываясь в одну из профсоюзных ячеек. Структура этих последних при каждом петроградском вузе воспроизводила всю палитру существующих в государственном масштабе профессиональных организаций – если имелось хотя бы несколько членов данного профсоюза – вплоть до 1924/25 учебного года²²¹. Таким образом, вновь пришедший должен был немедленно восстановить свои отношения с тем «пролетарским отрядом», к которому он принадлежал на предприятии или в организации. Через *свой* профсоюз студент/рабфаковец часто получал стипендию и материальную помощь. Предполагалось, что при профсоюзном посредничестве он сможет участвовать в «жизни» рабочих отрасли. Для этого профсекция готовила различные заводские мероприятия и встречи студенчества и рабочих; студенты приглашались вести рабочие кружки по вопросам профсоюзной истории и сегодняшнего дня; учащийся часто работал на заводе от нескольких дней до нескольких недель²²². Все эти практики определялись как «смычка» студентов с рабочими, смысл которой – в предохранении «красного» студенчества от «буржуазного перерождения» под влиянием профессуры и «непролетарских» вузовцев. Причем участие студента в производственном процессе и в жизни рабочих в качестве такого же «пролетария» полагали настолько принципиальным, что в середине 1920-х годов всерьез требовали отказаться от дневной формы обучения, оставив только вечерние отделения²²³. Тем самым «смычка», позволявшая «новым» студентам вновь и вновь ассоциировать себя с «пролетариатом» в то время, как другие ассоциативные связи не всегда «работали», осуществлялась через профессиональные союзы. Правда, в середине 1920-х годов многое чуть было не изменилось: профсоюзы реформировали, создав особый студенческий профцентр во главе с Центральным советом пролетарского студенчества в Москве. Однако принцип «смычки» остался в неприкосновенности – каждый вуз получил подшефное предприятие²²⁴. К тому же через год вернулись к прежней схеме. В студенческом дискурсе рассматриваемого периода консервация социальной идентичности и гарантии социальной мобильности оказались связанными с членством и какой-либо деятельностью в профсоюзах. Это было тем более значимо, что сказывалось и на процедуре партийных, комсомольских и профсоюзных чисток: «пролетарская» сущность большевика обеспечивала ему относительно

²²⁰ О соотношении сословного и классового в России 1920–1930-х годов см. статью: *Fitzpatrick S. Ascribing Class: The Construction of Social Identity in Soviet Russia // The Journal of Modern History. 1993. V. 65. № 4. P. 745–770.*

²²¹ РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 60. Д. 220. Л. 3–4.

²²² См., напр.: Смена. 1924. 11 декабря, 14 декабря; Красный студент. 1924. № 4–5. С. 34–35; № 6. С. 17–18 и др.

²²³ По крайней мере на рабфаках: Итоги и перспективы рабочих факультетов. Л., 1925. С. 67–68; Красный студент. 1925. № 2. С. 9–10; № 3. С. 4–5; На подступах к ВУЗу. 5-летие ленинградских рабфаков // Красная газета. 1925. 1 февраля.

²²⁴ ЦГА СПб. Ф. 6276. Оп. 69. Д. 18. Л. 54 об. – 55. Д. 40, 41 (дискуссия).

«мягкое» прохождение через периодические контрольные процедуры ²²⁵. Наконец, профсоюзные собрания были наиболее массовой формой студенческой общественности, к середине 1920-х годов вытеснившей и сходки, и землячества. В данном случае мы не обсуждаем быструю «формализацию» этих собраний: даже имея символическое значение, они должны быть учтены как атрибут корпоративной жизни «нового студенчества», как средство мобилизации, способ саморепрезентации и инструмент социальной мобильности. Секции различных отраслевых союзов, действовавших в высшей школе, получили межсекционные комитеты, координировавшие их действия и созывавшие общие собрания всех членов профсоюзов²²⁶. Эти комитеты, в свою очередь, постоянно консультировались и «направлялись» партячейками, под контролем которых они готовили профчистки. Как отраслевые секции были «аналогом» землячеств, связывая студентов уже не по географическому, а по производственному признаку, так и общие профсоюзные собрания являли собой аналог сходок. «Пролетарские» студенты создавали и усваивали новый образ университетского или институтского микросоциума, в котором они должны были ощущать себя «рабочими» определенных производств, имеющих, несмотря на эту специализацию, коллективные интересы, но при этом – именно как «рабочие».

Институт ежегодной производственной практики также играл существенную роль в реконструкции пространства студенческой жизни. Он не только позволял апеллировать к пролетарскому «происхождению», но закреплял определенные практики, меняя прежний студенческий «жизненный мир». И хотя мы имеем немало свидетельств о нежелании директоров предприятий доверять студенту серьезные обязанности на производстве, сам идеал приобретения заводского опыта (от рабочего станка до ватмана инженера) конструировал специалиста по-новому – в качестве экс-рабочего²²⁷. Мир «красного» студента должен был «вращаться» вокруг цеха, а не вокруг аудитории. Со своей стороны студент мог и должен был вносить элементы рационализации в труд и быт (как производственный, так и «домашний») рабочих – и собственным примером, и в форме лекций, рационализаторских предложений и т. п.²²⁸ В отличие от рабочих, он владел «советским» языком в более совершенной форме и мог выступать «переводчиком» и шлифовщиком их «политических» намерений и претензий. Производственная практика, будучи государственно установленной и предписанной и студенту, и предприятию, обязанному этого студента принять и обеспечить работой, становится более понятной в «производственном» контексте студенческой жизни и эпохи. На фоне уже упомянутой политики «смычки» *красного* студенчества с *пролетариатом*, озабоченности *пролетарского* студенчества вопросами социальной идентичности, практической организации студенческого труда на заводе по линии профсекции, с одной стороны, и в контексте культа рациональной организации производства и тейлоризации всей жизни (в этой связи показательны оформление петроградских студенческих журналов футуристской графикой, тематика студенческой литературы и публицистики, популярность дисциплинарно-рационализирующих практик, например экономии времени, институционализированной в рамках Лиги «Время»), с другой, производственная практика не выглядела чем-то исключительным. Она не была неким «оторванным от реальности»

²²⁵ См.: ЦГА СПб. Ф. 6276. Оп. 69. Д. 4. Л. 127. С этой точки зрения интересно, что дети «бывших» рабочих, вернувшихся в деревню, все равно описывались как «тяготеющие к пролетариату»: ЦГАИПД. Ф. 1158. Оп. 1. Д. 1а. Л. 32 об. – 33 (случай Зеленкиной Е.Г. – студентки Педагогического института им. Герцена).

²²⁶ РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 60. Д. 220. Л. 3–4; ЦГА СПб. Ф. 6276. Оп. 69. Д. 5. Л. 125–127.

²²⁷ Красный студент. 1924. № 3. С. 39–41; № 4/5. С. 32–35.

²²⁸ Красный студент. 1924. № 4/5. С. 34–35; № 6. С. 2, 17–18; 1925. № 1. С. 20–21; № 5. С. 34 и др.

бюрократическим изобретением²²⁹.

Другая «смычка», о которой много говорилось уже в середине 1920-х годов, – это «смычка» «пролетарского» студента с крестьянством, с деревней. Но тут его роль оказывалась качественно иной. Представляя производственную рационализированную культуру города, он выступал в качестве доминирующего начала, «учителя» крестьян в хозяйстве, политике, культуре и образовании, в быту. В его функции входили ликвидация неграмотности, организация изб-читален, лекции на различные – не в последнюю очередь политические – темы, распространение знаний по сельскому хозяйству, здравоохранению, гигиене, советской обрядности, антиклерикальная пропаганда, помощь деревенскому комсомолу²³⁰. Студент здесь – организатор кооперации и «культурной торговли». В этом смысле он становился агентом государственной политики в деревне²³¹. Так, в рамках летней «крестьянской» практики (как, впрочем, и практики *производственной* – в том, что касалось «присвоения» студентом функции дискурсивного «выражения» настроений рабочих) продолжали меняться «границы» между студентом и государством – *объект* государственной политики превращался в ее *субъекта*, в то же время не переставая быть и ее специфическим *объектом*. Вернее, в одном из пространств своего социального существования учащийся выступал в роли представителя государства, оставаясь в университете или институте все тем же «подозрительным студентом» (удивительно, но тем не менее «подозрительность» *новой* власти росла с убыванием *старого* студенчества). Однако само разнообразие ролей меняло студенческую повседневность, демаргинализируя ее, пусть и отчасти.

Еще один атрибут студенческой общности – организация взаимопомощи, кассы и кооперативы – также претерпел значительную эволюцию. Главной заботой петроградских студенческих артелей и кооперативов начала 1920-х годов стал поиск источников заработка – индивидуального и коллективного – для вузовцев. Причем изменился и характер студенческого труда: отныне физический труд, чаще всего неквалифицированный, доминировал. Подрабатывать грузчиком – перспектива, не удивлявшая студента 1920-х годов. Кооператив участвовал в «пролетаризации» учащихся высшей школы²³².

Эти формы новой «пролетарской» студенческой общности принципиально противоречили габитусу «старого» студента. «Война» оказалась в таких условиях неизбежной. Раскол проявился уже в конфликте обращений. «Коллеги» и «господа студенты» звучало ругательством в устах «пролетария», равно как для другой стороны – «коммунисты» и «товарищи»²³³. Однако обобщенным определением враждебных «стариков» – и особенно их политических лидеров – явилось заимствованное из дореволюционного студенческого языка понятие «белоподкладочник»²³⁴. Оно приобрело новую коннотацию – политическую, поскольку ассоциировалось с «белыми», с «контрреволюцией». Политизация разгоравшейся «войны» тем более характерна, что

²²⁹ Красный студент. 1924. № 3. С. 25–28, 31; № 4/5. С. 44–45.

²³⁰ О летней практике см.: Красный студент. 1924. № 3. С. 29; № 4/5. С. 28–32 и др.

²³¹ Об этом прямо писали в советской прессе: Красный студент. 1925. № 2. С. 29; № 3. С. 24–26; № 5. С. 30–31, 34–35 и др.

²³² Слияние студенческих кооперативов // Красная газета. 1923. 10 января; *Коз Е.* Заработок на руки // Красная газета. 1923. 12 января.

²³³ Красный студент. 1924. № 1. С. 46–47; № 2. С. 45–46; № 3. С. 19 и др.

²³⁴ На штурм науки. С. 12–13, 17, 20–21, 24, 28–29, 60, 68, 73, 86, и др.

«чистая» политика была не в моде у дореволюционного студенчества²³⁵. На первых сходках с участием рабфаковцев и командированных партийными и советскими инстанциями первокурсников обе стороны широко использовали «разоблачения» политической принадлежности того или иного оратора или лидера как наиболее эффективную стратегию достижения своих целей: при этом «пролетариям» было проще – они даже бравовали фактом членства в РКП(б) или РКСМ. «Вечным» студентам, ратовавшим за автономию и аполитичность университета и согласовывавшим свои шаги с традицией и дореволюционным опытом, признание давалось не без труда, тем паче что грозило политическими преследованиями²³⁶. Они стремились представить их политическую принадлежность несущественным для университетской и институтской политики фактом. С. Жаба в эмиграции констатировал определенное «поправение» петроградских студентов начала 1920-х годов: от социалистов (эсеров и меньшевиков) к конституционным демократам²³⁷. Скорее всего, имелась в виду небольшая группа студентов-«политиков», постоянный элемент дореволюционной студенческой жизни. Для большинства учащихся, вероятно, студенчество существовало как политический фактор, но вне партийного спектра, одновременно ассоциируясь с либерально-демократическим и социалистическим его оттенками. Сам факт использования «политики» как аргумента показывает, что на сходке собрались в основном представители так называемого «болота», воспитанные на «старых» ценностях.

Следующему сражению суждено было разразиться вокруг вопроса о статусе слушателей рабочих факультетов: студенты ли они? «Старые» лидеры давали на этот вопрос отрицательный ответ, мотивируя его и подготовительной – формально – целью рабфака, и неинтегрированностью его учащихся в студенческую жизнь, их незнанием ее традиций и уклада²³⁸. «Новое» студенчество в ответ выдвинуло обвинения сугубо «классового» и «политического» характера. Ощущая себя «пролетариями» в университете, «красные» студенты объясняли презрение и недоброжелательность «старых» лидеров «классовой ненавистью»²³⁹. Они апеллировали к идеалам студенческой демократии и потому добились признания.

Кроме того, вопрос о правах носил и политико-административный характер: кто будет представлять от студенчества в президиуме университета или вуза и в президиумах факультетов, в студенческих – академической, хозяйственной и прочих – комиссиях? Не добившись в ряде мест изменения расстановки сил в свою пользу с самого начала, *студенты-пролетарии* прибегли к «незаконным», с точки зрения многолетней практики созыва и решения вопросов на сходках, приемам: подавляли «старое» студенчество организованностью рабфаковцев, использовали «тяжелую артиллерию» в виде угроз и увещаний партийных и советских функционеров районного и городского масштаба²⁴⁰.

²³⁵ Kassow S. D. *Students, Professors, and the State in Tsarist Russia* Berkeley; Los Angeles; L., 1989. P. 8–11.

²³⁶ На штурм науки. С. 21–22.

²³⁷ Жаба С. Петроградское студенчество в борьбе за свободную высшую школу. С. 57. Интересно, что Жаба воспроизводит традиционный студенческий дискурс о разложении, об «омещанивании» студенчества, вывода тип безнравственного аполитичного «деловика»: Там же. С. 58–59.

²³⁸ ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 14. Д. 142. Л. 217 об., 218 об., 219 об.; ЦГАИПД СПб, Ф. 40. Оп. 1. Д. 16. Л. 40 об. – 41.

²³⁹ На штурм науки. С. 60–61, 72–79; Красный студент. № 3. С. 19; № 4/5. С. 7–11.

²⁴⁰ ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 14. Д. 142. Л. 217 об., 218 об., 219 об.; Жаба С. Указ. соч. С. 30, 33–34, 36, 39–40, 44.

Тем самым было продемонстрировано не только нежелание играть по чужим правилам, но и отсутствие каких-либо этических проблем по поводу их игнорирования. Залогом тому было расстояние, разделявшее две группировки, в их видении мира, в их габитусе – они жили в совершенно разных измерениях. П. Бурдьё в свое время отметил, что «буржуа» уделяет исключительное внимание форме «исполнения произведения» и манере «художника», тогда как в «народной» (в широком смысле слова) эстетике им приписывается сугубо функциональное значение: они служат для механической передачи изображаемого объекта²⁴¹. Это в полной мере проявилось и в нашем случае. Важен был не регламент, а практический результат.

Совместная работа в студенческих представительствах также не могла состояться. В ход пошло элиминирование политических противников через арест и высылки, либо разоблачения их «нечистоплотности» в использовании финансов и материалов²⁴². Однако в условиях количественного преобладания «болота» приходилось прибегать к традиционному дискурсу: главная ставка была сделана на разъяснение «политической» подоплеку конфликта. Политизируя его, представители «пролетариев» оттолкнули большинство студентов от участия в конфликте²⁴³. Сверх того, «старые» вожди также содействовали этой политизации.

После «политического» разрешения конфликта и взятия под контроль всех студенческих организаций «красным» студенчеством напряжение перешло на сугубо «культурный» уровень: ведь традиционное «болото» никуда не исчезло. Более того, оно все время пополнялось значительным процентом поступавших по свободному конкурсу выпускников средней, или, как ее тогда называли, «единой трудовой» школы. В условиях постоянного контакта с этим «буржуазным» студенчеством – в аудитории, в научном кружке, в «быту» – многие «пролетарии» учились иному языку, приобретали новые для них практики²⁴⁴. Они, конечно, одновременно старались сохранить свою идентичность, постоянно беспокоясь о ее грядущей или уже начавшейся утрате. Именно об этом свидетельствовала дискуссия о необходимости перевода всего высшего образования на вечерние формы обучения²⁴⁵. Равным образом важным показателем были выступления партийных лидеров о «нездоровье» *пролетарского* студенчества, угрозе «богемной» распушенности и т. п.²⁴⁶ Несмотря на усилия партийных функционеров, разница между различными группами студенчества стиралась, не приводя ни к реставрации старого, ни к появлению стопроцентно нового – скорее наблюдался синтез первого и второго.

Пожалуй, последней серьезной попыткой – на протяжении изучаемого периода – «пролетаризировать» высшую школу была чистка 1924 года. Тогда, как показали исследования Ш. Фицпатрик и П. Конечного, местные партийные и профсоюзные структуры, как собственно студенческие, так и городские, вопреки Наркомпросу, попытались исключить весь «непролетарский элемент»²⁴⁷. Но удача была кратковременной: многих восстановили

²⁴¹ Bourdieu P. *La distinction: critique sociale du jugement*. Paris, 1979. P. I–VIII.

²⁴² ЦГАИПД СПб. Ф. 40. Оп. 1. Д. 16. Л. 16–16 об.; На штурм науки. С. 20, 79, 136.

²⁴³ На штурм науки. С. 21–22.

²⁴⁴ Красный студент. 1924. № 2. С. 2–5; № 4/5. С. 7–11. Ср.: На штурм науки. С. 75–79, 135–136.

²⁴⁵ Красный студент. 1924. № 2. С. 2–5; 1925. № 2. С. 9–10.

²⁴⁶ Красный студент. 1925. № 1. С. 4–5 (в частности, ссылка на мнение Н. К. Крупской).

²⁴⁷ Fitzpatrick S. *Op. cit.* P. 97–102; *Konecny P* *Chaos on Campus*.

на протяжении следующего же года. Это свидетельствовало не только о противоречиях в государственной политике, но и о затухании внутрестуденческого кризиса – сопротивления возвращению «вычищенных» практически не было.

Отчасти этому «замирению» способствовала и новая система обучения в высшей школе – дальтон-план и бригадно-лабораторный метод. Вводя принципы самостоятельного обучения и коллективной отчетности, реформаторы преследовали несколько целей: сформировать самостоятельно думающего и одновременно индоктринированного субъекта-коллектива, снизить «идеологическое» влияние профессуры на студентов, сохранить «пролетарский» характер студенческого корпуса (коллективизм, бригады, солидарность по пролетарскому образцу). Но принцип коллективной ответственности за результаты учебы ускорил интеграцию «старого» и «нового» студенчества, тем более что первое обладало, как правило, лучшей подготовкой. Солидарность все чаще оборачивалась традиционной студенческой солидарностью перед лицом профессуры и государства, но уже в сфере учебы. Наиболее интересен тот факт, что деиндивидуализация охватила практики ранее сугубо индивидуальные – такие, как чтение и письмо. Это последнее, конечно, меняло «границы» группы, хотя и не превращало ее в разновидность интеллектуального пролетариата²⁴⁸.

Другими «местами» интеграции стали научные и литературные кружки, дискуссии по различным общественным и культурным вопросам. Наступление «красного» студенчества на «буржуазные» науки о природе и математику было кратковременным эпизодом начала 1920-х годов, совпавшим с так называемыми «енчмениадой» и «боричевщиной», хотя позднее его отзвуки и даже раскаты можно было услышать не раз – в биологии вплоть до середины 1960-х годов²⁴⁹. В любом случае в 1920-е годы эта критика – явление маргинальное даже в студенческой среде. Поэтому студенческие научные кружки скорее дисциплинировали учащегося в рамках традиционных практик научного исследования, наделяя его габитусом профессорско-преподавательской корпорации. Несомненно, «старое» студенчество было лучше подготовлено к подобной обработке: сказывались «привычки», заложенные семейным и гимназическим воспитанием и образованием. Атмосфера аполитичного «объективного» исследования и «свободной» дискуссии лишала «пролетария» защитных механизмов и ассимилировала его²⁵⁰. Нечто подобное происходило и в литературных (театральных, по изобразительному искусству и т. п.) кружках: хотя в них и доминировали «левые», лояльные режиму учащиеся, их габитус был все же иной, нетипичный для «красного» студента: скорее они напоминали дореволюционного студента²⁵¹. Так, вопреки всем препятствиям, гарантировалось воспроизводство некоторых

²⁴⁸ О дальтон-плане и лабораторном методе в ленинградских вузах середины 1920-х годов см.: Красный студент. 1924. № 6. С. 33–34; № 10/11. С. 23–26; 1925. № 1. С. 23–24; № 2. С. 26–27; № 5. С. 7–10.

²⁴⁹ О «енчмениаде» см.: *Енчмен Э.* Восемнадцать тезисов о «теории новой биологии». Пятигорск, 1920; *Он же.* Теория новой биологии и марксизм. Вып. 1. Изд. 2-е. Пг., 1923; *Бухарин Н. И.* Енчмениада. (К вопросу об идеологическом вырождении) // Бухарин Н. И. Методология и планирование науки и техники. Избранные труды. М., 1989. С. 191–224. «Боричевщина» совсем мало изучена: *Боричевский И.* К вопросу о взаимоотношении науки и идеологии // Красный студент. 1924. № 2. С. 9–13; *Он же.* Философия науки под ярмом классового общества // Там же. 1924. № 4/5. С. 24–27; *Серебряков М. В.* Где зарыта собака «боричевщины»? (Ответ И. А. Боричевскому) // Там же. 1924. № 2. С. 13–14; *Смирнов Б.* Интегралы и теология // Там же. 1924. № 1. С. 13–15 и др.

²⁵⁰ О деятельности научных студенческих кружков см., напр.: Красный студент. 1924. № 8/9. С. 26–27; 1925. № 2. С. 36; № 5. С. 22–23.

²⁵¹ Ср.: *Каверин В. А.* Освещенные окна. Ч. III. Петроградский студент // Каверин В. А. Собр. соч.: В 8 т. Т. VII. М., 1983. С. 445–588 (о «серапинах»).

базовых диспозиций «старой» интеллигенции.

С другой стороны, к 1925 году можно говорить о некоем синтезе «нового» и «старого» и в ином отношении. Изменение «границ» между государством и студентом в условиях известной реставрации «демаркационной линии», разделявшей студенчество и профессуру, создало хотя и маргинальный, но отчасти и более социализированный тип вузовца. Студент этого типа менее ценил индивидуализированные формы деятельности и стремился «раствориться» в «общественном», ориентируясь на доминирующие – как номинально («пролетарии»), так и реально (будущая «элита» режима, «переводчики»-представители рабочих) – позиции в социальной иерархии. «Подозрительность» студента для политической власти подпитывалась тем обстоятельством, что он великолепно владел ее риторикой, одновременно отдаляясь от ее образцов и заимствуя многое у дореволюционного студента и профессора. «Общественность», которая создала «нового» вузовца и которая, в свою очередь, им культивировалась, была, по сути, советской, причем весьма двусмысленным образом: представители «болота» невероятно усовершенствовали конформистские практики. Однако воздержимся от модернизации: до «лицемерного человека» было еще далеко²⁵². В то же время статусное раздвоение и «раздвоение габитуса» со временем скажутся.

Эволюция студенческого языка

Существенные изменения претерпел в первой половине 1920-х годов язык петроградского (ленинградского) студента. Прежде всего он сильно «опростился» за счет заимствований из «низких» социолектов и диалектов. Не менее существенным оказалось и влияние «официального» советского языка, сказавшееся на исчезновении или качественном изменении смысла некоторых самоназваний и обращений: выше уже говорилось о судьбе «господина студента» и «коллеги», которых заменил «товарищ студент». Аналогично изменились и обращения к профессуре – с той лишь разницей, что стремились упразднить само понятие «профессор», узаконив «товарищ преподаватель». Но это последнее особого успеха не имело: напротив, «профессор» реконструировал в какой-то мере едва не ушедшее в небытие студенческое пространство. Вместе с реалиями постепенно исчезали «сходка» и «землячество». Их сменяли «партячейка», «комса», «профсекция». Самоназвание «студент-пролетарий» окружило себя новым советским миром, которому противопоставлялся распадавшийся мир «старого» студенчества.

Исключительно распространились сокращения разного типа, как и в других областях советской жизни²⁵³. ФОН, ямфак, ЯЛО появились в Петроградском университете для обозначения новых факультетов и отделений (факультеты «общественных наук» и «языка и материальной культуры»; отделение «языка и литературы» факультета общественных наук соответственно). Появился КУБУЧ – комиссия улучшения быта учащихся (аналогичная организация существовала и для «ученых»).

Существенным фактом студенческого языка была частая смена наименований их *alma mater* – обычное дело в первой половине 1920-х годов, да и впоследствии, что не могло не отразиться на студенческой идентичности, до революции четко институционально опосредованной. «Старая» студенческая корпорация включала в себя множество мини-корпораций. Можно указать не одну линию разграничения: между университетами и высшими учебными заведениями других ведомств (вне системы Министерства народного

²⁵² *Kharkhordin O.* The Soviet individual: Genealogy of a dissimulating animal // *Global Modernities* / Eds. Fealherstone M. et al. L., 1995. P. 209–226.

²⁵³ *Lehikoinen R.* Словарь революции – революция в словаре? Аббревиатуры и иноязычная лексика в русском языке первого послереволюционного десятилетия // *Neuvostoliittoinstituutin Vuosikirja*. № 32. Helsinki, 1990. P. 24–113 (в особенности. P. 61, 67–78); *Селищев А. М.* Язык революционной эпохи. Из наблюдений над русским языком последних лет (1917–1926). Изд. 2-е. М., 1928. С. 44–47, 158–169.

просвещения); между вузами государственными и частными; между гуманитарным и техническим уклоном в образовании и т. д. К началу Первой мировой войны престиж высшего технического образования значительно повысился, в том числе и за счет университетов²⁵⁴. Это произошло и благодаря доступности технических институтов для абитуриентов с негимназической подготовкой, и в связи с подъемом российской экономики. Наконец, их (этих вузов) «атмосфера» выгодно отличалась бо льшим демократизмом. Еще более радикальным решением – на общем фоне – был частный университет или институт наподобие Московского народного университета имени А. Л. Шанявского или Психоневрологического института (преобразованного впоследствии в университет) в Петрограде. Там не ставилось никаких этноконфессиональных и институциональных²⁵⁵ ограничений для поступления и учебы, в то время как уровень преподавателей можно назвать относительно высоким²⁵⁶. Технический уклон в образовании предполагал иную «экономику» студенческого мышления – значительно большую его «практичность», ориентированность на престижную работу в будущем, стремление поддерживать связи с миром бизнеса. Соответственно могли ожидать и большего консерватизма «технического» студенчества – но так было далеко не всегда²⁵⁷. В первые послереволюционные годы попытка объединить все институты высшего образования под юрисдикцией Наркомпроса натолкнулась на упорное сопротивление ведомств²⁵⁸. Однако в любом случае Гражданская война сильно подорвала позиции высшей технической школы, за исключением институтов, в которых обучали полувоенным специальностям (техническим и медицинским). Нэп изменил положение вещей: восстановилось ведомственное образование, спрос различных секторов экономики на инженеров и экономистов рос с успехами реконструкции²⁵⁹. К середине 1920-х годов престиж экономических и технических специальностей не имел себе равных. Этот сектор образования в меньшей степени затронули эмиграция и «чистки» преподавательского состава. Поэтому за пять лет микрокорпорация технического студенчества города должна была «восстановиться». Однако и там смена названий, размывание культа *alma mater* давали о себе знать. Профессура и «старое» студенчество пытались найти решение, делая акцент на «обиходном» (часто сокращенном) имени институции, что особенно проявилось в университете в дни его традиционных «годовщин» и столетнего юбилея 1919 года. Но если институты «с биографией» имели уже сложившееся «языковое поле», многочисленные советские учебные заведения – такие, как Институт живого слова или Высший институт фотографии, мало что могли предложить своим студентам. Они исчезли также быстро, как и появились, за некоторыми исключениями (например, Институт дошкольного воспитания).

254 Ср.: *Иванов А. Е.* Высшая школа России в конце XIX – начале XX в. М., 1991. С. 58–87.

255 Имеется в виду базовое среднее образование: пропуском в государственный университет была только гимназия; выпускники реального или коммерческого училища должны были сдать экзамены за гимназический курс.

256 Достаточно сказать, что Психоневрологический институт возглавлял В. М. Бехтерев.

257 Например, Политехнический институт был среди главных центров студенческого движения города и страны.

258 *Fitzpatrick Sh.* The Commissariat of Enlightenment. Soviet Organization of Education and the Arts under Lunacharsky, 1917–1921. Cambridge, 1970. P. 59–68, 210–227.

259 *Fitzpatrick Sh.* Education and Social Mobility in the Soviet Union, 1921–1934. Cambridge, 1979; *Bailes K. E.* Technology and Society under Lenin and Stalin: Origin of the Soviet Technical Intelligentsia, 1917–1941. Princeton; New Jersey, 1978.

Особым пластом является специфический студенческий жаргон, эволюцию которого проследить непросто в силу качественного отличия письменного языка от устного в различных его проявлениях. Возможность выделить хотя бы некоторые его особенности имеется благодаря широкому кругу сохранившихся источников – от журналистики до мемуаров и художественной литературы. Так, очевидно мощное влияние армейского языка периода Гражданской войны, включая широкий пласт ненормативной лексики²⁶⁰. Немало следов оставил и язык ранней советской пропаганды, почерпнутый из прессы, речей ораторов и агитаторов. Наконец, говоря об «активистах», нужно иметь в виду воздействие жаргонов различных организаций – прежде всего партийных и комсомольских. Пребывание в высшей школе и общение с «традиционным» студенчеством постепенно сказывалось на лексико-грамматических особенностях речи «новичков», хотя эти изменения были весьма противоречивыми. С одной стороны, нормативная литературная речь и научные аргументы (плюс марксистский жаргон) можно определить как контрастные воздействия, хорошо заметные на общем фоне, с другой – дореволюционный студенческий жаргон («белоподкладочницкий») был приспособлен для новых целей²⁶¹.

Язык также не может рассматриваться вне его индивидуального усвоения и – прежде всего в сфере семантики слова и дискурса – его «конструирования» субъектом. В этом смысле «новые» студенты имели разный опыт и пользовались разными языками. Им пришлось создать своеобразный язык, позволивший понимать друг друга и приспособиться к условиям высшей школы: и вообще, и конкретно данного института.

Элементарные практики

Противоречивый характер носили изменения в мире «элементарного» – базовых практик студенческого существования. По-прежнему среди петроградских студентов было много иногородних; значительно более пестрым стал этнический состав студенчества. Уходили в прошлое аренда дорогого петербургского жилья и сложный комплекс отношений между арендатором, хозяином, соседями. Центром вневузовской жизни стало общежитие. Маргинальные до революции практики студенческих гостиных широко распространились. Петроградские общежития нэповских лет были не столь тесны, как в других городах²⁶². Однако ведение общежитского хозяйства, многие расходы лежали на студентах. Жизнь учащегося протекала в комнате с несколькими (иногда многими) товарищами. Уединение (с какой бы то ни было целью, в том числе учебной) оказывалось чаще всего невозможным. Заниматься приходилось либо в библиотеке, либо по договоренности с товарищами в одно и то же время с ними. Можно сказать, что интимная жизнь студента «стремилась к нулю». Вместе жители комнаты создавали свой быт. Кухня и отопление также подлежали студенческим заботам. Питаться нужно было за свой счет, иногда в студенческой столовой вуза²⁶³. Эти практики коллективного быта подчеркивали деиндивидуализацию личности студента; ударение переносилось со студенчества как совокупности индивидов на студенчество как совокупность коллективов. В некотором смысле подтверждается гипотеза о

²⁶⁰ См. журнал «Красный студент», прежде всего разделы литературного творчества и бытовых очерков: Красный студент. 1924. № 1. С. 1–8, 45–48; № 2, С. 25–26; № 3. С. 5, 15. Ср.: На штурм науки. С. 208–211.

²⁶¹ Образцы студенческой «речи» сохранены в архивах как письма, стенограммы собраний партийных, комсомольских, профсоюзных ячеек и секций. Ср.: ЦГА СПб. Ф. 3176. Оп. 3. Д. 12.

²⁶² Кизеветтер В. В. Обследование студенческих общежитий при ленинградских вузах в санитарном и бытовом отношении // Социальная гигиена. 1928. № 4(14). С. 51–64.

²⁶³ На штурм науки. С. 79–81, 87–90, 160, 197–199, 204–205, 215, 219–220, 234, 236–238, 243.

нэповской эпохе как времени *до субъекта* ²⁶⁴. По мере распространения в высшей школе бригадно-лабораторного метода учеба также превращалась в коллективную, в буквальном смысле слова, практику. Экзамены и зачеты готовились и сдавались побригадно. Правда, вплоть до конца 1920-х годов дальтон-план оставался только одной из форм преподавания ²⁶⁵.

Коллективные практики студенческой жизни не препятствовали, но скорее побуждали (так они и интерпретировались) к всесторонней рационализации. Казалось, что аналог заводского конвейера возможен в быту. Именно с таким видением мира связано движение за экономию времени ²⁶⁶. В этом последнем концентрированно проявилось желание свести быт к набору механических операций, предельно экономичных и эстетично связанных друг с другом. Предполагалось, что экономия позволит освободить максимум времени для учебы и общественной работы. Но и их коллективизировали и пытались рационализировать. Как будто эпоха Просвещения воскресла в практиках советского студента нэповской эпохи ²⁶⁷.

Однако коллективизм в духе времени не только не «спасал» студента от его маргинального статуса, но являлся одним из способов существования маргинального сообщества. Нигде в обществе невозможны были эксперименты, сопоставимые с вышеописанными, – даже в школе и в армии! Студенты, с одной стороны, быстро усвоили «атмосферу», созданную доминирующим дискурсом 1920-х годов, а с другой – могли позволить себе нерутиное отношение к практикам. И то и другое было признаком социальной «подвешенности» группы.

Впрочем, далеко не все в жизни вузовца оказалось податливым. Цивилизаторская программа большевиков предполагала, например, «гигиенизацию» населения, то есть насаждение практики постоянной заботы о собственном теле (личная гигиена, функциональная одежда, рациональное по мере возможности питание, отказ от «вредных привычек», спорт) и о жилище (чистота, рациональное использование жилого пространства) и т. п. ²⁶⁸ На это у студентов не было ни возможностей (душевые, горячая вода или отсутствовали, или были недоступны экономически), ни «привычки». Последнюю пытались «организовать», но без особого успеха. Спорт, однако, прививался ²⁶⁹.

Наиболее радикальным способом реформы быта представляется студенческая коммуна, обобществлявшая каждого своего члена – его труд, доходы, личное имущество, свободное время. Коммуны чаще всего терпели крах, но возрождались на новом месте или с новыми людьми. Почти каждый крупный вуз – Петроградский университет, Политехнический институт и др. – экспериментировал с ними (первые опыты датируются годами Гражданской

²⁶⁴ *Kharkhordin O.* Party Purge as Public Penance: A Foucaultian Study of Individualization in Soviet Russia (рукопись). Berkeley, 1996. P. 5–6.

²⁶⁵ *Warshofsky Lapidus G.* Educational Strategies and Cultural Revolution: The Politics of Soviet Development // Cultural Revolution in Russia, 1928–1931 / Ed. by S. Fitzpatrick. Bloomington; L., 1984. P. 78–104; *Aiweiler O.* Geschichte der Schule und Pädagogik in Rußland vom Ende des Zarenreiches bis zum Beginn der Stalin-Ära. 2. Aufl. Berlin, 1978. S. 260–285.

²⁶⁶ *Время.* 1924. № 4. С. 64–65, 77–78; № 6. С. 61–62.

²⁶⁷ О рационалистических утопиях Просвещения см.: *Baczko B.* Lumières de l'utopie. Paris, 1978 (в особенности об утопии города: P. 285–399); *Foucault M.* Surveiller et punir. Paris, 1975. P. 228–264.

²⁶⁸ *Троцкий Л. Д.* Вопросы быта. Эпоха «культурничества» и ее задачи. М., 1925. Изд. 3-е.

²⁶⁹ О спортивных кружках в вузах Петрограда-Ленинграда см.: *Красный студент.* 1924. № 4/5. С. 46–47; № 10/11. С. 34–35; 1925. № 1. С. 22; № 3. С. 31.

войны)²⁷⁰. Коммуна интересна тем, что ее идеология имела гораздо больше общего с анархизмом или анархо-синдикализмом, нежели с сугубо большевистской программой. Возможно, поэтому государство почти не участвовало в подобных экспериментах²⁷¹. Коммуна являла образец коллективизированного индивида, переставшего принадлежать самому себе. Именно маргинальность опыта приводила предприятие к быстрому краху. Высшая школа все-таки сохраняла обширные пространства для субъекта, оставаясь в то же время одной из многих «точек» значительно индивидуализированного (в городах, во всяком случае) социума. Индивидуализм петроградской жизни с определенного момента препятствовал любым попыткам «коллективизации». С этой точки зрения большевики казались скорее «умеренными». Фракция «рабочей оппозиции» потерпела поражение на X съезде РКП(б), но воспоминание о ней ставило коммуналистские эксперименты в весьма неловкое положение – во всяком случае до начала сталинской культурной революции 1928–1931 годов²⁷².

Городская география студенчества первой половины 1920-х годов также менялась. Хотя количество высших учебных заведений сперва резко увеличилось, а затем столь же стремительно сократилось, они концентрировались в центральных районах Петрограда. Поэтому с точки зрения учебы студенчество было ориентировано на центр – равно как и в отношении досуга²⁷³. Однако «спальные» студенческие районы могли располагаться даже в сельской местности, как это было с одной университетской коммуной в конце Гражданской войны. Виды используемого учащимися транспорта остались те же, но стерлась связанная с ними иерархия социальных позиций. Произошли перемены и в формах досуга. Из закусочных, кафе, студенческих столовых и баров центры отдыха и развлечений сместились в общежития и частные квартиры – вследствие экономических и политических сложностей. В мире «нового» студенчества досуг не был исключением и принял коллективные формы: от кружков до застолья, с групповыми (или в групповом окружении) играми, народными песнями, праздниками. Кроме того, появился организованный досуг – прежде всего кружки (спортивные, хоровые, литературные, рисунка и т. п.). Более традиционное студенчество собиралось на квартирах, участвуя в привычных литературно-поэтических, философских, социально-политических дебатах, по форме мало чем отличавшихся от дореволюционной практики²⁷⁴. Возрождалась культура домашних кружков, имевшая к тому времени многолетнюю традицию в российском образованном обществе.

Кружки унаследовали некоторые практики студенческих землячеств, включая важнейшую – дискуссии в «полусемейном» кругу о политических, социальных и прочих проблемах. Если следовать интерпретации Ю. Хабермаса, то можно сказать, что они продолжали воспроизводство буржуазного индивида²⁷⁵. Многие кружки имели

²⁷⁰ Первая годовщина студенческих коммун // Красная газета. 1925. 1 февраля; Красный студент. 1924. № 4/5. С. 44–45; № 8/9. С. 44–45; № 10/11. С. 34; 1925. № 1. С. 22; № 2. С. 35; № 3. С. 19–20. Ср. с трудовой сельскохозяйственной коммуной университетов 1919 года: ЦГА СПб. Ф. 2555. Оп. 1. Д. 192. Л. 74.

²⁷¹ *Stites R. Revolutionary Dreams. Utopian Vision and Experimental Life in the Russian Revolution.* N.Y.; Oxford, 1989. P. 205–222.

²⁷² О «культурной революции» см.: *Cultural Revolution in Russia, 1928–1931* / Ed. by S. Fitzpatrick. Bloomington; L., 1984. Ср.: *Stites R. Revolutionary Dreams.* P. 235–241.

²⁷³ Ср. с порайонным списком вузов Петрограда в годы Гражданской войны: ЦГА СПб. Ф. 2551. Оп. 1. Д. 1162. Л. 1–7.

²⁷⁴ См., напр.: На штурм науки. С. 91–93, 124–126, 137–138, 182, 190, 200–202, 213, 220, 231, 238, 240–241.

²⁷⁵ *Habermas J. Strukturwandel der Öffentlichkeit: Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft.* Frankfurt am Main, 1995. S. 107–116.

своеобразный ритуал посвящения нового члена, сам факт приема которого в сообщество доказывал, что ему доверяют, то есть относят к одному и тому же с другими кружковцами культурному контексту²⁷⁶. Несмотря на неформальность, кружок регламентировал таким образом отдельные стороны своей деятельности. Собрания могли устраиваться и на дому у профессора или преподавателя, если их направленность являлась скорее научной, чем какой-либо иной²⁷⁷. При всем том «специализация» любого домашнего кружка не должна абсолютизироваться: «за чаем» так или иначе поднимался более широкий круг тем. Отношения неформальных сообществ с властью в России почти всегда были непростыми – с середины XIX века их не без оснований подозревали в известной политизированности. В 1920-е годы режим отличался особой подозрительностью, пусть даже и не сравнимой с последующим десятилетием. Поэтому участие в кружковой жизни заключало в себе определенный риск, тем более учитывая непривилегированный социальный статус студента-участника. Для студента «подпольность» литературных занятий сообщала привкус оппозиционности всему предприятию. Поэтому кружок стал некоей лабораторией традиций «старого» студенчества, унаследовав дореволюционные реалии университетской и институтской общественной жизни – землячеств, закусочных, политических группировок, иногда даже сходок.

В дискурсе и практиках студенческой сексуальности также наблюдаются изменения и известная стабильность. Осмысливали эту сторону жизненного мира те же люди и в тех же категориях, что и до 1917 года. По крайней мере, опрашивая в середине 1920-х годов студентов Технологического института, организаторы анкеты обращались к опросу конца 1909/1910 года как к материалу для сравнения²⁷⁸. Однако появился ряд принципиально новых моментов: особое внимание к первому сексуальному опыту, к проблематике мастурбации, к взглядам на любовь и брак. Озабоченность рациональностью, дисциплинированностью, общественной «полезностью» универсанта как *homo sexualis*, заметная с конца XIX века, усилилась с превращением студенчества в экспериментальное поле для поиска моделей совершенного общества будущего. «Мониторинг» сексуальной жизни вузовцев позволял узнать о перспективных или тревожных тенденциях с целью ее гармонизации при помощи социальной инженерии. Тем более что смешанное высшее образование и приток «красного» студенчества подразумевали повышенный интерес к тем потенциальным опасностям, которые подстерегали социально «здоровые» группы и обращенные на них государственные интересы на этом пути. Поэтому проблематика «буржуазного» и «мелкобуржуазного» влияния на сексуальную жизнь «пролетариев», с одной стороны, и тема брошенных детей и аборта – с другой, пользовались особой популярностью. Дискурсивная «рамка» обсуждения вопроса не изменилась: сексуальность

²⁷⁶ Лихачев Д. С. Воспоминания. СПб., 1995. С. 132–136 (история «Братства святого Серафима Саровского» и проникновения в него провокатора Ионкина).

²⁷⁷ Александров Д. А. Историческая антропология науки в России // Вопросы истории естествознания и техники. 1994. № 4. С. 7–9.

²⁷⁸ Данный пример может показаться некорректным, так как анкета 1909 года не касалась сексуального поведения. Однако он точно характеризует отношения преемственности в социологии студенчества до и после 1917 года. Ср.: К характеристике современного студенчества (по данным переписи 1909–1910 гг. в С.-Петербургском Технологическом Институте) // Научно-Экономический Кружок при С.-Петербургском Технологическом Институте. Вып. 1 / Под ред. М. В. Бернацкого. СПб., 1910; К характеристике современного студенчества: По материалам анонимной анкеты, проведенной в Технологическом институте им. Ленсовета в 1926 г. Л., 1927. Анкета 1926 года реферировалась к половой переписи московского студенчества 1904 года, к опросу свердловцев (см.: Гельман И. Половая жизнь современной молодежи. Опыт социально-биологического обследования. М.; Пг., 1923) и неопубликованной анкете политехников 1925 года: К характеристике... С. 97–110.

ради деторождения, а не для удовольствия. Тяжелые сомнения окружали, правда, институциональную форму реализации этой установки: дебатировали саму необходимость и полезность брака. Тема «естественного», «человеческой природы» сильно психологизировалась под влиянием фрейдовского психоанализа²⁷⁹. Значительное влияние оказывали современные представления об энергии и павловско-бехтеревская теория условных рефлексов (последняя постепенно усиливалась). Сексуальная жизнь стала одной из популярных тем публичных студенческих дискуссий, так что научные представления эпохи «реконструировались» и усваивались не только за чтением книг и газет или в личных беседах. (Мы не случайно употребили слово «реконструкция», поскольку весьма специфический советский психоанализ – в отличие от классической венской модели – рождался, как ни банально это звучит, под шум университетских аудиторий и газетно-журнальный «перезвон».)

Начало нэпа отмечено всплесками бунта – так называемой «теорией стакана воды», нашедшей отражение в немногочисленных маргинальных студенческих статьях. В прессе Петрограда не удалось обнаружить ее следов, но в провинции они сохранились. Например, в Перми универсант С. Смирнов опубликовал получившую широкую известность заметку о желательности беспрепятственной смены полового партнера при условии так называемой «социализации» детей²⁸⁰. Насколько можно понять из краткой заметки, оправданием для автора служили «буржуазный характер» брака и необходимость удовлетворять «естественную человеческую потребность» – о гедонизме речи нет. Любопытно само по себе, что в центре внимания Смирнова оказался индивид, *его* «потребности». Однако с одной стороны, смирновская концепция индивида «несамостоятельна» (и эта маргинальность подтверждается и его суждениями о «буржуазности» и лицемерии брачного союза – в качестве главного аргумента, и «биологизацией» человека), а с другой, она вступила в противоречие с «коллективизирующим» дискурсом 1920-х годов, парадоксальным образом к нему же и реферируясь (индивид принадлежит «общему делу», а не самому себе). Смирнов не усмотрел общественного интереса в *числах* – демографии – и не учел «смены декораций», то есть «реализма» партийной политики нэповских лет. В рамках официального дискурса признавалась желательность социализации детей, но в то же время констатировалась ее актуальная «нереалистичность». Вероятно, за прагматическим поворотом к семье угадывалась и «немыслимость» иного, по крайней мере, для многих²⁸¹. Но элемент конвенционального *прагматизма* было бы неразумно игнорировать. Именно этот прагматизм, обусловленный господствовавшими формами мышления, заставил учащихся высшей школы достаточно быстро изменить оценки. Если в начале 1920-х гг. большинство отвергало брак как «буржуазный» институт, то уже через четыре-пять лет он в качестве оптимальной социальной формы интимности конкурировал с «продолжительными отношениями» с партнером (без регистрации)²⁸².

Замкнутая в семейные рамки идеальная сексуальная жизнь, ориентированная на демографическую стратегию государства и общества, оказалась несовместимой с

²⁷⁹ Эткинд А. М. Эрос невозможного: История психоанализа в России. М., 1994. С. 171–271.

²⁸⁰ Смирнов С. Мысли о сущности старой и новой любви // Студент-пролетарий (Пермь). 1924. № 3. С. 28–30; Попова Ю. Ответ гг. Смирнову и Рдечкой // Там же. № 4. С. 53–55. Ср.: Т-лев А. Вредные уклоны // Красная молодежь. 1924. № 3. С. 109–112.

²⁸¹ Это скрывалось за «пропагандой» пусть незарегистрированного, но все же стабильного союза половых партнеров. Ср.: Гельман И. Половая жизнь современной молодежи. Опыт социально-биологического обследования. М.; Пг., 1923. С. 95, 130.

²⁸² В связи с этим отметим неопределенность юридической границы между тем и другим: семейный кодекс предполагал одни и те же последствия в случае рождения ребенка для супругов и сожителей.

проявлениями нерепродуктивной сексуальности, прежде всего с наиболее распространенным и очевидным из них – мастурбацией. Чему в большей степени обязана дискурсивная норма, стимулировавшая и категориально структурировавшая «истерию мысли» вокруг мастурбации в Советской России 1920-х годов? Представлениям отечественных врачей, как они сложились под влиянием европейской медицины XVIII–XIX веков? Противоречиям до- и послереволюционного российского либерального дискурса о сексуальности? Религиозно-догматическим воззрениям на мастурбацию (в России – прежде всего по православному канону)? Формировавшимся сложными путями и синкретичным по своей структуре повседневным практикам, данным людям только в языке, через язык или по образцу языка?²⁸³ Так или иначе, очевиден сам факт российского «невроза» на этой почве в то время, как в Европе и Америке страх перед онанизмом «выдыхается» уже в последней четверти девятнадцатого столетия²⁸⁴. Студенчество в силу понятных социальных причин оказалось одним из главных жертв «охоты» на мастурбацию. Социологи и врачи уделяли важное внимание студенческому онанизму в опросах и публицистике. Рядовая анкета о половой жизни содержала обширный раздел о мастурбации: первый опыт; различные «вредные» влияния, спровоцировавшие мастурбацию (книги, картины, друзья, наблюдение за людьми и животными и т. д.); «возраст» мастурбации; воздействие «нормальной» половой жизни, в частности брака; частота актов и т. п.²⁸⁵ Выпускалась масса популярных брошюр²⁸⁶. Большинство посетителей консультаций по половому вопросу – молодых мужчин от 20 до 30 лет – связывали свои проблемы именно с онанизмом, пусть даже давним и кратковременным²⁸⁷. В данном случае можно говорить не просто о проблеме нерепродуктивного секса, но о субъекте как таковом – ибо «секс с самим собой» не имеет прямого отношения к внешнему миру: индивид замкнут на самое себя. Эволюция представлений о мастурбации, таким образом, непосредственно соприкасается с историей индивидуализма на Западе и в России. Было бы недальновидно рассматривать «кампанию по борьбе с мастурбацией» только в репрессивном контексте, поскольку складывание самой «тревожной» категории и практик «греха» концентрировало внимание индивида – в нашем

²⁸³ См. о языковом акте: *Витгенштейн Л.* Философские исследования // Он же. Философские работы. Ч. 1. Пер. Козловой Н. С., coll_0, 1994. С. 215, 218, 248–2.49; *Austin J. L.* Philosophical Papers. Oxford, 1962. P. 107–116.

²⁸⁴ *Stengers J., Van Neck A.* Histoire d'une grande peur: la masturbation. Bruxelles, 1984. P. 135–148.

²⁸⁵ См., например: *Гельман И.* Половая жизнь современной молодежи. Опыт социально-биологического обследования. М.; Пг., 1923. С. 29–45; *Ласс Д. И.* Современное студенчество. Быт, половая жизнь. М.; Л., 1928. С. 167, 188, 193, 212; *Поляков Е.* Студенчество ЛМИ как профессионально-бытовая группа (По анкетному обследованию 1924/25 г.) // Социальная гигиена. 1928. № 1 (11). С. 83; Половая жизнь студенчества. Итоги анкеты // Студент-пролетарий (Пермь). 1924. № 6/7. С. 67; *Баткис Г. А., Гурвич Л. С., Маянц А. И.* Проблемы пола среди молодежи Востока. М., 1930. С. 20–22, 38; *Платовский А. К.* Половая жизнь современного студенчества. Ростов-на-Дону, 1926. С. 19–23; *Петренко И. Г.* К вопросу о половой жизни учащейся молодежи. Харьков, 1925. С. 14–15; *Голосовкер С. Я.* О половом быте мужчины. Казань, 1927. С. 10–16 и др.

²⁸⁶ *Никулин С. В.* Онанизм, его причины и борьба с ним // Половой вопрос. / Под ред. coll_0; Л., 1924. С. 169–174 и др.; *Голомб Д.* Половая жизнь нормальная и ненормальная. [Б.м.], 1926. С. 18–26; *Якобзон Л. Я.* Онанизм. Изд. 3-е. М.; Л., 1930; *Файнгольд Л. И.* Онанизм. Его причины, последствия и меры борьбы с ним. [Б.м.], 1927; *Флоринский А. В.* Онанизм. Его причины, последствия, предупреждение и лечение. [Харьков], 1927; *Михайлов (доктор).* Борьба с онанизмом в семье и школе. Изд. 2-е. Л., 1925, и др.

²⁸⁷ *Berstein E.* Panic, *Polovoy Vopros* and the Problem of Male Sexuality in the Consultation for Sexual Hygiene in the 1920s. (Неопубликованный доклад на конференции по истории повседневности в России 1921–1941 гг.). СПб., 1994. P. 6–11.

случае студента – на собственном «я» и на своем теле (что связано одно с другим)²⁸⁸. Отметим, как важный аспект комментируемого дискурса, связь, проводившуюся между мастурбацией и психическим здоровьем. Эта особенность была «врожденной» чертой ново-европейского мышления о мастурбации с XVIII века²⁸⁹. Но русские врачи и гигиенисты жили не в безвоздушном пространстве и внимательно следили за зарубежной литературой: в этой последней онанизм еще с конца XIX века перестал увязываться с соматическими изменениями в организме и если и представлялся до известной степени опасным, то как источник беспокойства, обусловленного исторически. В России чаще всего говорили о психопатии, неврозах, импотенции²⁹⁰. Именно эмоциональная сфера выглядела самой уязвимой. Психические потрясения негативно сказались бы на *общественной роли* индивида в новом обществе, не позволили бы ему выдержать нагрузок «революционного строительства». Тем более что проблематика нервного истощения, психических расстройств, самоубийств была «на слуху»: кремлевский доктор А. Б. Залкинд в середине 1920-х годов посвятил психическим болезням партийного актива целую книгу²⁹¹. Учитывая распространение психоанализа, важно подчеркнуть «сексуальный характер» классической психоаналитической теории, несмотря на «асексуальную» ее ре интерпретацию советскими аналитиками. Ведь даже эти «перетолковывания» конструировались в рамках и по ходу дискуссии с Фрейдом, его текстами и сочинениями его учеников²⁹². Поэтому искать в студенческом (и не только) дискурсе о мастурбации исключительно следы века Просвещения и даже XIX столетия означало бы упрощение. Скорее стоит вести разговор о «модернистском» синтезе.

Интересно и то, что озабоченность мастурбацией вопреки содержанию дискуссии вела к результатам, прямо противоположным целям дискурсивно компетентных специалистов (врачей, учителей, пропагандистов), – а именно к конструированию *исторически* наиболее «массового» субъекта. Этот вывод позволяет по-новому посмотреть на логику «коллективизирующего» мышления, по крайней мере в отдельных его сегментах. Присмотримся снова к Лиге «Время»: тейлоризм начинается с индивида. Конечно, преувеличивать не стоит – бригадно-лабораторный метод игнорирует «индивидуальное»: группа работает, отчитывается, аттестуется. Но нет ли в рамках той же группы неких индивидуализирующих практик? Не заключают ли ее члены своеобразный контракт, в отличие от крестьянской общины? Пока у нас недостаточно материала, чтобы ответить на этот вопрос.

Тема мастурбации подводит нас к более общей проблеме студенческого мышления о сексуальности: как конструировалось «модельное», идеальное сексуальное поведение. Представляется, что само это «конструирование» было в нэповский период задачей со многими неизвестными. Партийные и комсомольские лидеры, озабоченные моральным и

²⁸⁸ В этой связи характерно исчезновение дискурса о мастурбации (и вообще о сексе) в 1930-е годы. По крайней мере, так представляется на первый взгляд. Связано ли это с другими формами производства индивида? Последнее, в свете недавних исследований О. Хархордина, весьма возможно. Ср.: *Kharkhordin O. The Soviet Individual: Genealogy of A Dissimulating Animal; Kharkhordin O. Reveal and Dissimulate: A Genealogy of Private Life in Soviet Russia // Public and Private in Thought and Practice / Ed. by Weintraub J. and Kumar K. Chicago, 1996.*

²⁸⁹ *Stengers J., Van Neck A. Op. cit. P. 49–89.*

²⁹⁰ *Berstein E. Op. cit. Равным образом см. литературу, указанную в примеч. 4 на с 115–116. (в файле – примечание № 286. – верст.).*

²⁹¹ *Залкинд А. Б. Очерки культуры революционного времени. М., 1924.*

²⁹² О советском психоанализе см.: *Эткинд А. М. Эрос невозможного... С. 171–271.*

физическим «здоровьем» будущей советской элиты, с трудом соединяли противоречившие друг другу установки – критику института «буржуазной семьи» и осуждение не менее «буржуазного разврата»²⁹³. Первая была юридически закреплена в советском семейном праве, предусматривавшем примат брака де – факто, признание равноправия обеих сторон в семейных отношениях, простоту процедуры развода, равноправие «незаконнорожденных»²⁹⁴. По сравнению с семейным правом европейских государств и США послереволюционные правовые нормы означали несомненный прогресс²⁹⁵. В свою очередь, «война» с развратом вылилась в ряд громких политических кампаний середины – второй половины 1920-х годов: вокруг «чубаровского дела», «кореньковщины», «есенинщины» и т. п. В начале десятилетия дискуссия вокруг статьи А. М. Коллонтай «Дорогу крылатому пролетарскому Эросу!» велась на страницах журнала «Молодая Гвардия»; «Правда» публиковала материалы дискуссии и постановления ЦКК РКП(б) о партийной этике; большие споры вызывали проекты А. Б. Залкинда²⁹⁶. Даже главные «либертарианцы» эпохи – например, Коллонтай – при вдумчивом прочтении их «манифестов» выглядят вполне «умеренными» (с позиций сегодняшнего дня, разумеется). Они оставались верны марксистской критике семьи в немецкой традиции начала века (Каутский, Бебель, Цеткин), но настаивали на регулировании интимной жизни индивида рабочим коллективом. В некоторых «экстремистских» текстах всякая интимность растворяется в публичной сфере. Залкинд писал о подборе полового партнера исключительно по принципу «классовой целесообразности»²⁹⁷. Е. А. Преображенский предлагал «элитистскую» модель, где государственная бюрократия и наука определяют саму возможность той или иной формы сексуальной жизни индивида²⁹⁸. Перед нами предстает идеал «прозрачной», рационально организованной и управляемой сексуальности. Такой ее видели и врачи, и гигиенисты, и статистики.

Картина сексуального поведения, рисуемая социологическими опросами 1920-х годов, концентрирована на функциональной связи между теми или иными поведенческими «фактами» и возрастом опрашиваемого студента. Под влиянием психоанализа сформировались представления о детской сексуальности. Но именно ее интерпретация показывает, насколько связаны были в тогдашних формах мышления нормативность и

²⁹³ Fitzpatrick Sh. Sex and Revolution: An Examination of Literary and Statistical Data on the Mores of Soviet Students in the 1920s // The Journal of Modern History. 1978. V. 50. № 2. P. 255–256; Naiman E. The Case of Chubarov Alley: Collective Rape, Utopian Desire and the Mentality of NEP // Russian History / Histoire Russe. 1990. V. 17. № 1. P. 17–30.

²⁹⁴ Ср.: ВЦИК XII созыва. Вторая сессия. Стенограф, отчет. М., 1925. С. 222–312; ВЦИК XII созыва. Третья сессия. Стенограф, отчет. М., 1926. С. 554–704, 862–868; Брак и семья. Тезисы к проекту Кодекса о браке, семье и опеке. Предисловие П. Стучки. М., 1926. С. 19, 24.

²⁹⁵ Это понимали многие европейские интеллектуалы эпохи: Reich W. La révolution sexuelle. Pour une autonomie caractérielle de l'homme / Tr. de l'anglais par C. Sinelnikoff. Paris, 1970. P. 245–251.

²⁹⁶ Коллонтай А. М. Дорогу крылатому пролетарскому Эросу! (Письмо к трудящейся молодежи) // Молодая Гвардия. 1923. № 3 (10). С. 111–124; Партийная этика: (Докум. и матер. дискуссии 20-х годов) / Под ред. А. А. Гусейнова и др. М., 1989. С. 167–169, 183–190, 199–200, 202, 205, 206–208, 214, 217–218, 236–238, 242–243, 262–264, 289, 300–301, 315–326, 332–342, 351, 356–357, 361–394; Залкинд А. Б. Половая жизнь и современная молодежь // Коммунистическая мораль и семейные отношения. Сб. ст. Л., 1926. С. 118–130; Он же. Половой фетишизм. К пересмотру полового вопроса. М., 1925; Он же. Половой вопрос в условиях советской общественности. Л., 1926.

²⁹⁷ Залкинд А. Б. Половой вопрос в условиях советской общественности. С. 55–60.

²⁹⁸ Преображенский Е. А. О морали и классовых нормах. М.; Л., 1923. С. 96–99, 102.

возрастная шкала. «Омоложение» первого сексуального опыта, констатируемое во многих опросах, вызывало у статистиков серьезное беспокойство, как болезненное отклонение. Одновременно оно увязывалось с более ранним взрослением ребенка из рабочей или крестьянской семьи, что указывает на социально-иерархические коннотации возрастной шкалы в «статистике» нэпа²⁹⁹. Однако этот «положительный» социальный контекст не нивелировал, а напротив, усиливал тревогу. Социолог или гигиенист имели в виду, даже если они не соглашались с психоанализом, что детство, возможно, не лишено сексуальных переживаний³⁰⁰. Тем опаснее выпустить «детский секс» из-под контроля: поступить так – значило бы дать свободу «анархии» удовольствий, не имеющих ничего общего с государственной и общественной пользой. С другой стороны, «энергетическая» картина мира диктовала признание того факта, что «кража» энергии организма ребенка на секс сказалась бы на его физических и интеллектуальных способностях. Таким образом, до известного момента детская сексуальность должна оставаться под надежным контролем. Поскольку главная угроза исходила от онанизма, то ребенок, имевший такой опыт, относился некоторыми врачами к «нецеломудренным»³⁰¹. В рамках этой логики юноша едва ли имел право на свободу проявления «инстинкта». Ради собственного успеха и интересов общества ему следовало, в идеальном случае, «воздерживаться» до брака. Разумеется, и тут «опасность» мастурбации оказалась далеко не на последнем месте. Принципиальным стал вопрос о брачном возрасте. Многие врачи и статистики утверждали необходимость раннего брака³⁰². Косвенно они признавали «неподатливость» сексуального поведения для контроля и элементарной рационализации, по крайней мере, в современных им общественных условиях. Но не меньше специалистов верило в успех «просвещения», в *направляемое* изменение человеческой «натуры»: например, одесский врач и медицинский статистик Д. И. Ласс с удовлетворением отмечал поворот к традиционным ценностям среди студенчества Одессы³⁰³. Учитывая стремление к контролю и рационализации человеческого поведения в целом, неудивительна и регламентация брачной половой жизни. Некоторым из составителей подобных регламентов – таким, как А. Б. Залкинд, – позавидовали бы иные составители католических инструкций³⁰⁴. Рекомендовалось сократить сексуальные контакты до необходимого для деторождения и «товарищеской спайки» уровня, экономя физическую и психическую энергию для иных общественно и государственно полезных целей³⁰⁵. Статистиков интересовала регулярность сексуальной жизни семейных студентов и

299 Ср.: *Гельман И.* Половая жизнь современной молодежи. С. 30, 124–125.

300 Когда интерпретатор твердо придерживался концепций Павлова – Бехтерева, детская сексуальность увязывалась с фактами среды, закрепленными посредством условных рефлексов в детском сознании. Ср., в частности: *Бехтерев В. М.* Половые уклонения и извращения в свете рефлексологии // Вопросы изучения и воспитания личности / Под ред. Бехтерева В. М. № 4/5. Пб., 1922. С. 745–746. Ср. всю статью в целом: С. 644–746.

301 *Михайлов (доктор).* Борьба с онанизмом в семье и школе. Изд. 2-е. Л., 1925, С 5.

302 *Петренко И. Г.* К вопросу о половой жизни учащейся молодежи. (Отгиск из журнала «Профилактическая медицина», № 6). Харьков, 1925. С. 16.

303 *Ласс Д. И.* Современное студенчество. С. 193, 211.

304 После Тридентского собора, знаменовавшего поворотный момент в истории контрреформации, половая жизнь верующего превратилась в одну из главных забот исповедника и, следовательно, стала в ряд центральных тем исповеди: *Foucault M.* Histoire de la sexualité. V.1: Volonté de savoir. Paris, 1976. P. 84–85.

305 *Залкинд А. Б.* Половой фетишизм. С. 14, 32, 44; *Он же.* Половой вопрос в условиях советской общественности. С. 45, 55, 62.

их практики в случае длительного раздельного проживания супругов³⁰⁶. Равным образом беспокоились они о внебрачных половых связях (в социальном, возрастном, этническом аспектах), в частности о пользовании проституцией. Последнее казалось тем тревожнее, что напоминало поведение дореволюционного студента, часто посещавшего столичные бордели, и тем самым свидетельствовало о «буржуазном заражении» студентов-«пролетариев». Кроме того, контакт гражданина с проституткой в советских условиях никак не вписывался в государственные интересы. В представлении медиков студент, пользовавшийся услугами «жриц любви», был уже отчасти болен, оказываясь социально и физически (сифилис, триппер) уязвимым³⁰⁷.

Регулирование половой жизни могло быть и несколько более гибким. В случае серьезных «отклонений» от «нормы» (гомосексуализм, садомазохизм, педофилия и т. п.³⁰⁸) медики рекомендовали мастурбацию как меньшее зло, понимая нереалистичность пожизненного воздержания³⁰⁹. Безусловно, этот «либерализм» не противоречил парадигмам мышления эпохи.

Имели ли дискуссии о студенческой сексуальности сугубо «репрессивный» оттенок? Следует, по-видимому, согласиться с М. Фуко, что само беспрестанное обсуждение «запретной темы» создавало новые источники удовольствия – самим фактом «говорения», признания, науки сексуальности³¹⁰. Конструировались новая личность и новые отношения микровласти в российском обществе. На первый взгляд кажется противоречием соседство самого либерального в тогдашнем «развитом мире» семейного законодательства³¹¹ и рассмотренного выше типа мышления о сексуальной жизни. Загадка отчасти разрешается в рамках того же дискурса: «исправление» возможно через медицинскую и гигиеническую пропаганду и надзор советской «пролетарской» общественности. Вспоминается идея «паноптикума Бентама», которую неоднократно анализировал Фуко³¹². В рамках языка просветителей человек оказывался достаточно «прозрачен» и управляем доводами разума. Насколько советские специалисты и сами студенты оказались близки к этому взгляду на мир 150 лет спустя? Вопрос вдвойне непросто, поскольку родившиеся во второй половине XIX столетия социальные науки, по существу, вернулись к *картезианской логике* Просвещения (либо продолжили ее победное шествие): прояснение горизонтов *бессознательного* – в

³⁰⁶ Баткис Г. А., Гурвич Л. С., Маянц А. И. Проблемы пола среди молодежи Востока. С. 27–29; Гельман И. Половая жизнь современной молодежи. С. 82–90.

³⁰⁷ О проституции в Петрограде 1920-х годов см.: Левина Н. Б., Шкаровский М. В. Проституция в Петербурге (40-е гг. XIX в. – 40-е гг. XX в.). М., 1994. С. 60–97, 179–215.

³⁰⁸ Перечисляя несопоставимые, с точки зрения современной медицины, психологии и общественного мнения, сексуальные ориентации в одном ряду, автор никоим образом не выражает этим личного отношения к ним.

³⁰⁹ См., напр.: *Голосовкер С. Я.* О половом быте мужчины. С. 13–16.

³¹⁰ Foucault M. Op. cit. P. 94–98.

³¹¹ И не только семейного: тот же гомосексуализм в СССР, в отличие от большинства западных государств, до 1934 года не преследовался как преступление.

³¹² Foucault M. Surveiller et punir. Naissance de la prison. Paris, 1975. P. 228–264; *Idem.* L'entretien // Bentham J. Le panoptique. Paris, 1977. P. 9–31.

широком смысле – ради *осознанного* управления им³¹³. С другой стороны, значительно повлиявшая на русских интеллектуалов Серебряного века философия Ф. Ницше осуществила глубокую критику новоевропейского рационализма и, в частности, подновленного кантианства представителей социальных наук³¹⁴. Возможно, поэтому подспудная тревога за успех эксперимента присутствует и во многих из цитированных выше текстов. Тот же Д. И. Ласс позволил заподозрить себя в снисходительном отношении к мастурбации; еще более «либерален» казанский врач С. Я. Голосовкер, утверждавший, что последствия мастурбации, хоть и нежелательны, но менее опасны для общества, чем беспорядочная половая жизнь, чреватая заражением венерической болезнью³¹⁵. За стремлением создать общество «половых скромников» (А. Б. Залкинд) угадывается беспокойство перед «джином из бутылки», которого невозможно контролировать. Эта «раздвоенность» – критика «буржуазности» и викторианский дух – предопределила двусмысленность студенческих практик сексуальной жизни, отмеченную еще в статье Ш. Фицпатрик³¹⁶. Студенты часто рассматривали свое сексуальное поведение как ненормативное, в то же время будучи весьма «умеренны» (с современной точки зрения, конечно) на практике. Осмысливая интимную жизнь как аспект *публичной сферы*, учащиеся одновременно конструировали себя как индивиды. Соответственно эта индивидуальность существенно отличалась от «католической» в Западной Европе (и, вероятно, от протестантской): она реферировалась не к теологическим нормам и не к сугубо «научному» дискурсу, но к *общественно-государственному интересу*, менявшемуся в зависимости от обстоятельств и корректировавшему марксистскую картину мира. Допустимо предположить, что эта специфика была во многом предопределена православием, под влиянием которого оформился «жизненный мир» населения России, а также тем сложным синтезом, который обустроивал мир практик российских образованных слоев начиная с эпохи Петра I. Развивать здесь эту чересчур общую декларацию нам не представляется ни уместным, ни доказательным. Отметим лишь, что будущая элита сталинской эпохи, существенно повлиявшая на особенности процессов индивидуализации в 1930–1950-е годы, конструировалась именно в университете и институте периода нэпа³¹⁷.

Как и до революции, более «духовные» формы повседневной жизни (впрочем, неотделимые от рассмотренных выше) – чтение, театр, кинематограф, изобразительное искусство, музыка и т. п. – были не менее важны для конструирования и трансформации студенческой идентичности. Изменения, привнесенные «красным» студенчеством, при первом приближении также можно определить как своего рода «коллективизацию», не затронувшую разве что чтение. «Старое» студенчество создавало и участвовало в многочисленных литературных и поэтических кружках – как собственно студенческих, так и профессиональных. Но скорее это было поле саморепрезентации, чем «коллективного»

313 Фуко М. Слова и вещи: Археология гуманитарных наук / Пер. В. П. Визгина, Н. С. Автономовой. СПб., 1994 (фактически репринт московского издания 1977 г.). С. 343–356, 392–404.

314 О влиянии Ницше на русскую культуру и философию см.: Nietzsche in Russia / Ed. by Rosenthal V. G. Princeton; New Jersey, 1986. P. 127–145, 275–311, 331–354; Эткинд А. М. Указ. соч. С. 18–24 и др.

315 Голосовкер С. Я. О половом быте мужчины (Выпуск «Казанского Медицинского Журнала»), Казань, 1927. С. 10, 13, 15–16.

316 Fitzpatrick S. Sex and Revolution. P. 255–256.

317 О дальнейшей эволюции субъекта в России см.: Kharkhordin O. The Soviet individual: Genealogy of a dissimulating animal.

творчества³¹⁸. Иной характер приобрели «красные» кружки. Прежде всего они были достаточно «официальными», то есть имели свои помещения в институте и действовали с разрешения, а часто и при активной помощи администрации и партийных комитетов, сдвигая «пограничную полосу» между студенчеством и госбюрократией и превращая студента в агента-партнера государства³¹⁹. Менялись также практики творчества: речь шла о систематической учебе и коллективности опыта. Кстати, групповые виды творчества пользовались особой популярностью – например, хоровое пение. Вырос интерес к театру, до революции бывшему в первую очередь профессиональным занятием, а в 1920-е годы ставшему популярной формой студенческой самодеятельности³²⁰. Появились студенческая журналистика и, следом, культура оформления стенгазеты. Студкоры работали как для университетской или институтской газеты (стенгазеты), так и для городских и московских студенческих изданий, советских и партийно-комсомольских газет и журналов. Они имели не только институтские, но и общегородской центр – бюро студкоров при журнале «Красный студент»³²¹. Участие в деятельности разного рода творческих объединений считалось неотъемлемой составляющей партийной, комсомольской и профсоюзной работы «пролетария» и средством влияния на «болота». Признавая, что «официозная» культура доминировала в «статусных» студенческих кружках, отметим неопределенность понятия «официозная культура» в годы нэпа, по крайней мере в первой половине 1920-х годов. В самом деле, что можно считать «официозом» в литературном движении эпохи – РАПП, «Кузницу», ЛЕФ? Аналогично, был ли мейерхольдовский театр безусловной доминантой после своеобразной «диктатуры» первых революционных лет? Стоит напомнить, что даже группировке, связанной с именем опального Замятина, – «Серапионовым братьям» – не чинили особых препятствий³²². Еще более удивительными могут показаться человеку неосведомленному относительная свобода и возможность печататься, коими располагали ученики расстрелянного Н. С. Гумилева, публичные выступления А. А. Ахматовой и т. д.³²³ Соответственно многообразие форм культурной жизни отвечало многообразию габитусов в тогдашнем российском обществе, однако же не находившему своего завершения в политике и идеологии. Студенчество же и до революции не составляло единого целого, хотя, судя по опросам рубежа 1900–1910-х годов, «классические» вкусы преобладали (Голстой, Достоевский, Пушкин в литературе, например)³²⁴. Но в начале 1920-х годов водораздел в культурных пристрастиях мог означать нечто большее, чем до 1917 года. Речь идет о демонстративной привязанности «белоподкладочников» и «болота» к богемным

³¹⁸ Ср.: *Рождественский В. А.* Первые опыты // Ленинградский университет в воспоминаниях современников: В 3 т. / Под ред. В. А. Ежова, В. В. Мавродина. Т. II. Петербургский-Петроградский университет. 1895–1917. Л., 1982. С. 150–151.

³¹⁹ Красный студент. 1924. № 2. С. 15–16, 35; № 3. С. 32–33; № 4/5. С. 45; № 8/9. С. 33–35; № 10/11. С. 34–36; 1925. № 1. С. 9; № 2. С. 24–25, 32; № 4. С. 30–31; № 6. С. 4–6.

³²⁰ Там же. 1924. № 1. С. 41–42; № 2. С. 31–35; 1925. № 2. С. 38.

³²¹ Там же. 1924. № 1. С. 18–20; № 2. С. 29–30; № 3. С. 33–34, 35; № 4/5. С. 38–39, 48; № 6. С. 38; № 7. С. 15; № 10/11. С. 45; 1925. № 1. С. 30; № 2. С. 44; № 3. С. 43–45.

³²² *Каверин В. А.* Освещенные окна. С. 445–588.

³²³ Красный студент. 1925. № 2. С. 38.

³²⁴ Слушательницы С.-Петербургских Высших Женских (Бестужевских) Курсов. Поданным переписи (анкеты), выполненной статистическим семинарием в ноябре 1909 г. / Под ред. А. А. Кауфмана. СПб., 1912. С. 114, 118, 122, 123.

дореволюционным и сравнительно аполитичным современным культурным течениям, в то время как «красное» студенчество увлекалось «пролетарской литературой» и футуризмом. К середине десятилетия, по мере «гомогенизации» студенчества и своеобразной «реставрации» его маргинального статуса, карта культурных предпочтений также эволюционировала; кульминацией этих перемен стала кампания по борьбе с «есенинщиной»³²⁵. Фигура С. Есенина и его поэзия надолго стали культовыми – и не столько в среде студенческой «богеми» старого образца, сколько среди «пролетариев» и «крестьян». Одновременно эти предпочтения приобрели ярко выраженную политическую окраску оппозиционного характера, маргинализируя их носителей.

«Старые» студенты поддерживали свои традиционные культурные практики в домашних кружках, наподобие Космической академии наук, в которой членствовал Д. С. Лихачев в середине – второй половине 1920-х годов³²⁶. Такие кружки продуктивно рассматривать в рамках традиционной русской культурной практики *кружка* – научного, литературного, политического.

Пристрастия студентов-читателей также сильно варьировали. Однако сложившаяся здесь картина более запутана, поскольку создается впечатление, что именно в репертуаре читавшихся книг влияние «стариков» сохранялось, по крайней мере, в первые нэповские годы. Подобно дореволюционному студенту, «пролетарий» предпочитал беллетристику любому другому чтению³²⁷. Верхние строчки шкалы популярности по-прежнему занимала классика. Лишь постепенно в списке начали появляться более современные произведения, включая так называемую «пролетарскую» литературу. Среди современной поэзии кроме уже названного Есенина многие выделяли Маяковского (которому в начале 1920-х гг. также было далеко до официально признанного статуса). Читали беллетристику товарищей по учебе, публиковавшихся в студенческих и комсомольско-молодежных изданиях, но редко придавали самому факту этого чтения какое-либо значение. «Старое» студенчество поддерживало интерес к Серебряному веку. Если оставить художественную литературу, главное внимание вузовца занимали, разумеется, учебные пособия. Наконец, из разнообразной идеологической продукции можно указать несколько нашумевших в студенческой среде публикаций – тексты Э. Енчмена по его «теории новой биологии», работы Л. Д. Троцкого «Новый курс», «Вопросы быта», «Литература и революция», различные публикации Бухарина, связанные с комсомольской и студенческой проблематикой³²⁸.

1920-е годы характерны и стремительным ростом интереса – и отнюдь не только студенческого – к кинематографу. Во-первых, кино реально стало самостоятельным искусством, даже полем для изощренных экспериментов – например, немецкого экспрессионизма³²⁹. В послереволюционной России также произошел буквально кинозрыв,

³²⁵ Против упадничества, против есенинщины М., 1926.

³²⁶ Лихачев Д. С. Воспоминания. СПб., 1995. С. 136–140. Ср. там же о других кружках в Ленинграде 1920-х годов: С. 117, 129–136.

³²⁷ На штурм науки. С. 137, 237–238, 240–241.

³²⁸ Енчмен Э. Восемнадцать тезисов о «теории новой биологии». Пятигорск, 1920; *Он же*. Теория новой биологии и марксизм. Вып. I. Изд. 2-е. СПб., 1923. Ср. рецензию на книгу Э. Енчмена «Теория новой биологии и марксизм» // Вулкан. 1923. № 1/2. (3/4). С. 41; Бухарин Н. И. Енчмениада (К вопросу об идеологическом вырождении) // Бухарин Н. И. Методология и планирование науки и техники. Избранные труды. М., 1989. С. 191–224; *Он же*. Злые заметки // Бухарин Н. И. Этюды. М., 1988. С. 201–208 (репринт издания 1932 г.); Троцкий Л. Д. Вопросы быта. Эпоха «культурничества» и ее задачи. Изд. 3-е. М., 1925, *Он же*. Новый курс // Троцкий Л. Д. К истории русской революции. М., 1990. С. 164–203; *Он же*. Литература и революция. М., 1991.

³²⁹ Садуль Ж. История киноискусства / Пер. М. К. Левиной с 4-го фр. изд. М., 1957. С. 146–156.

при активном участии государства. Отечественные киноленты отличались рельефным «политическим» характером и агитационностью, наиболее ярко реализованными в творчестве С. Эйзенштейна³³⁰. Понятно, что «новое» студенчество с первых шагов оказалось среди почитателей советской «фильмы», различаясь, однако, своими эстетическими предпочтениями. Конечно, эту разницу трудно еще уловить – рождение «элитного» кино с «избранной» аудиторией произойдет очень нескоро. Кроме советского кинематографа, отечественный зритель нэповских лет имел доступ к образцам зарубежной продукции – европейской и американской. Большую популярность завоевал, в частности, Ч. Чаплин³³¹. Опять-таки, практически невозможно провести какой-либо водораздел между студентами-почитателями отечественного и зарубежного кино или выделить какие-либо иные критерии разделения аудитории, в том числе по причине недостатка убедительных свидетельств.

Подытоживая краткий анализ эволюции студенческих «культурных вкусов», следует остановиться на значении феномена студенческого культурного производства, родившегося именно в рассматриваемый период. До революции, участвуя в художественной жизни, студент действовал на чужом поле: завершенного пространства корпоративной культуры не существовало подобно тому, как в 1920-е годы уже не было исчезнувшего «поля» студенческой политики³³² (возможно, что смерть одного и рождение другого взаимосвязаны). Однажды появившись на свет, университетско-институтская культура претерпела те же изгибы судьбы, что и «красное» студенчество: от советского авангардизма первых лет до маргинализации в середине десятилетия. Показательно и то, что как феномен студенческая культура была отличительной чертой «пролетариев» в высшей школе: «белоподкладочники» имели другие ориентиры (и были вынуждены их иметь). В отличие от других освященных государством сфер публичной жизни «красного» студента, культурное поле в неизмеримо меньшей степени ограничивалось рамками канонизированных способов самореализации. Таким образом, в нем, как в контексте отношения к своим учебным обязанностям, в бытовом и сексуальном поведении, а до известной степени и в реакции студентов-активистов на борьбу партийных и комсомольских фракций, проявлялись особенности студенческого габитуса. Чем более формализовалась область политического, тем важнее для выявления собственно *студенческой* позиции становилось *культурное* поле (равно как и смена установок в сфере труда, т. е., в нашем случае, *учебы*).

Редукция и «умирание» политического

Постепенное исчезновение студенческой *политики* в узком смысле слова требует, очевидно, более детального исследования. В пределах рассматриваемого периода этот процесс не завершился: в 1924 году, по свидетельству руководителя меньшевистского подполья Г. Кучина-Оранского, в Ленинграде действовала студенческая организация РСДРП. В 1923/1924 году студенческий партийный и комсомольский актив участвовал в дискуссии с Троцким, а на рубеже 1925/1926 года его затронула кампания против «новой оппозиции» в Ленинграде, хотя и в меньшей степени³³³. В любом случае бросается в глаза

³³⁰ О работе Эйзенштейна в годы нэпа см.: *Беленсон А.* Кино сегодня. Очерки советского киноискусства (Кулешов – Вертов – Эйзенштейн). М., 1925.

³³¹ О популярности кинематографа Чаплина в России 1920-х годов свидетельствует издававшаяся тогда литература, например: *Чарли Чаплин* / Под ред. В. Шкловского. Л., 1925.

³³² В данном случае понятие «поле» используется в качестве кальки «champ» П. Бурдьё.

³³³ Эти события нашли свое отражение в: *Кучин-Оранский Г.* Записки // Двинов Б. От легальности к

«затухание» политической жизни к 1926 году даже в среде активистов.

Элиминирование «старых» политических партий оказалось не самой сложной задачей. В предыдущей главе мы уже говорили о своеобразии корпоративной политики – ее определяли не столько партийные группы и ячейки, сколько традиционные институты самоуправления: сходка, землячество и т. п. Кроме того, изменения в содержании *традиции*, происшедшие после 1917 года, означали перенос ударения на лозунг «автономного университета» вне политики. Тем самым позиции политических партий в высшей школе были вновь ослаблены. Как следствие, под прицел активистов-«пролетариев» попали прежде всего традиционные институты корпорации – сходки, землячества, комиссии, кружки. Благодаря особенностям «нового» студенчества, рассмотренным в предыдущей главе, и вытеснению из высшей школы «старых» вождей удалось в короткие сроки избавиться от сходок и запретить землячества (к 1922/23 учебному году). Сходки потеряли свой смысл, утратив элемент спонтанности и некоторой «неуправляемости», ибо рабфаковцы и «красные» студенты-основники являлись на них организованной и дисциплинированной фракцией, пользовавшейся государственной поддержкой. Профсекции подготовили запрет землячеств. После этого от бывшего плюрализма политической жизни петроградского студенчества остались немногочисленное антикоммунистическое подполье и внутрипартийная фракционность в студенческих ячейках РКП(б) и РКСМ. Большая часть учащихся оказалась – по иронии судьбы! – вне политики по тем или иным причинам: меньшинство, лишённое политических прав, не имело своего «места» в политическом пространстве даже формально; остальные обнаружили себя замкнутыми на профобъединения разных отраслей, причем деятельность профсекций быстро ритуализировалась. Если мы возьмем за образец протоколы профсоюзных собраний студентов петербургских вузов первой половины 1920-х годов, то увидим мало неожиданного: вопросы «готовятся» и предрешаются на заседаниях исполнительного бюро секции (тоже достаточно формально), вплоть до порядка и персонального состава выступающих³³⁴. Из политического инструмента профсекция превращалась в инструмент социальной мобильности.

Партийный и комсомольский актив еще несколько лет оставался *политическим островом*. Внутрипартийная борьба также претерпела значительную ритуализацию, особенно после X съезда РКП(б) в 1921 году. Но в известных рамках возможности для занятия и отстаивания особой политической позиции сохранялись. Фракционные столкновения в партии и комсомоле не захватывали беспартийных, которые далеко не всегда проявляли к ним интерес и были слабо информированы о существенных деталях. Поэтому трудно сказать, насколько оправданно рассматривать эту политическую жизнь как студенческую. Не проще ли говорить о внутрипартийных коллизиях с участием студенческих ячеек? Вероятно, нет, поскольку интеллигенция вообще и студенты в частности достаточно быстро овладевают тем или иным политическим дискурсом, в том числе (или прежде всего) в *не-политических* целях. В этом смысле трудно поверить в то, что большинство «пролетариев» не следило за ходом дискуссии 1923 года, особенно в той ее части, которая непосредственно затронула университетскую жизнь. В тенденции комсомол становился организацией общестуденческой и тем более приковывал внимание. Наконец, практически все учащиеся были «охвачены» политическими занятиями с итоговым экзаменом. Результаты дискуссии не замедлили сказаться на обмене партийных документов в вузовских ячейках и, косвенно, на студенческой чистке 1924 года³³⁵. Можно сказать, что

подполью (1921–1922). Stanford, California, 1968. С. 194–195; Красный студент. 1925. № 1. С. 4–5; На штурм науки. С. 38, 187–188.

³³⁴ ЦГА СПб. Ф. 6276. Оп 69. Д. 4. Л. 128, 136, 145–145 об, 154–155.

³³⁵ Fitzpatrick S. Education and Social Mobility in the Soviet Union. P. 96–97.

для государственной бюрократии позиция студентов-коммунистов и комсомольцев в дни дискуссии характеризовала «новое» студенчество в целом. Учитывая, что троцкистская оппозиция была определена как «мелкобуржуазная опасность», становится понятной как тревога середины десятилетия за сохранение пролетарской «природы» студенчества, так и профсоюзная реформа, то есть попытка перехода к общестуденческим профсоюзам – студсоюзам³³⁶.

Позднее озабоченность руководства города и страны вызывалась уже не политической позицией студентов-коммунистов в продолжающейся внутрипартийной схватке, но фактами быта, культуры и сексуальности, получившими нарицательное наименование «есенинщины». Постепенное умирание вузовской «политики» в узком смысле слова сопровождалось политизацией других «полей» студенческой реальности, диффузией политического. Так называемые «политические» и профессиональные организации (партийные, комсомольские и профсоюзные структуры) приобрели иное значение. Овладение их дискурсом и практиками обещало перспективы социального успеха любому «пролетарию». Любопытно, что в этих условиях проявились наметившиеся еще до революции тенденции концентрировать престижные позиции в рамках своего рода касты – аналога «вечных» студентов. Например, студенческий партийный лидер университета К. И. Кочергин проучился более семи лет, неизменно возглавляя партийное бюро/комитет, общежитие, входя в ученый совет и т. д.³³⁷ Благодаря своему особому статусу он без труда получал академический отпуск и отсрочки от сдачи экзаменов и зачетов. Из личного дела очевидно, что Кочергин занимался не столько учебой, сколько партийной работой и администрированием. Судя по тому факту, что он оставался «на плаву» и после дискуссии с Троцким в 1923–1924 годах, и после падения Зиновьева в конце 1925 – начале 1926 года, очевидны его успехи по усвоению форм речи-мышления и практик партийной жизни. В отличие от до- и послереволюционных «вечных» студентов (в эпоху до 1922–1924 гг.), люди, подобные Кочергину, представляли несомненный капитал учебного заведения в отношениях с партийно-государственными властями. Это последнее также показывает, насколько изменилась «пограничная полоса» между студенчеством и государством. С другой стороны, Кочергин более был влиятелен, нежели рядовой беспартийный профессор, – коих, заметим, было подавляющее большинство в ПГУ/ЛГУ 1920-х годов, – иногда даже в тех вопросах, которые непосредственно затрагивали интересы профессуры. Характерная черта высшей школы нэповских лет и периода «культурной революции» 1928–1931 годов – двусмысленность отношения к ней власти. С одной стороны, государство в 1921–1923 годах предпринимает шаги по «умиротворению» и подчинению университета (включая высылку профессуры и ряда студенческих лидеров в 1922 г.), стремясь заключить своего рода контракт с устраивающей властью частью профессуры. Среди прочего, такой контракт предусматривал и постепенное возвращение профессорской корпорации доминирующих позиций в администрировании³³⁸. С другой стороны, «красное» студенчество оставалось главной опорой нового режима вплоть до середины 1930-х годов и потому вызывало куда больше доверия, пусть и не лишеного беспокойства и подозрений. Конечно, НЭП не был в этом отношении какой-то «однородной» эпохой: когда в середине десятилетия эра «бури и натиска» сменилась наркомпросовской политикой «умиротворения» и «пролетаризация» временно «утихла», процессы

³³⁶ О реформе и ее неудаче см.: Красный студент. 1925. № 1. С. 25–26; № 2. С. 22–23; № 6. С. 7, 23–24.

³³⁷ ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 4. Д. 791.

³³⁸ О «завоевании» высшей школы и параллельном ему «торге» с профессурой см.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 45. М., 1964. С. 121. Т. 54. М., 1965. С. 176–177, 265–266; Ленинский сборник XXXIV. М., 1942. С. 406; Ленинский сборник XXXVI. М., 1959. С. 216, 219; Смирнова Т. М. История разработки и проведения в жизнь первого советского устава высшей школы // Государственное руководство высшей школой в дореволюционной России и в СССР. Сб. ст. М., 1979. С. 19–20, 22, 27, 29–32, 36.

маргинализации студенчества заметно ускорились. И все же неопределенность «режима власти» в университете сохранилась. В известной степени именно профессура очутилась под надзором «новых» студентов. Постоянно шла борьба за «сферы влияния». «Яблоком раздора» была академическая политика. Различные студенческие организации использовали дальтон-план или бригадный метод как политический инструмент, тогда как профессура отстаивала более традиционные модели. Кроме того, чем более формализованной, математизированной была область знания, тем сложнее было студенчеству использовать привычную идеологическую аргументацию. Хотя попытки такого рода случались («боричевщина»), они не принесли должного успеха: вероятно, потому, что шли вразрез с рационализмом и тейлоризмом эпохи, приветствовавшей методы «точных» наук. Таким образом, степень влияния студенчества часто зависела от того, к какой категории «спецов» относился профессор.

Преемственность в функционировании института лидерства позволяет нам поставить вопрос о размывании границ политического поля в исторической перспективе. Насколько укоренен был институт политических партий в университете до революции? Представляется, что в сравнении с корпоративными интересами, реально детерминировавшими большинство дореволюционных – и послереволюционных – выступлений учащихся, политические группировки – филиалы действовавших тогда партий – остались маргинальным явлением студенческой жизни. Им удавалось преуспеть настолько, насколько они могли умело воспользоваться студенческим недовольством и принципами студенческой политики. Причем единственно возможными инструментами мобилизации признавались структуры и формы корпоративной жизни – сходки, землячества, старостаты, столовые и т. п. Поэтому стратегия политических группировок – политических в узком смысле – сводилась к проникновению и борьбе за доминирование в корпоративных структурах. Само обособленное политическое поле было возможным только при условии более четкой границы между государственной бюрократией и студенчеством, размывание которой началось еще в 1918/1919 году. Со смещением этой границы менялись глубинные формы корпоративной реальности, не говоря об «исчезновении» политического. «Красный» студент осмысливал и строил свой мир на иных основаниях – не столько противопоставляя, сколько связывая себя с государством, гарантировавшим ему и образование, и стремление остаться, до известной степени, тем, кем он хотел бы оставаться, – «пролетарием» (что также является своего рода языковой конструкцией, неотделимой, разумеется, от «реальности»). В его студенческом мире не существовало узко «политического» – либо оно стремительно «убывало» вместе с «белоподкладочниками» и «умиротворением» профессуры, – «политического», которое и у дореволюционного универсанта занимало незначительное место (постольку, поскольку оно встраивалось в его видение корпорации)³³⁹. Потому «политика» была обречена.

Что скрывалось за «пролетаризацией» петроградского студенчества?

Проблема поиска и сохранения так называемой «пролетарской» идентичности, сохранившаяся даже после периода «бури и натиска» 1921–1924 годов, требует отдельного обсуждения. Она подводит нас к более общему вопросу «студент и общество». На первый взгляд, многое ясно: будущая элита государства, определявшего себя как «рабочее», да еще и рекрутированная если не из рабочих, то из слоев населения с маргинальным при прежнем режиме статусом, будет стремиться отождествить себя с «пролетариатом». Но что означает

³³⁹ Вероятно, здесь нужно искать причины постоянных «похорон» дореволюционного студенчества – с конца 1890-х годов до революции 1917 года. По иронии судьбы именно эти годы стали пиком массового студенческого движения. Стремление узких «политиков» отделаться от студенчества хотя бы на словах показывает если не понимание, то *ощущение* ими «неудобства», то есть необходимости «подстраиваться» под корпоративные правила игры.

быть и оставаться рабочим: происходить из рабочей семьи; иметь стаж работы «у станка»; сохранять контакты с фабричными рабочими; время от времени (или постоянно) возвращаться на фабрику в прежнем качестве – то есть «рабочим»; иметь «сознание рабочего»? Наконец, как согласуется студенческий статус, высшее образование вообще с «пролетарским сознанием», тем более что те же «красные» студенты выступают на предприятиях в качестве агитаторов, просветителей, «толмачей»? Ответ на каждый из этих вопросов не может быть однозначным.

Дискурсивное конструирование пролетария началось задолго до революции и в его большевистском варианте велось на пересечении марксистской традиции (которая сама по себе неоднородна), некоторых течений народнической мысли (Ткачев, Лавров), эмпириокритицизма в его российском варианте, конкретных политических «оказий» и т. д. Среди базовых работ на эту тему приходит на память ленинская «Что делать?», где классическая марксистская диспозиция существенно корректировалась. Ленин, напомним, представлял рабочего как «коллективного» индивида на фабрике, способного осмыслить свой мир в сугубо профессиональных категориях и в масштабах узкопрофессиональных интересов: «политического» там не было. Для превращения в «сознательного пролетария» ему необходима партийная структура, созданная образованными интеллектуалами, но имеющая целью стать *рабочей* ³⁴⁰. Рабочий уязвим для различных идеологических «заражений» – особенно в такой мелкобуржуазной стране, как Россия, где пролетариат молод и еще только приобретает некоторые традиции. В соответствии с марксистской логикой начало 1920-х годов было вдвойне тревожным – в ходе Гражданской войны пролетариат буквально «исчезал», размываясь «мелкобуржуазным окружением». Накануне смерти Ленин подчеркивал, что единственным гарантом большевистского пролетарского политического курса остается единство «старой партийной гвардии» ³⁴¹. Казалось, по Ленину, что ссылки на «рабочее происхождение» утрачивали смысл. Именно в ситуации первых лет НЭПа интересно посмотреть, как конъюнктура политических обстоятельств позволяет социальным актерам прийти к новому «соглашению».

На протяжении 1920-х годов понятие «пролетарий» оставалось *выгодно* неопределенным. Если мы проанализируем материалы студенческой переписи к чистке 1924 года, то окажется, что рабочим можно было стать по факту рождения в рабочей семье ³⁴². Статус «рабочей семьи», в свою очередь, также безусловен: предполагалось, что один из родителей (чаще всего отец) либо до, либо после революции зарабатывал на жизнь *как рабочий*. Это последнее также «туманно»: нужно ли было иметь рабочую специальность, трудиться на «крупном» (?) предприятии, выработать стаж – не определялось. В других случаях, например при профсоюзных чистках первой половины 1920-х годов, за точку отсчета часто брался минимальный (год-два) стаж работы на производстве самого студента. Специфика труда определялась редко (это мог быть и неквалифицированный труд грузчика или уборщика в мелкой конторе после окончания школы, и работа по специальности) ³⁴³. В любом случае необходимой считалась советская, профсоюзная, комсомольская или партийная путевка, подтверждавшая «пролетарский» статус учащегося. В-третьих,

³⁴⁰ Ленин В. И. Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения // Он же. Избранные сочинения: В 10 т. М., 1984. Т. III. С. 34–56, 107–121 и др.

³⁴¹ Этим настроением проникнуты последние письма и статьи: Там же. Т. X. М., 1987. С. 363–367.

³⁴² Отчет уполномоченного народного комиссариата просвещения по высшим учебным заведениям за 1923/24 учебный год. Л., 1924 (Таблица: ЦГА СПб. Ф 6276. Оп. 69. Д. 4. Л. 39 об., 45, 51, 109).

³⁴³ Ср.: ЦГА СПб. Ф. 6276. Оп. 69. Д. 4. Л. 43, 44, 51–54; Ф. 7240. Оп. 3. Д. 1201. Л. 5; Оп. 1. Д. 374, Л. 2–6 об.

пользовались смешанными критериями – и происхождение, и стаж³⁴⁴. Неопределенность критериев допускала известную гибкость: «красные» студенты продолжали оставаться «красными», в то время как любая «политическая» тревога, вроде позиции студентов-коммунистов и комсомольцев во время дискуссии с Троцким, позволяла партийным лидерам обращаться к студенческой статистике за подтверждением тезиса о «мелкобуржуазной стихии»³⁴⁵. Однако та же неопределенность порождала постоянную тревогу и поиск гарантий у отдельно взятого студента и у корпорации в целом. Студент-«пролетарий» был обязан своим новым статусом и возможными перспективами этикетке, которая в любой момент рисковала обратиться в поддельную. Гарантии могли дать стиль поведения (язык, успехи или неуспехи в учебе, бытовой уклад, культурные предпочтения и оценки и т. д.), политическая позиция, работа на производстве, кампании «спайки» студенчества с рабочими, вечерняя форма образования... Сами эти гарантии не были известны заранее или даны свыше: они конструировались нередко теми же студентами с учетом поворотов государственной политики, социально-политической перспективы, местной конъюнктуры. Например, категоризация вечернего образования как инструмента сохранения «пролетарской» идентичности во многом была связана с бедственным материальным положением студенчества – нехваткой стипендий и необходимостью приработка. Конечно, можно возразить, что дискуссия о переходе к вечерней высшей школе разразилась в 1924–1925 годах, когда в обеспечении «красных» студентов наметились перемены к лучшему, с одной стороны, и едва закончился первый раунд послеленинской внутривнутрипартийной борьбы, с другой³⁴⁶. Сверх того, зиновьевское руководство Ленинграда всячески культивировало «пролетарские» настроения: город подавался в качестве чуть ли не единственного истинно рабочего центра. В такой атмосфере командироваемая в университет или институты заводская молодежь призывалась и, возможно, сама стремилась не порывать с фабрикой. Фоном тем не менее оставалось относительно благополучное, «сытое» житье квалифицированного (а по сравнению со студентом и неквалифицированного) рабочего. Еще более конъюнктурным можно назвать выбор политического суждения как критерия «пролетарской» сознательности. В советском обществе 1920-х годов любая политическая оппозиция – в том числе и внутривнутрипартийная – получала презрительные социальные коннотации; победитель всегда представлял настоящую «рабочую политику». Необходимо было только вовремя определить этого победителя.

В череде таких «случайных» гарантий есть и сугубо внутривузовские стратегии. Одной из них был «дальтон-план», в тогдашних советских условиях ставший «лабораторным методом»³⁴⁷. Каким образом он выдвинулся в ряд базовых лозунгов «пролетарского» студенчества по реформированию высшего образования, не совсем понятно. Однако уже с самого начала «дальтон-плану» приписали специфические «классово-политические»

344 Там же. Ф. 6276. Оп. 69. Л. 39 об., 51.

345 Ср. дебаты на XIII съезде партии: Тринадцатый съезд РКП(б). Стенограф, отчет. М., 1963. С. 101–102, 104, 161, 206, 226, 230, 253, 523–527, 579, 667–669, 673, 675–677. Из резолюции XIII партконференции: Там же. С. 772–775, 803; *Fitzpatrick S.* Education and Social Mobility in the Soviet Union, 1921–1934. Cambridge, 1979. P. 95–97.

346 Ср.: Красный студент. 1925. № 2. С. 9–10; № 3. С. 4–5; № 4. С. 7.

347 Позднее, в годы «культурной революции» его трансформировали в «бригадно-лабораторный»: *Warshofsky Lapidus G.* Educational Strategies and Cultural Revolution: The Politics of Soviet Development // Cultural Revolution in Russia, 1928–1931 / Ed. by S. Fitzpatrick. Bloomington; L., 1984. P. 78–104; *Holmes L. E.* The Kremlin and the Schoolhouse. Reforming Education in Soviet Russia, 1917–1931. Bloomington; Indianapolis, 1991. P. 109, и далее.

атрибуты и функции. Во-первых, он отвечал «коллективистскому инстинкту» рабочих³⁴⁸. В этой риторике уже угадывался будущий «бригадный метод». Речь шла об усвоении материала группой и – часто – групповой же отчетности. Заводская терминология (сдельщина, повременная оплата) широко использовалась в аргументации. Параллель «фабрика – вуз» предусматривала, что новая форма обучения позволит «тейлоризацию» студенческого труда, своего рода рационализированный конвейер. С другой стороны, минимизировалось влияние профессуры на учащихся. Лекция не без оснований казалась реликтом эпохи господства профессуры. Отказавшись от нее и низведя преподавателя до уровня «простого консультанта», рассчитывали изменить структуру властных отношений в высшей школе, сохранив тем самым свою «пролетарскую» идентичность³⁴⁹. Именно эти политико-идеологические мотивы лежали, скорее всего, в основе движения за «лабораторный метод».

В сходном ключе можно рассматривать студенческие требования о приближении университетского образования «к жизни»³⁵⁰. Учащиеся ЛГУ высказывали пожелания, чтобы биологический факультет преобразовали в агротехнический, а вместо академического курса физики преподавались бы узкоприкладные знания по физике производственных циклов. Ссылки при этом делались как на государственные интересы, так и на необходимость сохранения присущего рабочему практического, конкретного подхода к делу³⁵¹. Кроме того, производственный уклон в образовании увязывался с государственными решениями по летней студенческой практике. На этой последней студент вновь «пролетаризировался» и как член рабочего коллектива, и как *практический* работник. Поэтому столь острое недовольство вызывало пренебрежительное отношение заводской дирекции к студентам-практикантам, которым часто поручали неквалифицированный труд³⁵².

Напомним, что партийное индоктринирование рабочих было в большевистской схеме принципиальным условием рождения «сознательного пролетария». Неудивительно поэтому, что политическое суждение становилось мало-помалу чуть ли не самым важным критерием «пролетарского самосознания». Сконструировать *правильную* оценку жизненных реальностей позволяла студенту и разветвленная система политической учебы. На первый взгляд, она быстро превратилась в нечто фиктивное, охватывающее подавляющее большинство учащихся и пропитанное формализмом. Однако именно там студент учился пользоваться официальным дискурсом, приобретал ту самую интуицию, которая позволяла безошибочно определить «победителя» в запутанных внутривластных схватках эпохи. В первые годы нэпа политзанятие еще не приобрело лекционной структуры³⁵³. Коллективные чтение и дискуссия под руководством либо партийного лектора, либо коммуниста со стажем воспроизводили в основном дискуссионную атмосферу в партии. Моделируя официальный

348 См., напр.: Красный студент. 1924. № 1. С. 38–40; № 6. С. 33–34; № 8/9. С. 19–22.

349 Ср. примеч. 2, с. 134. (в файле – примечание № 347. – *верст* .).

350 История Ленинградского университета. Очерки / Под ред. В. В. Мавродина. Л., 1969. С. 271–279.

351 Там же. С. 271–279.

352 Красный студент. 1925. № 6. С. 3–18.

353 В этом контексте – так же, как и в связи с историей дальтон-плана, – интересны заявления «красного» профессора Н. С. Державина, оригинально защищавшего лекционный метод: он сравнивал ораторскую революционную культуру с лекцией. Сравнение, которое может оказаться продуктивным для исследователя отношений власти в раннем советском обществе. См.: История Ленинградского университета. С. 285–288.

дискурс, они позволяли каждому участнику находить оптимальное, с точки зрения его интересов, решение. При этом нельзя было исключить, что стратегия, избираемая участником занятия, могла повлиять на его перспективы во время партийной или профсоюзной чистки³⁵⁴.

С середины 1920-х годов особое место в режиме поддержания студенческого «пролетарского самосознания» стало занимать Общество рабочей «смычки». Участие в нем предполагало ведение «цивилизаторской» работы в деревне: разъяснение государственной политики, популяризацию агротехнических знаний, атеистическую пропаганду, организацию комсомола и пионерских отрядов. Студенты при этом должны были играть роль «пролетариев», устанавливая и поддерживая взаимопонимание между крестьянином и рабочим (посредством взаимных визитов крестьян на фабрики и рабочих в деревню, экскурсий крестьянских детей в город и т. п.). В то же время учащийся выступал фактически как представитель государства, впоследствии представляя подробный отчет о своей деятельности и впечатлениях партийным и комсомольским структурам³⁵⁵. «Рабочий», представитель «рабочего государства», студент – эти три роли в одном лице позволял играть статус члена Общества рабочей «смычки».

Изначальная неопределенность социальной идентификации вследствие размывания социальной структуры в годы Гражданской войны (объективно и субъективно) воспроизводилась, таким образом, и позднее – уже в новой роли студента, когда различные практики позволяли ему играть «пролетария» от станка и/или государственного функционера. Это качественно меняло границы и стиль корпоративного существования. Если в сложной иерархии индивидуальных диспозиций – габитусе дореволюционного студента доминировало именно *студенческое* (уникальное в каждом индивидуальном случае множество этих диспозиций реструктурировалось *студенческой суперпозицией*), то у студента 1920-х годов такой доминанты не было. Габитусы студента и рабочего сосуществовали, одновременно конкурируя. В данном случае нельзя говорить об «истинной» и «ложной» идентичности, поскольку каждая из них была функциональна. Эта двойная идентичность сопрягалась со смещением границ между государством и студенчеством таким образом, что студент мог выступать в качестве агента «рабочего государства». До известной степени ощущать себя и действовать как «пролетарий» было необходимо, чтобы соответствовать именно как *студент* этому новому определению ролей. То есть «студент-пролетарий» есть единственно возможный студент (в перспективе – государственный функционер) в государстве, называющем себя «пролетарским».

Студент и профессор: новые контуры отношений

Как логично вытекает из предшествующего анализа, «граница» между профессурой и студенчеством в начале 1920-х годов вновь сменила очертания. Если в конце предшествующего периода «хранители» студенческой традиции – «вечные студенты» заключили союз с профессорской корпорацией на принципах программы «автономного университета» вне политики, то после вторжения «пролетариев» профессуре грозила война на два фронта – с партией-государством и с «новым» студенчеством. Так бы и произошло, если бы правительство не нанесло упреждающий удар: началась радикальная реформа преподавания «идеологических дисциплин», сопряженная с высылкой виднейших немарксистов, и в то же время остальной профессуре предложили компромисс на весьма

³⁵⁴ О политзанятиях «красных» студентов см.: Красный студент. 1924. № 1. С. 41–42; № 2. С. 31–35; 1925. № 2. С. 38.

³⁵⁵ Ср. «установки» по проведению летней практики 1924 года от Центрального Совета Пролетарского Студенчества: ЦГА СПб. Ф. 6276. Оп. 69. Д. 29. Л. 6–7.

суровых условиях. Профессорская корпорация должна была смириться с утратой верховной власти в университете (которой, правда, она располагала очень недолго), ограничившись заметным влиянием на вузовскую политику, возраставшим по мере улучшения отношений с властью³⁵⁶.

Поскольку «социальная природа» профессуры на всем протяжении нэповского десятилетия не претерпела особых изменений, между нею и «пролетариями» не могло не установиться своеобразное вынужденное сотрудничество, не лишенное взаимных подозрений. В некоторых сферах ситуация изменилась на 180° (по сравнению с дореволюционной). Элита «красного» студенчества до 1925/26 учебного года осуществляла ряд надзорно-административных функций в университете и институте, представляя там государственные интересы³⁵⁷. Академическое представительство «пролетариев» развернуло широкое наступление на традиционные методы преподавания, стремясь изменить баланс властных отношений в «святой святых» профессуры – в учебных аудиториях. Хозяйственные вопросы перешли под контроль университетских служащих, соответствующих студенческих органов и представителей Наркомпроса. Единственная область, где радикалы не преуспели, – «точные» науки (математика, естествознание, прикладные технические дисциплины) – осталась во власти профессорской корпорации.

Благодаря мемуарам бывших «красных» студентов и рабфаковцев у нас есть возможность обратиться к индивидуальному опыту конструирования студенческо-профессорских отношений в начале 1920-х годов. Организатор студенческого партколлектива 1920 года М. А. Ром рассказывает:

Для характеристики мировоззрения большей части профессуры того времени хочу привести выступление декана данного факультета профессора М. Д. Приселкова на этом собрании³⁵⁸. Он сетовал на то, что новое пополнение студентов не знает классических языков – латыни и греческого, не знает даже главных европейских языков. «Советую вам взять евангелие, переведенное как на греческий и латинский, так и на европейские языки. Изучая его, вы сможете быстрее изучить тот или иной язык».

После доклада профессора я тотчас подошла к кафедре: «Товарищи студенты! Профессор рекомендует читать нам евангелие. Полагаю, что „Коммунистический манифест“ Маркса и Энгельса, переведенный на все языки мира, будет нам лучшим пособием при изучении иностранных языков».

Затем я попросила остаться всех коммунистов и комсомольцев. Их оказалось 8 человек³⁵⁹.

Вероятно, напряжение возникало (имплицитно или эксплицитно) всякий раз, когда в профессорском дискурсе «проскальзывали» идеологически маркированные языковые конструкции. Этого было нелегко избежать даже в лекциях по естествознанию и математике, не говоря о гуманитарных дисциплинах. Наряду с предварительно почерпнутым

³⁵⁶ Об истории отношений профессуры с Советской властью см.: *Федюкин С. А.* Великий Октябрь и интеллигенция. Из истории вовлечения старой интеллигенции в строительство социализма. М., 1972. С. 155–164, 324–340; *McClelland J.C.* The Professoriate in the Russian Civil War // *Party, State, and Society in the Russian Civil War: explorations in social history* / Ed. by D. P. Koenker et al. Bloomington; Indianapolis, 1989. P. 243–266.

³⁵⁷ В этой связи характерен пример того же Кочергина: ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 4. Д. 791. Ср.: История Ленинградского университета. С. 268–269.

³⁵⁸ Имеется в виду собрание студентов первого курса факультета общественных наук I ПГУ.

³⁵⁹ На штурм науки. С. 10–11.

предрассудочным знанием об университете – та же М. А. Ром в 1919–1920 годах работала в городском отделе вузов наркомата просвещения, занимаясь собесом, – опыт лекционного взаимодействия закладывал «первый камень» в фундамент будущих отношений. Следующей ступенью мог стать конфликт на почве того или иного административного вопроса. У Ром, в частности, возникла проблема с помещением для партколлектива:

Обратилась к ректору, профессору В. М. Шимкевичу. «Тут университет, – ответил он. – Какое же отношение имеет к нему коммунистическая партия? Я не возражаю против ее существования, но к чему она в этих стенах?» Пришлось долго доказывать ему право коммунистического студенчества иметь свою организацию в университете. Наконец профессор препроводил меня к проректору по хозяйственной части. После долгих отговорок и ссылок на нехватку отапливаемых помещений нам разрешили использовать под общие собрания первую аудиторию в общежитии научных работников, расположенную во дворе университета (в «научке»), и, кроме того, разрешили поставить свой стол в коридоре университета³⁶⁰.

Формировавшаяся таким образом модель отношений превращала лекционную аудиторию, где чаще всего пересекались студент и профессор и где реально «отправлялась» профессорская власть, в средоточие конфликта. Чтобы изменить исторически сложившуюся диспозицию, «новые» студенты подхватили уже входивший в практику российского среднего образования метод «дальтон-плана». При этом нецелесообразно отделять идеологические мотивы от прагматических соображений (в контексте борьбы между корпорациями). Скорее всего, их невозможно было «расчлнить» и самим социальным актерам. Появление в профессорских рядах незначительной «левой группы» принципиально картину не меняло: профессора-коммунисты и «сочувствующие» примыкали к «пролетариям» и следовали установкам партии-государства, с коим «новое» студенчество оказалось тесно связано³⁶¹. В любом случае, это был слабый посредник.

Здесь важно остановиться на возможном понимании того, что привыкли с 1918 года называть «завоеванием высшей школы». Что скрывалось за этой фразой для «нового» студента? На поверхностном уровне речь шла о вытеснении из университета так называемых «белоподкладочников», превращении его в лояльную советской власти институцию. Однако главной проблемой была именно подготовка будущего государственного *функционера*, отвечавшего новым требованиям. Представляется ошибочным рассматривать эти требования сквозь призму 1930-х или тем более 1970–1980-х годов. В эпоху нэпа идея специалиста будущего коммунистического общества (причем не российского, а мирового масштаба) вписывалась в тот «просвещенческий» проект, о котором мы уже рассуждали, интерпретируя дискурс о сексуальном поведении студентов. «Пролетарское», классовое виделось принципиально более важным, нежели национальное. Сосуществовали откровенная индоктринация – но под флагом научности – и рационализм. Последний можно было отыскать у русской профессуры в естественных науках – и не только в них. Но как соединить эту полезную учебу с «классовым подходом»? Как отделить «научное» от вредного «идеологического»? Студент понимал, что знания он может получить только у профессора, но не желал «заразиться» профессорской идеологией аполитичного исследования или – тем паче – либерализма. Задача «завоевания» усложнилась до необходимости разрешить эту дилемму. Многие «пролетарии» надеялись, что «дальтон-план» позволит им реализовать

³⁶⁰ На штурм науки. С. 11.

³⁶¹ О петроградской «группе левой профессуры» см.: *Порт-Янский Гр.* Первое выступление красной профессуры // Красная газета. 1921. 31 мая; *Он же.* Путь (Второй диспут красной профессуры) // Красная газета. 1921. 14 июня; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 60. Д. 220; История Ленинградского университета. С. 246–249 и др.

поставленную цель, минимизировав роль профессора до уровня простого консультанта. С другой стороны, сопротивляясь введению «лабораторного метода», профессура заняла более гибкую и «деидеологизированную» позицию, аргументируя его нереалистичность отсутствием необходимой инфраструктуры и слабой подготовкой «красного» студента. Под «слабостью» понималось отсутствие того культурного капитала, каковым располагал, например, гимназист. Однако если бы таковой имелся в наличии, профессорскому миру едва ли бы что-то угрожало: габитус гимназиста был совместим с профессорским габитусом. Учитывая возраставший, по мере экономической реконструкции, интерес государства к качеству подготовки специалистов – и, тем самым, больший прагматизм большевистской образовательной политики, все более очевидный со второй половины 1920-х годов (до начала «культурной революции» 1928–1931 гг.), – профессуре удалось значительно замедлить и ограничить педагогический эксперимент³⁶². Кроме того, преподаватель, выступая в роли консультанта и экзаменатора, всегда мог продемонстрировать неэффективность метода. В результате профессорская корпорация вплоть до конца десятилетия с успехом отражала «натиск»: в 1926–1928 годах «рабочий набор» стабилизировался, будущие ученые набирались из числа представителей «образованных сословий» старого режима. Последнее было возможно, несмотря на то, что после революции отношения социальной иерархии были размыты: культурный капитал оставался существенным определителем, своего рода лакмусовой бумажкой. «Культурная революция» позднее подтвердит, что конфликт попросту «спрятали» до времени.

В то время как государство и студенчество претерпели радикальные изменения и следовали новым стратегиям, профессура старалась ничего не менять и по крайней мере восстановить дореволюционный образец взаимодействия с государством, а по возможности и со студентами. Это предполагало сотрудничество с режимом при сохранении «внутренней свободы», с одной стороны, и восстановление известной дистанции с учащимися – с другой. Неизбежным результатом стали относительная изоляция профессорской корпорации и ее все возраставшая уязвимость. Для студента, с концом межстуденческой «войны» и по ходу конструирования новых «границ» по линии корпорация – государство, профессор превращался в главного оппонента, до революции «скрывавшегося» в тени конфликта учащихся с правительством.

Вместо заключения

Эволюция сознания петроградских студентов в 1914–1925 годах: попытка обобщения

Предпринятый нами – по необходимости краткий – анализ позволяет тем не менее схематично обрисовать контуры проделанной учащимися высшей школы Петрограда-Ленинграда эволюции, равно как и предложить вниманию читателя общеметодологические выводы, следующие из настоящего исследования.

I. Перемены внутри и вне студенческой корпорации существенно изменили разделительные линии между государством и студенчеством, студенчеством и профессурой, что, в свою очередь, вызвало «революцию» в самосознании группы.

а) Дореволюционная высшая школа жила под знаком перманентного противостояния

³⁶² Перипетии политики наркомата просвещения и других ведомств на протяжении нэпа и на рубеже 1920–1930-х годов рассмотрены в: *Fitzpatrick Sh.* Education and Social Mobility in the Soviet Union, 1921–1934. Cambridge, 1979; *Bailes K. E.* Technology and Society under Lenin and Stalin: Origin of the Soviet Technical Intelligentsia, 1917–1941. Princeton; New Jersey, 1978; *Anweiler O.* Geschichte der Schule und Pädagogik in Rußland vom Ende des Zarenreiches bis zum Beginn der Stalin-Ära. 2. Auf. Berlin, 1978. S. 187–452; *Holmes L. E.* The Kremlin and the Schoolhouse. Reforming Education in Soviet Russia 1917–1931. Bloomington; Indianapolis, 1991. P. 27–117 и др.

государства, его непосредственных представителей и студенчества. Понимание глубины этого водораздела в сознании каждого студента дает нам конфликт между «академистами» (правительственная «агентура» в университете) и остальным студенчеством. Стремление Наркомпроса опереться на учащихся в реализации планов реформы высшего образования уже в 1918 году привело к трансформации корпоративной идентичности: получив небывалые – по меркам старого режима – права, студенческие лидеры провозгласили лозунг «автономного университета вне политики» центральным элементом корпоративной традиции и на этой базе заключили союз с профессурой. Традиционная роль оппонентов авторитарной российской власти, стремление законсервировать то восприятие-осмысление мира, на котором покоилось влияние студенческой элиты, вынудили ту же элиту к существенным переменам. Однако изменения нарушили равновесие, размывая расстояние между учащимися и учащими. Еще более радикальным шагом стало создание параллельной корпорации «красного» студенчества, всем обязанной революции и новому режиму и служившей ему (режиму) опорой. Чем активнее государство вмешивалось в социальные процессы, протекавшие в университете или институте, тем менее очевидной становилась грань между государственным агентом и «новым» студентом. В то же время на фоне «отступления» революции в высшей школе в середине 1920-х годов произошла реставрация ряда характерных черт студента как представителя маргинальной группы: ему вновь стали приписывать социально-политическую «неблагонадежность», связывая ее с участием в деятельности партийной и комсомольской оппозиции или с аполитичностью, обвиняли в «моральном разложении» и т. п. Чистки в петроградских вузах в 1923/24 учебном году, кампания по борьбе с «есенинщиной» наглядно демонстрировали эту тенденцию.

б) До 1917 года студенческий дискурс о профессоре отличался определенной двусмысленностью: с одной стороны, университетского преподавателя справедливо рассматривали как государственного чиновника, пусть и с особым статусом; с другой – в качестве учителя и старшего коллеги, во многом близкого студенту по *форме* мышления. В качестве служащего профессор вызывал подозрения и опасения, особенно в условиях обострений конфликта университетов с государством. Как «коллега» он осуществлял важнейшую нормализующую функцию, направляя социализацию студента по типу лояльного либерала-чиновника или предпринимателя. В первые годы после революции на передний план вышла именно эта близость габитусов студента и профессора. Но вторжение «пролетарского» студенчества не только восстановило былое напряжение по линии «профессор – студент», но и превратило его в осевой внутривузовский конфликт, который ярко проявился в движении за реформу методов преподавания. Последнее свидетельствовало о рождении нового студенческого габитуса, значительно отличавшегося от габитуса интеллектуала старого режима. Стремившийся к интеграции с «рабочим» государством и его декларируемой социальной базой – пролетариатом студент конструировал себя практиком и рационалистом – своего рода коммунистическим бизнесменом, причем рационализм корректировался базовыми коммунистическими верованиями. Вероятно, именно на основе «прагматизма» остатки «старого» студенчества были абсорбированы «новым». Профессура же казалась угрозой складывавшемуся равновесию *ratio* и *fides*: ее верования сильно отличались от студенческих, и при этом она сохраняла потенциал для экспансии свойственных ей форм мышления (посредством лекции, семинарского занятия, учебного пособия, научного труда, повседневного неформального общения с учащимися). В известном смысле препятствием была неформальная внутренняя «автономия» профессорской корпорации в условиях нэповского десятилетия.

II. Приход в университеты и институты «пролетарского» студенчества, оформленного в независимую корпорацию, привел к подлинной внутривузовской войне в Петрограде 1921–1923 годов. Столкнулись два различных стиля мышления, два «жизненных мира». Катастрофа была тем не менее подготовлена до того – в 1918–1920 годах, именно вследствие несовпадения бурных перемен за университетскими стенами, да и в самой высшей школе, с консерватизмом студенческой корпорации. Более того, реакция студенческой «бюрократии»

на первые внутриуниверситетские перемены осенью – зимой 1918/19 учебного года также существенно нарушила былое равновесие: студенчество получило в свои руки инструменты контроля за жизнью вуза, возможность участвовать в управлении им и тотчас примкнуло к профессуре под лозунгом автономии³⁶³. «Хранители традиции» оказались в результате в весьма щекотливом положении – ратуя за автономный аполитичный университет, многие из них начинали свою общественную карьеру как члены или функционеры различных политических партий. Когда в декабре 1919 года появляется первый рабочий факультет (при I ЛГУ), а в 1921/ 22 учебном году студенческий набор во все вузы города проводится по путевкам советских государственных и общественных структур в соответствии с «классовыми» критериями, «новички» оказываются недоступны влиянию «традиционалистов-автономистов», либо становясь «пролетариями», либо лояльным к этим последним «болотом». «Красное» студенчество приходит в университет или институт со своими собственными языком, бытовым укладом, культурными вкусами, установками в области сексуального поведения (где перемены также начались значительно раньше) и т. д. Открытый конфликт с «традиционалистами» и «мягкий» – с «болотом» оказался в этих условиях неизбежен. Но по мере «завоевания» высшей школы студентами-«пролетариями» вновь происходила маргинализация студенчества. После дискуссии 1923–1924 годов с троцкистской оппозицией, когда значительная – если не большая – часть студентов-коммунистов и комсомольцев поддержала Троцкого, партийно-государственные лидеры не раз выражали беспокойство по поводу различных проявлений «социального нездоровья» в среде «пролетарского» студенчества: идеологическая и моральная неустойчивость, «обуржуазивание» и т. п.³⁶⁴ «Смерть» студенческой политики, признаки приближения которой отмечаются еще в начале 1920-х годов, приводит к «политизации» всего культурного поля, равно как и поля труда (если их можно разделить). В таких обстоятельствах факт увлечения поэзией Есенина приобретает смысл глобальной оппозиции режиму, во всяком случае «несовпадения» с ним. «Умеренное» нэповское десятилетие маргинализирует левый радикализм «нового» студента. Смягчение «классового подхода» к формированию студенческого контингента в середине 1920-х годов не снимает раздвоенности самосознания «пролетария».

III. Студенческий габитус эволюционирует от индивидуалистичных к коллективистским моделям конструирования реальности. Практики дореволюционного студента рассматривались как разрыв с гимназическим принуждением. Собственно индивидуализм мысли и действия может быть определен в качестве студенческой практики до начала эпохи «пролетариев». Последние приносят дискурсивно-практическую картину-реализацию мира, в центре которой – рабочий коллектив. Даже приобретение знаний и художественное творчество могут быть коллективными. Однако нередко «коллективное» оказывается индивидуализирующим: таковы некоторые последствия рационализации быта и сексуальности.

IV. Маргинальность как глубинная студенческая характеристика по факту *социальной позиции/статуса* группы, реконструируемая по-своему каждым новым поколением студентов, проявилась в той же мере в индивидуализирующем, выделяющем дискурсе и практиках дореволюционного студента, как и в «пролетарском коллективизме» «красного» студента нэповских лет. Студенчество оставалось сообществом, открытым социальным экспериментам.

³⁶³ В данном случае мы не касаемся оборотной стороны политики Наркомпроса: не поставив точки над *i* в вопросе об автономии, он передал значительные полномочия по управлению университетом студенчеству, что не могло не привести к альянсу интересов между профессорами и студентами. И первые, и вторые стремились сохранить status quo.

³⁶⁴ По необходимости я значительно упрощаю реалии: еще до того разразилась первая «студенческая кампания» на идеологическом фронте, по сути нацеленная на рабфаковца. Речь идет о «енчмениаде».

И – несколько общих замечаний. Представляется перспективным изучать эволюцию социальной идентичности на «стыках» разных социальных объектов в процессе изменения, отправляясь от известных размышлений Ф. Барта³⁶⁵. При этом необходимо погружение в мир частных индивидуальных опытов, скрупулезно «герменевтически» интерпретируемых, без отрыва языка от практики. Такое погружение выявит, с одной стороны, *случайность* искомым реализаций идентичности, а с другой – *заданность* самой этой случайности. В конечном счете именно многомерность и неуловимость предрешенного допускает произвольность решения. Индивидуальный опыт следует, таким образом, рассматривать не как пример, но как участника, «сотворца» процесса, определяемого как самосознание.

Приложение

От враждебности к общему языку: вокруг конфликтов по призыву студентов в армию в годы Гражданской войны³⁶⁶

Проблемы политики большевиков в высшей школе в годы Гражданской войны неоднократно освещались в отечественной и зарубежной историографии³⁶⁷. Однако студенческий аспект этой политики затрагивался явно недостаточно, в особенности касательно «обратной реакции» студенчества на правительственные меры. Но если в случае российских историков многое объясняется «идеологическими предписаниями» и статусом советской исторической науки, то западная историография, видимо, стала «жертвой» нехватки источников и кажущейся периферийности сюжета. Правда, в самое последнее время ситуация меняется: большая доступность российских архивов уже привела к появлению любопытнейших работ П. Конечного³⁶⁸.

Их публикация – преимущественно по истории студенчества СПбГУ в 1920-е годы – сделала очевидной и значимость самого сюжета. Важность института высшей школы в обществах Нового времени, впрочем, и без того трудно переоценить: готовя интеллектуальную элиту, связывая знание и власть, университет (институт) во многом определил «лицо» этих обществ. Студенты – тот «материал для обработки», из коего должен получиться «натренированный» правящий класс. Неудивительно, что большевики, сама идеология которых претендовала на статус науки, уделяли образованию, в частности

³⁶⁵ *Barth F.* Models of Social Organization // Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland. Occasional Paper. 1966. № 23. P. 3–5.

³⁶⁶ Впервые в: Нестор. 2001. № 1 (5). С. 141–149.

³⁶⁷ См., напр.: 1) *Королев Ф. Ф.* Из истории народного образования в Советской России. (Низшие и средние профессиональные школы и высшее образование в 1917–1920 гг.) // Известия АПН РСФСР. Вып. 102. М.: Изд-во АПН РСФСР, 1959. С. 3–156; 2) *Чанбарисов Ш. Х.* Формирование советской университетской системы. Уфа: Башкирское книжное изд-во, 1973. 472 с. (2-е изд. М.: Высшая школа, 1988. 256 с.); *Катунцева Н. М.* Опыт СССР по подготовке интеллигенции из рабочих и крестьян. М.: Мысль, 1977. 208 с.; 4) *Украинцев В. В.* КПСС – организатор революционного преобразования высшей школы. М.: Высшая школа, 1963. 300 с.; 5) *Fitzpatrick Sh.* The Commissariat of enlightenment. Soviet organization of Education and the Arts under Lunacharsky. 1917–1920. Cambridge: Cambridge University Press, 1970. XVIII + 380 p. и мн. др.

³⁶⁸ *Konetsny P.* Revolution and Rebellion: Students in Soviet Institutes of Higher Education, 1921–1928 // Canadian Journal of History. 1992. Vol. 27. № 3. P. 451–473; *Idem.* State Paternalism, Campus Culture and the Soviet Student Community, 1971–1941. Unpublished manuscript. 42 p.

высшему, самое серьезное внимание. Ленин неоднократно вмешивался в деятельность наркомата просвещения и активно участвовал в определении приоритетов образовательной политики в начале 1920-х годов; не следует забывать того факта, что «курировала» Наркомпрос жена вождя Н. К. Крупская³⁶⁹. Сам нарком просвещения А. В. Луначарский, при всей незначительности его политического влияния, являлся заметной фигурой первых лет революции, известным широкой публике оратором и полемистом³⁷⁰. Тройка Ленин – Крупская – Луначарский фактически определяла правительственный курс в сфере образования в 1917–1920 годах³⁷¹.

Даже неспециалисту очевидно, что отношения новой власти с «населенными» университет профессорами и студентами не могли быть безоблачными. Характер этих коллизий в годы Гражданской войны в Петрограде, именно в связи с призывом студентов в Красную Армию, составляет предмет настоящей статьи.

Теоретической основой исследования автор избрал некоторые модели когнитивной психологии, прежде всего концепции «групповых верований» Д. Бар-Тала, социальной категоризации Г. Тэджфела и социальных представлений С. Московичи. Первая из них представляется «удобной» с точки зрения анализа студенческих представлений и ценностей. Бар-Тал вновь вводит в социально-психологическую науку понятие «коллективного» (группового) верования, освобождая его от метафизичности и анаучности начала века. Единственным носителем этих верований признается индивид: только в психике последнего могут быть представлены нормы, ценности и идеология группы. Интегрированные в общность индивиды наделены сходством в своих верованиях, – хотя бы в одном: «Мы – группа». Базовые характеристики групповых верований, по Бар-Талу, суть 1) центральность, 2) степень доверия, 3) функциональность, 4) взаимная соотнесенность. Очевидно, что степень доверия к «центральному» верованиям у членов группы должна быть максимальной. Центральность измеряется частотой обращения индивида к тем или иным ценностям (нормам и т. п. верованиям) своей группы в повседневной «мыслительной» деятельности. Функции верований различны, но среди них можно выделить две важнейшие – идентификации и информации. Первая позволяет индивиду отождествить себя с тем или иным сообществом, вторая дает ему информацию о собственной группе, мире и обществе. Взаимная соотнесенность означает констатацию того, что верования пребывают не в самоизоляции, но связаны друг с другом³⁷². В результате экспериментов английского психолога Г. Тэджфела был открыт феномен ингруппового фаворитизма, возникающий одновременно с отнесением себя индивидом к любой, пусть даже воображаемой общности. С фаворитизмом неразрывно связана и аутгрупповая враждебность³⁷³. Наконец, французские социальные психологи школы С. Московичи теоретически и методически обосновали понятие «социального представления», заимствованное у Э. Дюркгейма. По определению Д. Жоделе, этот концепт «описывает форму специфического познания, знание

³⁶⁹ Fitzpatrick Sh. Op. cit. P. XII–XIII.

³⁷⁰ О'Коннор Т. Э. Анатолий Луначарский и советская политика в области культуры. М.: Прогресс, 1992. 223 с.

³⁷¹ См. примеч. 1. (в файле – примечание № 369. – *верст.*).

³⁷² Bar-Tal. D. Group Beliefs. A Conception for Analyzing Group Structure, Processes and Behavior. N.Y.: Springer-Verlag, 1990. X + 140 p.

³⁷³ Агеев В. С. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические проблемы. М.: Изд-во МГУ, 1990. С. 21–22, 32–33; Tajfel H., and Fraser C. (eds.). *Introducing Social Psychology*. Harmondsworth: Penguin Books, 1978. P. 423–445.

здорового смысла, содержание которого демонстрирует действие повторяющихся, функциональных и социально окрашенных процессов», или, более абстрактно, «описывает форму социального мышления». «Социальные представления – модальности обыденного сознания, ориентированные на коммуникацию, понимание и освоение социальной среды, материальной и идеальной. Как таковые, они представляют специфические особенности организации содержания, ментальных операций и логики. Социальная маркировка содержания или процессов репрезентации относится к условиям и контексту, в которых возникают эти представления, к коммуникации, посредством которой они циркулируют, к функциям, которые они обслуживают во взаимодействии с миром и другими представлениями». Таким образом, современный индивид осмысливает окружающий его мир и свое место в нем в форме «социальных представлений», облегчающих задачу при столкновении с «неожиданным»³⁷⁴. Применительно к обсуждаемому сюжету – студенчество и власть в 1917–1920 годах – использование мною перечисленных концепций будет упрощенным: они помогут интерпретировать и структурировать историческую реальность. Однако мы не пользуемся при этом трудоемким научным аппаратом социальной психологии. С точки зрения последней данная работа – отнюдь не строгое исследование. Ориентиром для моего «псевдонаучного» метода был анализ Д. Бар-Талом антисемитских «верований» в нацистской Германии в 1933–1945 годах³⁷⁵. Кроме того, «успокоению» автора служила опора на историографическую традицию скрупулезного изучения документов и литературы вопроса, что само по себе позволяет выявить центральные (в барталовском смысле) верования студенчества рассматриваемого периода со значительной степенью достоверности.

В уже упомянутых выше работах П. Конечного широко используется понятие студенческой субкультуры³⁷⁶. Оно также дает возможность «перекинуть мостик» к новым подходам, основанным на теориях современной когнитивной социальной психологии. Канадский историк показывает, как весьма устойчивая в своей изолированности, элитарности и одновременно маргинальности субкультура российского студенчества абсорбирует разнообразные «интервенции» советского режима, сохраняя, однако, свою идентичность³⁷⁷. В связи с этим любопытно проследить начало советских «приключений» одного из центральных верований дореволюционного студента – идеологии автономизма и самоуправления, враждебности к самой идее (не говоря о практике) государственного вмешательства в жизнь университета.

Важным элементом этой идеологии являлось негативное отношение к институту армии и к армейской службе: последняя обычно воспринималась как наказание. Прежде всего из-за практики разжалования студентов в солдаты за оппозиционные настроения, что было обычной мерой российского правительства в девятнадцатом – начале двадцатого века³⁷⁸. Хотя не исключено и более «сложное» понимание данного феномена. Как известно, армия входит в число важнейших «дискурсивных» институтов новоевропейского общества, посредством которого (наряду со школой, тюрьмой, медициной) формируется гражданская

³⁷⁴ *Moscovici S.* (ed). *Psychologie sociale*. Paris: Presses Universitaires de France, 1984. P. 356–389 (особо р. 361–362).

³⁷⁵ *Bar-Tal. D.* Op. cit. P. 104.

³⁷⁶ *Konecny P.* State Paternalism. P. 4–8.

³⁷⁷ *Ibid.* P. 7–8.

³⁷⁸ См., напр.: *Георгиевский А. П.* Краткий очерк правительственных мер и предначертаний против студенческих беспорядков. СПб., 1890, и др.

личность. Армия обеспечивает постоянное ощущение контроля и экзамена, способствуя закреплению общепринятых практик. Однако в зависимости от образовательного и социального, – что взаимосвязано, – ценза отношение к этому институту вариабельно. Почему армейская служба и карьера чаще всего пугала и, одновременно, вызывала насмешки интеллигенции и, в частности, студенчества? Обычный ответ: из-за потери личной свободы, подавления личности, «механизации» человека. Но такие оценки могут возникнуть только у личности уже «готовой». Очевидно, субъекты, подвергнутые особенно глубокому воздействию различных «дискурсивных» институтов общества еще до армейской службы, в известном смысле не нуждаются в ней. Многим же «простым людям», прежде всего крестьянам, армия – и только она – давала возможность стать (и ощутить себя) «персоной», именно через ужасавшую интеллектуала муштру. (Эти рассуждения не стоит понимать в том смысле, что крестьянин «любит» армию, – если это слово здесь вообще уместно, – однако «не любят» ее студент и крестьянин по весьма разным мотивам. Крестьянская «воля» имеет мало общего с новоевропейской «свободой».) В анализируемых нами обстоятельствах традиционно враждебное отношение студента к институту армии дополнялось, мягко говоря, настороженностью к тому новому общественному укладу, который Красная Армия олицетворяла.

На второй год Великой войны (в апреле 1916-го) русское правительство все же пошло на массовую мобилизацию студентов. Передавая студенческий разговор «во дворе воинского присутствия», мемуарист выделяет фразу: «...казарма, по сути дела, не страшна, так как будем все вместе и сломить себя все-таки не дадим»³⁷⁹. Позже, уже после призыва автора дневника, следуют записи о «горьких монотонных часах» и «всевозможных издевательских выходках» унтер-офицеров и взводного, а сама казарма противопоставляется «задушенно вольной студенческой жизни»³⁸⁰. Таков был дореволюционный «фон», с которым столкнулись большевики в период студенческой мобилизации 1919–1920 годов.

Необходимо сказать несколько слов и о настроениях петроградских студентов в послеоктябрьские месяцы. Солидарное с большей частью столичной интеллигенции студенчество не обнаруживало энтузиазма по поводу нового переворота. Стачек, на манер школьных учителей, в вузах, однако, не было. Оставался открытым вопрос о реформе университета – вопрос, который начали обсуждать еще при Старом режиме, а после Февраля поставили в «порядке дня»³⁸¹. По-прежнему тощим был кошелек российского студента – его положение в годы Первой мировой войны даже ухудшилось. Наконец, политически петроградское студенчество 1917 года колебалось между кадетами и умеренными социалистами (эсерами и меньшевиками), хотя степень политизации вузовцев преувеличивать не стоит – после 1905 года, а в еще большей степени с начала 1910-х годов политическая активность сместилась на периферию студенческой жизни и, возможно, сознания. Тем не менее традиционные лидеры студенческих сообществ – так называемые «вечные студенты», как правило, имели четко выраженные политические ориентации. Большевицкая организация петроградских студентов – крайне немногочисленная – функционировала не столько в студенческой, сколько в рабочей и солдатской среде³⁸².

³⁷⁹ Воронков Мих. Из жизни дореволюционного студенчества. М.: Изд-во МГУ, 1947. С. 16.

³⁸⁰ Там же. С. 37, 40 и др.

³⁸¹ Королев Ф. Ф. Указ. соч. С. 88–90.

³⁸² См. о ней в: Бухбиндер Н. А. Студенческая организация при Петроградском комитете РС.-Д.Р.П. (больш.) // Красная летопись. 1923. № 6. С. 293–301; Виленский Б. В. Студенческая организация при ПК РСДРП(б) // Вестник высшей школы. 1959. № 3; 3) Купайгородская А. П. Высшая школа Ленинграда в первые годы Советской власти (1917–1925 гг.). Л.: Наука, 1984. С. 36–39 и др.

Практически сразу же после революции выявилось намерение новых властей подорвать элитарный характер студенческого сообщества, открыв двери высшей школы для представителей низших классов, не имевших для этого формально – а часто и фактически – необходимой образовательной базы. Эти планы с неизбежностью должны были столкнуться с «элитарными» установками студентов и профессуры.

Наконец, весной и летом 1918 года в стенах университета «укрылись» многие бывшие боевые офицеры минувшей Великой войны. С осени 1918-го началось практическое осуществление «демократического эксперимента» Советской власти в высшей школе: с отменой аттестатов и вступительных экзаменов в университет хлынул поток слабо подготовленной молодежи. Однако, столкнувшись с сопротивлением сплоченных корпораций студентов и профессуры, струя эта быстро истаяла – частью будучи ассимилированной средой, частью вытесненная последней. Ставка же Наркомпроса на студентов в противостоянии с профессурой быстро обнаружила свою несостоятельность: студенчество не приняло политики наркомата. Наделенные публично-правовыми функциями Советы старост прекрасно находили общий язык с администрацией вузов, зачастую совместно, подготавливая «реформы» в рамках отдельно взятых учебных заведений, как это было в Петроградском университете. Как следствие, нарастал новый конфликт – уже между Наркомпросом и студенчеством³⁸³.

В этой предгрозовой атмосфере и разразился гром – призыв первых трех курсов вузов в Красную Армию в мае 1919 года. Еще до того, в соответствии с декретом от 16 февраля 1919 года, призывали офицеров из числа студентов младших курсов. В связи с этим интересно проанализировать сохранившиеся в ЦГА С.-Петербурга письма студента Ф. Леонтьева от 7 января 1919 года и анонимного «студента-пролетария» от 23 апреля того же года.

Автор первого из них акцентирует внимание на «большом количестве студентов – бывших офицеров, – пользующихся отсрочкой от призыва на неопределенное время». Логика письма незамысловатая: указанные учащиеся – «студенты лишь на бумаге», иной раз откровенно признающиеся, что «водят за нос» Советское правительство, поэтому резонно было бы отправить их на фронт, где они не будут «объедать своих товарищей в Петрограде и ничего не делать»³⁸⁴. Текст письма отчасти «наваян» сложностями с социальным обеспечением (давняя проблема российской высшей школы!), отчасти же – противоречиями, спровоцированными этими нехватками. В 1919 году еще не существовало двух студенческих субкультур (это не означает, что автор представляет себе дореволюционное студенчество «единым и неделимым») – первые рабфаковцы появятся в Петрограде только в конце этого года. Конфликт носил «поколенный» характер, имея так называемые «экономические» мотивы (наличие же сугубо «политических» сомнительно). Резонно в связи с этим напомнить о распространении уравнилельных настроений в ходе революции и Гражданской войны. Принцип «равенства», многократно обоснованный и «распропагандированный» в социалистической печати (и не только в ней), сформировал, пользуясь языком Московичи, соответствующее социальное представление. Ситуация с офицером-студентом рассматривается автором письма не столько в «политическом», сколько в экономическом аспекте: «объедают», «ничего не делают». Здесь «правит» дискурс «классовой борьбы» (поэтому, кстати, нужно вспомнить и о реалиях момента: «записных» студентов в начале 19-го года было «пруд пруди» – во всяком случае, в старых престижных вузах города). Вера в элитарный характер своей группы, важная в случае студенческой корпорации, противопоставляла универсанта любым чужакам, в том числе (и, может быть, – тем более) бывшим офицерам. Здесь, как мне представляется, наблюдается феномен аутгрупповой

³⁸³ *Жаба С.* Петроградское студенчество в борьбе за свободную высшую школу. Paris: J. Povolozky à C°, б.г. С. 11–15.

³⁸⁴ Центральный государственный архив С.-Петербурга (далее – ЦГА СПб.). Ф. 2555. Оп. 1. Д. 91. Л. 17.

враждебности. В самом деле, пришедшие в университет лишь ради спасения от призыва и более с ним ничем, казалось бы, не связанные демобилизованные остались вне сообщества и его «символа веры». Тем паче это могло раздражать новичков набора 1918 года.

Для «выплескивания» раздражения «использовались» социальные представления и языковые клише времени. И по иронии судьбы, элитарность выражала себя в эгалитарной риторике, а язык власти становился официальным языком студенческого сообщества.

Второй текст стилизован – трудно сказать, насколько намеренно, – как речь студента-рабочего (?), сочувствующего власти. Его автор – из тех самых бывших офицеров, которые так раздражали предыдущего корреспондента. Примечательно прежде всего обращение студента-офицера к адресату – письмо направлено «дорогому вождю» (предположительно Г. Е. Зиновьеву). Такой стиль, мягко говоря, не соответствует имиджу петроградского студента тех лет. Автор педалирует два устойчивых социальных представления эпохи Старого режима – об оппозиционности студенчества царизму и об армии – как наказания за эту оппозиционность и средстве «ломки» студенческого мировоззрения и солидарности. «Нашим лучшим революционерам, – говорится в письме, – хорошо известно, что студенчество всегда было ненадежным элементом государства, „врагом внутренним“, как учили по уставу. Волею царских палачей и приспешников, 3/4 студенчества русского оторвали от работы, к которой влекла жажда знаний. Сначала нас помещали в „студенческие батальоны“, где выколачивали студенческий дух, а потом на 4–5 месяцев учили повиноваться мордобойцам – офицерам кадровой службы и, надев шинель с погонами прапорщика, гнали на убой, как пушечное мясо, „за веру“, „даря“ и „отечество“»³⁸⁵. И хотя корреспондент следом подчеркивает долг «бывших офицеров буржуазного строя» помочь Красной Армии, «совпадение» знаменательно – говорится о различии, но выделяется сходство. Текст должен напомнить «дорогому вождю» интимное – студенческую субкультуру рубежа веков с ее общепринятым языком. Чувствуется опытная рука «вечного студента», каковой и доминировал в старостатах и петроградском Центральном Общестуденческом комитете 1919 года. Любопытна и «атака» на неслуживших студентов, эксплицитно выраженная в тексте письма: «Горько и досадно было смотреть на товарищей сверстников, не испытавших лямку военщины и тем самым имевших возможность нормально заниматься. Сейчас они третьего-четвертого курса студенты, их берут на учет как специалистов, а нас снова отрывают для военной службы»³⁸⁶. Здесь обнаруживается перспектива субгруппы внутри студенчества «из демобилизованных» с фронтов Великой войны, – впоследствии отчасти реализованная в «новом студенчестве». Во всяком случае, представление по типу «Мы – группа» у автора письма явно присутствует. Налицо и феномен ингруппового фаворитизма (я не ставлю здесь проблему анализа субгруппового символа веры 1919 г. – слишком мало материала). Ритуальные фразы, на манер: «Великая рабоче-крестьянская революция в размахе нового строительства на началах мира позволила вернуться в стены школы», – это следы уже принятого языка общения с властью. Необычная в студенческом тексте ситуация «бытового рассуждения» о «буржуа», желающих «поднабить кошину»: корреспондент откровенно пытается имитировать речь «человека из народа», «пролетария», фигура которого оказалась в центре официального дискурса. Конфликт вокруг призыва разрешается на «поле власти», средствами ее языка и по ее правилам. Это согласуется с эмигрантскими свидетельствами вышеупомянутого С. Жабы, разве что мельком отметившего просьбу одной из петроградских сходок демобилизовать призванных студентов³⁸⁷. Да и возможности для протеста против призыва в армию в

³⁸⁵ ЦГА СПб. Ф. 2555. Оп. 1. Д. 91. Л. 40.

³⁸⁶ Там же. Л. 41.

³⁸⁷ Жаба С. Указ. соч. С. 28.

условиях Гражданской войны были предельно сужены, исключая разве что уговоры. Зато расширилось пространство для конфликта внутри самого студенческого сообщества (последнее подтверждается обоими письмами). При этом, однако, не стоит определять сложившуюся «диспозицию» как уникальную: культура кампуса, тем более студенчества в целом, никогда и нигде не была чем-то однородным, ибо сами условия студенческой жизни более чем разнообразны. Интересно же появление действительно новой в стенах университета группы – бывших военнослужащих. Для неслуживших студентов эти последние отождествлялись с армией даже после возвращения на студенческую скамью. Далее начинали «работать» традиционное социальное представление об армейском институте и, автоматически, естественная аутгрупповая враждебность, усилившаяся на почве конкуренции за скудные материальные ресурсы и за право продолжать обучение в условиях войны. (Сам факт призыва впоследствии и тех и других мало что меняет.) В атмосфере конкуренции лояльной власти язык служит в качестве «стратегического оружия» разрешения конфликта. Так, «студент-пролетарий» апеллирует к революционной традиции студенчества начала века, Ф. Леонтьев обвиняет бывших офицеров в том, что они «водят за нос Советское правительство»³⁸⁸. Позднее, с начала 1920-х годов, вопрос лояльности станет центральным в студенческой политике властей, хотя «подходы» к его разрешению формулировались уже в 1918–1920 годах.

Цитированный выше фрагмент об «объединении» заставляет вспомнить о развернувшейся в конце зимы – начале весны 1919 года борьбе между Наркомпросом и студенчеством за право контроля за распределением социальной помощи³⁸⁹. Наркомат решил сформировать «тройки», в которых только один голос принадлежал бы Советам старост, да и то после утверждения местным органом комиссариата. Факт наличия «объедающих» антисоветских офицеров оказался отчасти направленным против старостатов и Центрального Общестуденческого комитета, давая лишние козыри проекту наркомата. Последнее позволяет предположить принадлежность студента Леонтьева к малочисленной большевистской парторганизации студенчества города. Однако, что меняла бы эта вероятность в наших выводах? Почти ничего, ибо логика письма явно диктовалась студенческими настроениями момента, да и учитывала возможность мобилизации всех студентов младших курсов.

Осенний призыв 1919 года большей части петроградского студенчества (в связи с наступлением Юденича), исключая медиков и инженеров старших курсов, получил примечательное освещение у того же Жабы. Последний интерпретировал происшедшее, используя клише студента начала века – будь то сам факт призыва, будь то армейский институт: «Мобилизация эта явно имела полицейско-карательные цели. <...> Мобилизованные студенты были отправлены во Владимир, где провели несколько ужасных месяцев. Их держали впроголодь; не давали, в виде особого, должно быть, издевательства, воды для умывания; подвергали самому грубому обращению. Чтобы не умереть с голоду, они принуждены были распродать все, что имели, оставшись буквально в одних шинелях»³⁹⁰. Этос «вечного студента» не менялся: мобилизация – наказание, армия – деградация и разрушение студенческой личности. Эта риторика подчинена, таким образом, давно сложившемуся дискурсу, который «говорил» и в анонимном послании «дорогому вождю» от имени «студента-пролетария».

Разбор конфликтов в студенческой среде в связи с призывом в Красную Армию позволяет, таким образом, отметить стабильность, при всех трансформациях, в студенческих

³⁸⁸ См. примеч. 1 на с. 155. (в файле – примечание № 384. – *верст* .).

³⁸⁹ *Жаба С.* Указ. соч С. 15–21.

³⁹⁰ Там же. С. 25.

групповых верованиях: традиционные представления об армии (власти), их «смещение» у части обитателей кампусов на соучеников – бывших офицеров, принятие ритуального языка при общении с властью и, возможно, друг с другом, формирование субгруппы демобилизованных студентов. Символ веры российского студента не изменился.

Сексуальность и власть: сексуальные дискурсы 1920-х – начала 1930-х годов (от конкуренции к иерархии)

*Без понимания развития сексуальности в
Советском Союзе нельзя понять и культурной
эволюции этой страны.*

В. Райх. Сексуальная революция

*Мы устраним элемент пола из человеческих
отношений и освободим дорогу чистой
душевной дружбе.*

А. Платонов. Антисексус

*Любви у нас нет, у нас есть только половые
отношения.*

П. Романов. Без черемухи

Известная историкам нэповского периода атмосфера социального «хаоса» выразилась во множественности и известной равноправности различных жизненных дискурсов и практик, что проявилось как в текстах – художественных, политико-пропагандистских, научных, так и в реальных жизненных ситуациях. По мере стабилизации система сосуществования и (или) конкуренции сменялась иерархией, а затем (в силу «жесткости» системы) и конфискацией маргиналов из сферы письменного дискурса и вытеснением их в исключительно «устные» дискурсы и подпольные практики. Это ясно прослеживается в науке (в силу специфичности последней). Я попытаюсь показать, как тот же процесс проявился в «базовой» для человека области – области обращения сексуальных практик, ибо новый социум творит нужное ему человеческое тело (и наоборот).

По мнению американского историка Г. Варшавски-Лapidус, среди большевистской элиты 1920-х годов были распространены два подхода к половой проблеме – либертарианский (в лице А. М. Коллонтай прежде всего) и инструментальный (здесь трудно назвать какого-то лидера – в данном ключе писали столь разные люди, такие как Е. А. Преображенский и А. Б. Залкинд)³⁹¹. На мой взгляд, палитра не исчерпывалась только двумя цветами, поскольку встречался и онтологический подход в духе В. Райха (см. далее о книге Л. Сэвли «Кто виноват?»), и уж тем более «традиционный». Такая многовариантность ощущалась и самими современниками: Преображенский, например, писал об отсутствии четкой партийной позиции в вопросе о путях развития полового быта и о «навязывании» пишущими на эту тему большевиками наиболее приемлемого для того или иного автора образа жизни: либо на манер Маркса (уклад семейной жизни которого Преображенский считал «несколько филистерским»), либо беспорядочного полового общения (промискуитета)³⁹². Достаточно простой, на первый взгляд, вопрос о соотношении

³⁹¹ Warshofsky Lapidus G. Women in Soviet society. Equality, Development and Social Control. Berkeley, California, 1978. P. 54–94.

³⁹² Преображенский Е. А. О морали и классовых нормах. М.; Л.: Госиздат, 1923. С. 97–98.

перечисленных дискурсов и практик, – за очевидностью несомненного (по крайней мере, до середины 1920-х) преобладания в текстах инструменталистской версии, – осложняется данными социологических опросов и выдвиганием «традиционных» ценностей на ведущие позиции к середине 1930-х годов. Для разрешения проблемы обратимся к рассмотрению четырех дискурсов о сексуальности как данностей и в их взаимодействии и взаимовлиянии, учитывая существовавший исторический контекст.

1. Либертианство: дискурс и практика

Либертианский дискурс не был порождением Октября (как, впрочем, и остальные дискурсы-практики): он ведет свою родословную от взглядов нигилистов и Чернышевского и тесно связан с феминистской теорией и практикой в России и Европе до Первой мировой войны. В центре его – проблема «любви», рассматриваемой как нечто самоценное. Эта интерпретация проистекала из представлений об обществе будущего как о царстве солидарности, сводившейся А. М. Коллонтай к «сознанию общности интересов» и «духовно-душевной связи» между членами трудового коллектива. Соответственно Александра Михайловна часто прибегала к поэтическому языку («крылатый» и «бескрылый эрос», «многострунность чувств», «любовь-товарищество», «великая мятежница» и т. п.), а иногда и прямо обращалась к лирической поэзии А. А. Ахматовой. Ее программные представления воплощены в формах беллетристики или «интимной переписки» с молодой комсомолкой. «Эмоциональное» – как бы несущая конструкция в либертарианской системе взглядов и ценностей. Сексуальная практика здесь неотъемлемо сопрягается с «душевной эволюцией связующего и, следовательно, организующего характера» и без любви вырождается в «нездоровую похоть». Пространственно-временной континуум любви имеет весьма относительные характеристики: в данной системе координат возможны полигамные и моногамные формы «брака» неопределенной продолжительности – точнее сказать, равной продолжительности любви. Половая связь у Коллонтай мыслится и формулируется в контексте обостренного внимания к дихотомии «доминирование – равенство»: выделяются три императива любви-товарищества – 1) равенство мужчины и женщины (как реальный факт), 2) взаимное признание равных прав друг друга, 3) так называемая «товарищеская чуткость»³⁹³. Последнее понятие раскрыто в коллонтаевской статье «О „Драконе“ и „Белой птице“» и в ее повестях, героини которых страдают от невнимания их возлюбленных к ним как самостоятельным общественным субъектам – в том числе как интеллектуалкам («Большая любовь», «Василиса Малыгина») ³⁹⁴. В этом же ключе можно рассматривать и акцент на женском восприятии проблемы пола: «Нельзя оценивать и разбирать явления, опираясь лишь на мужское восприятие. Особенно когда дело идет о проблемах пола, о старой, как само общество, „загадке любви“»³⁹⁵. Само собой разумеющимся представляется и стремление Коллонтай минимизировать социальные издержки материнства, что проявилось как в деятельности Александры Михайловны на посту наркома государственного призрения и заведующей Женотделом ЦК РКП(б), так и в ее литературном творчестве. Разделяемое всеми большевистскими идеологами требование общественного воспитания детей как нельзя лучше отвечало этой ориентации. Принципиальным было для Коллонтай

³⁹³ Коллонтай А. М. Дорогу крылатому Эросу! (Письмо к трудящейся молодежи) // Молодая гвардия. 1923. № 3. С. 123. См. также три других ее «письма» по вопросам новой морали: Каким должен быть коммунист? // Там же. 1922. № 1–2; Мораль как орудие классового господства и классовой борьбы // Там же. 1922. № 6–7. С. 128–136; О «Драконе» и «Белой птице» // Там же. 1923. № 2. С. 163–174.

³⁹⁴ Коллонтай А. М. Любовь пчел трудовых М.; Пг.: Госиздат, 1923; *Она же* (под девичьей фамилией Домонтович А.). Женщина на переломе. М.; Пг.: Госиздат, 1923.

³⁹⁵ Коллонтай А. М. О «Драконе»... С. 163.

положение о важном социальном значении любви (см. выше о солидарности), что подразумевало право на вмешательство трудового коллектива в частную жизнь своих членов: «...идеология рабочего класса гораздо строже и беспощаднее будет преследовать „бескрылый Эрос“ (похоть, одностороннее удовлетворение плоти при помощи проституции, превращение „полового акта“ в самодовлеющую цель из разряда „легких удовольствий“), чем это делала буржуазная мораль»³⁹⁶. Причем любопытно, что надзирателями и судьями предполагались все те же товарищи по трудовому коллективу, а не государственные инстанции и партийные органы: такая схема позволяет нам вспомнить о платформе «рабочей оппозиции», одним из лидеров которой была Коллонтай («Для рабочей оппозиции социализм должен был быть прямым достижением рабочего класса, если он вообще мог быть реализован», – пишет Р. Дэниэлс). Иначе говоря, конструируется самоуправляющееся гражданское общество с «прозрачными» отношениями (М. Фуко писал в связи с этим о «паноптикуме» И. Бентама). Подобно концепции двустадийного общества будущего, Коллонтай писала об эволюции от «любви-товарищества» к «любви-солидарности», которая окончательно сняла бы проблему отчуждения влюбленных от коллектива (т. к. новая «форма полового общения» будет базироваться «на здоровом, свободном, естественном (без извращений и излишеств) влечении» или на «преображенном Эросе»)³⁹⁷. Что касается собственно «физиологической» стороны вопроса, либертарианцы разделили «гидравлическую» гипотезу о круговороте энергии в организме и потому указывали на вред «излишеств», ведущих к снижению «запаса трудовой энергии в человечестве»³⁹⁸.

«Прикладную разработку» идеи Коллонтай получили, по причине политического статуса самого теоретика, в вопросе об отношении Советской власти к проституции (и, пожалуй, только в нем). Критика проституции велась в контексте все тех же рассуждений о равенстве полов, солидарности и интересах трудового коллектива. «Мужчина, купивший ласки женщины, – декларировала зав. Женотделом ЦК РКП(б) в 1920 году, – уже перестает в ней видеть равноправного товарища». Далее: проституция создает «громадный вред... чувству солидарности, товарищества между сочленами трудовой республики – трудящимися женщинами и мужчинами». Кроме того, выясняется и весьма конкретный экономический ущерб от занятий проституцией для коллектива трудящихся: ведь проститутка в условиях всеобщей трудовой повинности – «дезертир труда». Любопытно, что в представлении Коллонтай жена-домохозяйка, «не участвующая в трудовой повинности и не несущая работы на малых детей в семье», приравнивается к проститутке-дезертирке, как продавшая «свои ласки законному мужу». Эта критика современного, традиционного по содержанию, брака как нельзя лучше «высвечивает» либертианский, антиавторитарный пафос Александры Михайловны. Люди будущего представляются ей наделенными «более развитыми социальными чувствами, взаимно независимыми, свободными, здоровыми и смелыми». Ячейкой этого общества становится коллектив, исключаяющий «замкнутую в себе семейную ячейку, с ее родственными скрепами, с ее семейным эгоизмом, честолюбием и обособленностью»³⁹⁹. Разумеется, в таком обществе проблема проституции отпадет сама собой.

Утопия Коллонтай – дискурс, обосновывавший весьма экзотическую для Советской России начала 1920-х годов сексуальную практику. Сама теоретик приписывает ее «тонкому

³⁹⁶ Коллонтай А. М. Дорогу крылатому Эросу! С. 122.

³⁹⁷ Там же. С. 123; Дэниэлс Р. Социалистические альтернативы в споре о профсоюзах // Россия в двадцатом веке. Историки мира спорят. М.: Наука, 1994. С. 360.

³⁹⁸ Коллонтай А. М. Дорогу крылатому Эросу! С. 122.

³⁹⁹ Коллонтай А. М. Проституция и меры борьбы с ней. М.: Госиздат, 1921. С. 3–23, особо. С. 22.

слою пролетарского авангарда, тесно связанному с пролетарским мировоззрением»⁴⁰⁰. Весьма вульгарно критиковавшая Коллонтай ее преемница в женотделе П. Виноградская также пишет о «немногочисленных верхушечных группах»⁴⁰¹. Возможным прообразом такой практики считали роман А. М. Коллонтай с П. Е. Дыбенко. Однако история этого брака, как и судьбы персонажей коллонтаевских повестей (из цикла «Любовь пчел трудовых»), демонстрировала трудноосуществимость такой модели⁴⁰². Зато можно смело говорить о «проникновении» коллонтаевского дискурса в другие дискурсы и практики 1920-х годов (также «верхушечно-интеллигентские», конечно).

2. Инструментализм

По сравнению с фрагментарным «либертарианством» инструментализм получил значительно более обстоятельную разработку. Этот дискурс представляет сотни (если не тысячи) текстов, с середины 1920-х годов он широко распространен и официально признан. Однако, подобно «либертарианцам» и «онтологистам», инструментализм имел (как всякий дискурс) опосредованное влияние на практики «простонародья». Его адептов объединяет несколько фундаментальных принципов. Во-первых, они трактовали половую проблему как несамостоятельную и второстепенную по сравнению с другими социальными (социобиологическими) вопросами, то есть рассматривали ее (проблему) либо с точки зрения «сублимации» сексуальной энергии для общественно полезных нужд («гидравлики»), либо в контексте евгенического, либо как вопрос о женской эмансипации. Во-вторых, все инструменталисты апеллировали к «науке», более того – стремились построить рационализированную утопию на «научной основе». Так, их источниками были фрейдовский психоанализ, евгеника, русская рефлексологическая школа И. П. Павлова – В. М. Бехтерева, работы Э. Штейнаха – Воронова по омоложению. Идеологически исходной точкой инструменталистских построений являлась марксистская (или марксистскообразная) критика буржуазного брака. Подобно утопиям эпохи Просвещения⁴⁰³, в текстах инструменталистов идеалом предстает рационализированная и упрощенная сексуальность (пожалуй, даже механизированная). Наверное, можно говорить об определенном родстве этого дискурса с дискурсом нотовцев, тоже стремившихся к достижению максимальной производительности труда в производственном процессе на основе системы Тейлора. Характерно в этой связи частое использование инструменталистами «индустриальной» терминологии: «Человек... – фабрика со многими корпусами, и в каждом корпусе много комнат» (И. Шульц)⁴⁰⁴. Знаменательно и то, что при известном влиянии психоанализа в инструменталистском дискурсе господствовал редукционистский подход к психологии сексуальности, что, видимо, должно ассоциироваться с рефлексологией Бехтерева. В результате инструменталисты видели в половой любви только биологический институт: «Любовь... есть такая страсть или... сильное чувство, которое является у человека лишь в связи с представлениями о половом акте, с выполнением которого эта страсть-любовь угасает на известное время»

⁴⁰⁰ Коллонтай А. М. О «Драконе»... С. 164.

⁴⁰¹ Виноградская П. Крылатый Эрос тов. Коллонтай // Коммунистическая мораль и семейные отношения. Л.: КУБУЧ, 1926. С. 114–115.

⁴⁰² Коллонтай А. М. Любовь пчел трудовых. См. также: Potter C. Alexandra Kollontai. N.Y., 1980.

⁴⁰³ Vaszko B. Lumière de l'utopie. Critique de la politique. Paris: Payot, 1978.

⁴⁰⁴ Шульц И. Биологический очерк // Половой вопрос. М.; Л.: Молодая гвардия, 1924. С. 18.

(И. М. Ткаченко) ⁴⁰⁵ . Одним словом, сексуальное тело в инструментализме дисциплинируется и тренируется на основе рекомендаций «науки», идеологической и социальной целесообразности, хотя субъект и техника этого тренинга понимаются по-разному. Рассмотрим кратко эти различия.

а) «Рационалисты» (сторонники «теории стакана воды»).

«Рационалисты» составляли весьма немногочисленную (в сумме текстов) группу. Они считали отношения между полами «выражением игры между общественной экономикой и физической потребностью» (Ленин) ⁴⁰⁶ . В этой «анархической» интерпретации новое общество создало все условия для свободного проявления биологического инстинкта. Поэтому формы сексуальных практик в рационалистической утопии варьировали у разных авторов, имея в виду создать для их свободного осуществления максимально благоприятные условия: одни предлагали «дома свиданий под опекой государства»⁴⁰⁷, другие же, например пермский студент Степан Смирнов, писали о непродолжительных (до изменения условий существования, т. е. работы, увлечений, местопребывания и т. п., или до появления «новой любви») парных браках⁴⁰⁸. В представлениях «рационалистов» сексуальное тело никем и ничем не «ограничивалось», кроме медицинской профилактики, и могло удовлетворять «половой инстинкт» подобно другим биологическим инстинктам – жажде, голоду и т. п. Общество же и государство только нейтрализуют «последствия» полового акта, обобществив детей и обеспечив доступность противозачаточных средств и – особенно важно! – аборта⁴⁰⁹. Важным было и стимулирование сексуальной активности женского тела, в равной степени с мужским: «Необходимо доказать женщине, что воздержанность и стыд перед половым актом вредны, а не полезны. Женщина должна смотреть на половой акт, как и мужчина. Она должна отказаться от оборонительной политики и перейти к наступательной, то есть необходимо увеличить предложение женского тела» (студент третьего курса Одесского педагогического института)⁴¹⁰. Другой лейтмотив – требование немедленной социализации детей, в крайнем случае (как паллиатив) – решение проблемы по добровольной договоренности между супругами⁴¹¹.

«Рационализм» получил резко отрицательную оценку Ленина⁴¹² и не случайно (см. ниже) связывался с именем Коллонтай.

⁴⁰⁵ Ткаченко И. М. О половом вопросе. Киев, 1926. С. 78.

⁴⁰⁶ Цеткин К. Из записной книжки // Воспоминания о В. И. Ленине. Т. 5. М.: Политиздат, 1979. С. 46.

⁴⁰⁷ Гельман И. Половая жизнь современной молодежи. М.; Пг.: Госиздат, 1923. С. 116

⁴⁰⁸ Смирнов С. Мысли о сущности старой и новой любви // Студент-пролетарий (Пермь). 1924. № 2. С. 29. Более «дальновидные» авторы переносили реализацию своего «физиологического» идеала в коммунистическое общество: Кржишковский К. Н. Физиология половой жизни. Л.: Прибой, 1928. С. 24–25.

⁴⁰⁹ Об аборте как факторе женской эмансипации см.: Голошапова Л. Аборт и молодежь // Студенческая мысль (Саратов). 1923. № 8–9. С. 29–30.

⁴¹⁰ Ласс Д. И. Современное студенчество. М.; Л.: Молодая гвардия, 1928. С. 211.

⁴¹¹ Смирнов С. Указ. соч. С. 29; Ласс Д. И. Указ. соч. С. 212.

⁴¹² Цеткин К. Указ. соч. С. 46–47.

б) «Умеренные».

К этой ориентации относится большинство текстов инструменталистского дискурса. Многие из них написаны профессионалами-врачами, гигиенистами и др. «спецами». Сексуальность рассматривалась ими под углом зрения «гидравлической гипотезы» о круговороте энергии в организме: тем самым энергетические «затраты» на половую жизнь были своего рода «кражей» у интеллекта и физического здоровья. Только общественно и биологически «полезная» цель – воспроизводство населения – могла оправдать похищение. Поэтому сексуальное тело «умеренных» оказывалось репрессированным и максимально ограниченным в своих проявлениях. В крайнем варианте, например у Е. А. Преображенского, отдельные группы «биологически неполноценных» тел (венерические больные и т. п.) исключались из числа «размножающихся» и обязывались сами в себе подавлять «половой инстинкт», а в перспективе допускалась возможность искусственного «полового подбора» под контролем социалистического государства, или «путем непосредственного вмешательства науки» (после отмирания государственных институтов)⁴¹³. Характерно, что именно государство или, как в платоновской утопии, ученая элита «метят» тела как сексуально неполноценные, руководствуясь рекомендациями евгеники (или вообще «науки»). В этой авторитарной схеме пространство пола было реорганизовано по системе Тейлора. Однако большинство «умеренных» все же подчеркивали необходимость общественно-государственного контроля за сексуальным телом, что ярко проявилось в ходе дискуссии по проекту нового брачно-семейного кодекса РСФСР в 1925 году. Камнем преткновения стал тогда вопрос о браке де-факто и об алиментах. Сам факт закрепления в законодательстве равенства последствий браков де-юре и де-факто, в том числе в отношении прав на совместно нажитое имущество, алименты, а также упрощенной процедуры развода знаменовал важную победу «умеренных» инструменталистов. Сферой государственного контроля за сексуальностью охватывалось материальное обеспечение ребенка, и эта минимизация стимулировала углубление кризиса традиционной семьи. Такая позиция объединяла людей, оказавшихся в середине 1920-х по разные стороны баррикад, – прокурора РСФСР Н. В. Крыленко и Л. Д. Троцкого, «обрушившихся» против А. Сольца и Д. Бедного, которые ратовали за признание исключительно санкционированных государством браков (Троцкий прямо объявил эти взгляды «дремучими»)⁴¹⁴. Другие аспекты сексуальности «подлежали» общественному регулированию – предполагалось, что со временем общество совершенно перестанет нуждаться в государстве⁴¹⁵. Как правило, «умеренные» пропагандировали моногамию как наиболее рациональную форму сексуальной практики, выступая, однако, за ее либерализацию и постулируя «отмирание» семьи при коммунизме. Академик С. Я. Вольфсон писал в конце 1920-х годов, что «социализм несет с собою отмирание семьи», одновременно называя таковую (семью) «экономической ячейкой переходного периода»⁴¹⁶. Гарантии либерализации моногамной семьи давала простота бракоразводной процедуры, даже в 1937

⁴¹³ Преображенский Е. А. Указ. соч. С. 101–102. Ср. также замечания Р. Дэниэлса о платформе Троцкого – Преображенского – Бухарина во время «профсоюзной» дискуссии: «Они предлагали сохранить методы централизации, принуждения и милитаризации военного коммунизма по пути к быстрому достижению социализма» (Дэниэлс Р. Указ. соч. С. 357).

⁴¹⁴ Троцкий Л. Д. Сочинения. Т. 21. М.; Л.: Госиздат, 1927. С. 50, 513–517.

⁴¹⁵ См., например, у Троцкого (Указ. соч. С. 194) о половых отношениях при коммунизме, когда последние освободятся «от внешних уз и стеснений» и будут подчинены только «внутренней дисциплине личности с ее более богатой духовной жизнью и более высокими запросами».

⁴¹⁶ Вольфсон С. Я. Социология брака и семьи. Минск: Изд-во БГУ, 1929. С. 375, 426.

году провозглашавшаяся тем же Вольфсоном «важным достижением социализма» (видимо, «по старой памяти»)⁴¹⁷.

Некоторые из «умеренных» допускали, однако, и полигамические (полиандрические) семьи. Например, заведующая Женотделом ЦК партии П. Виноградская критиковала «моральную заповедь» члена ЦКК В. Сорина «не живи с тремя женами» за обывательский подход, подчеркивая правомерность такой семейной организации коммуниста, если она не противоречит социально-экономическим интересам государства⁴¹⁸. Тем не менее за пределами семьи сексуальная активность не поощрялась, да и в браке ограничивалась прежде всего целями деторождения. Эта репрессивная сущность «умеренного» инструментализма ярко проявилась в пропаганде воздержания до брака, кампании по борьбе с онанизмом во второй половине 1920-х годов, противоречивом подходе к применению контрацептивов и аборту.

В качестве надежного способа сохранения крепкого здоровья и поддержания общественной активности «умеренные» рекомендовали советской молодежи половое воздержание до вступления в брак, то есть до 20–25 лет. Наиболее примитивные из авторов опирались на «законы» физиологической гидравлики, сформулированные на основе экспериментов по омоложению: например, костромской пропагандист М. В. Щекин вывел «закон обратной пропорции половых желез» и предлагал практиковать хирургические операции по перевязке семенных канатиков даже молодым людям (для активизации психической деятельности)⁴¹⁹. Специалисты же подчеркивали значение моральных стимулов, гигиенических соображений (опасность венерических заболеваний), общественного контроля. Важнейшее место уделяли также половому воспитанию и просвещению детей и подростков (от школ до специальных консультаций), печатной пропаганде. Любопытно, что последняя была насыщена пугающими и натуралистическими описаниями течения венерических болезней, подпольных абортов⁴²⁰. Отдельные авторы рассказывали ужасные истории об атрофии половых органов у чрезмерно сексуально «активных»⁴²¹.

Онанизм – «противоестественный половой акт, не могущий иметь своим последствием рождения здорового потомства» и бесполезный «для общества и государства»⁴²² – рассматривался в качестве «опасного врага» советской общественности, борьба с которым «должна быть взята на себя всем взрослым и сознательным населением»⁴²³. Соглашаясь с гипотезой о массовом распространении мастурбации, «умеренные» тем не менее надеялись устранить ее из повседневной жизни и добиться «абсолютного воздержания». Примечательно в этой связи, что практикующий онанизм подросток уже не относился

⁴¹⁷ Вольфсон С. Я. Семья и брак в их историческом развитии. М.: Соцэкиздат, 1937. С. 222.

⁴¹⁸ Виноградская П. Указ. соч. С. 106–107.

⁴¹⁹ Щекин М. В. Социальное значение полового вопроса. Кострома, 1924. С. 32–40.

⁴²⁰ См., например: Брук Г. Я. К здоровой половой жизни. М.; Л.: ГИЗ, 1930. С. 52; Глезер М. А. Половая жизнь. Харьков: Научная мысль, 1928. С. 44–45; Шукин Н. Мужчина и женщина в половой жизни. М.; Л.: Госиздат, 1928. 2-е изд. С. 32–49, 52–55 и мн. др.

⁴²¹ Демидович, врач. Половая жизнь и здоровье студенчества // Красная молодежь. 1927/1928. № 8. С. 40–41.

⁴²² Никулин С. В. Онанизм, его причины и борьба с ним // Половой вопрос. С. 169.

⁴²³ Там же. С. 174.

социологами к «целомудренным»⁴²⁴.

О контрацепции в массовой литературе писали сравнительно мало. Ряд авторов, вроде уже упоминавшейся П. Виноградской, связывали контрацептивы с буржуазным разложением⁴²⁵. Большинство все же предпочитало контрацепцию аборту, реалистично полагая неустрашимым стремление людей к ограничению рождаемости, но наилучшим выходом считая воздержание. Причиной этому было стремление «умеренных» к «тейлоризации» секса на «гидравлической основе».

Особняком стоит вопрос о сексуальных девиациях, тем более сложный в контексте отнесения к ним (девиациям) онанизма⁴²⁶. Многие профессионалы восприняли взгляды сексопатологов рубежа веков или Фрейда на «перверсии», как болезни или последствия «вытеснения» (первых было большинство). Однако отнюдь не единицы исходили и из точки зрения Бехтерева: девиации – результат «дурных привычек, подражания и полового перенасыщения и излишеств»⁴²⁷. Однако все разделяли мнение о недопустимости уголовного преследования девиаций. Другое дело – общественный контроль. Девиантное поведение не поощрялось – поэтому рассматривался вопрос о преимуществах мастурбации для «отклоняющихся» – как «меньшего зла» для общества⁴²⁸.

Главным средством тренировки сексуального тела «умеренные» считали половое воспитание и просвещение юношества. Педологи 1920-х – начала 1930-х годов различали первое («половое воспитание») как комплексный повседневный процесс направляемой социализации личности до достижения ею половой и гражданской зрелости и второе («половое просвещение») как преподавание сексологических (в современной терминологии) знаний. Приоритет отдавался, конечно, воспитанию. Ребенок с раннего детства должен был находиться под строгим контролем родителей, педагогов и коллектива товарищей. Разработали и шкалу соответствующих мер воздействия на детей: от скрытой коррекции до изоляции в особенно «трудных» случаях⁴²⁹.

«Умеренные» видели сексуальное тело контролируемым обществом, оставляя за последним право самостоятельно определить направление эволюции сексуальных практик, с учетом «рекомендаций» государства и науки: «Сам народ создаст эти новые формы, а правители-обществоведы, вообще представители разных наук: социологи, гигиенисты и т. д. – должны руководить этим творчеством народа, который мало знаком с наукой,

⁴²⁴ Это отличало и врачей. Например, у доктора Михайлова читаем: «Наше юношество уже с ранних школьных лет, а часто и раньше, особенно же учащиеся в средней школе, столь часто подвержены так называемому „тайному детскому пороку“, что число девственных юношей и девочек представляется крайне незначительным» (*Михайлов. Борьба с онанизмом в семье и школе. Л., 1925. 2-е изд. С. 5*).

⁴²⁵ *Виноградская П.* Указ. соч. С. 113–114. См. также: *Ступовенков А.* Гигиена половой жизни // *Половой вопрос. С. 117*.

⁴²⁶ *Бруханский Н. П.* Материалы по сексуальной психологии. М.: Изд-во М. и С. Сабашниковых, 1927; *Голомб Д.* Половая жизнь нормальная и ненормальная. [Б.м.]: Светоч, 1926. С. 18–26; *Ковалев К. Н., Иорданский Н. Н.* Биосоциальная природа половой жизни человека. Хрестоматия. Ч. 1. Биологические факторы половой жизни человека. М.: Прометей, 1930. С. 9, 93–96; *Ласс Д. И.* Указ. соч. С. 167; *Томилини С. А.* Проблема пола. Харьков: Научная мысль, 1926. С. 19, 27; *Флоринский А. В.* Онанизм. [М.]: Космос, 1927, и мн. др.

⁴²⁷ *Глезер М. А.* Половая жизнь. С. 32.

⁴²⁸ *Флоринский А. В.* Указ. соч. С. 61–62.

⁴²⁹ *Залкинд А. Б.* Половое воспитание. М.: Работник просвещения, 1928; *Ковалев К. Н., Иорданский Н. Н.* Указ. соч. Ч. 2. Социально-педагогические факторы половой жизни человека. М.: Прометей, 1930. С. 93.

знаниями, необходимыми для умения заглянуть далеко вперед»⁴³⁰. Троцкий, например, подчеркивал исключительную важность коммунистического экспериментирования для выработки образцов нового полового и семейного быта⁴³¹. В результате появится новое сексуальное тело, дисциплинированное и «сознательное».

Не напоминают ли формы реализации микровласти в таком обществе их аналоги в гражданском обществе Запада?

в) «Общественники».

Исходя из открытий русской физиологической школы Павлова-Бехтерева и поверхностно используя некоторые концепции психоанализа («сублимация»), это немногочисленное, но воинственное течение инструменталистского дискурса отрицало даже самый «инстинкт размножения»: «...существует лишь физиологическое стремление к разгрузке организма от полового содержимого» (А. Б. Залкинд)⁴³². Формы сексуальной самореализации представляли в этой схеме как простая цепь условных рефлексов. Отсюда и задача «нормирования» сексуальности, чрезмерно «распухшей» при капитализме в целях отвлечения масс от дела социальной революции. В результате лидером «общественников» А. Б. Залкиндом были разработаны скандально известные двенадцать заповедей половой жизни «новой советской общественности» (в рамках его «классовой гигиены»)⁴³³. Сквозь эту призму мы можем рассмотреть чудовище «наилучшим образом организованного и наиболее революционно-целесообразно используемого» сексуального тела. Половой вопрос здесь – прежде всего вопрос классовый: «Пролетариат в стадии социального накопления является бережливым, скупым классом, и не в его интересах давать творческой энергии просачиваться в половые щели»⁴³⁴. Центральное понятие «сексологии» Залкинда – «сублимация», понимаемая как выработка новых условий рефлексов (Арон Борисович предупреждает, однако, против «сублимационной сверхлевизны», т. е. кастрации), а главный «сублимирующий фактор» – «советская общественность»⁴³⁵. В своих планах кардинальной реорганизации половой жизни Залкинд возлагал особые надежды на революционную молодежь (подобно Л. Д. Троцкому в вопросе о внутривластной демократии)⁴³⁶. Сексуальное тело революционной эпохи казалось ему телом аскета, так что он не избегал сопоставлений с сексуальным пуританизмом ранних буржуазных революций⁴³⁷. По Залкинду, сексуальная практика должна быть чрезвычайно «экономной» даже в семье, не говоря об «абсолютном» воздержании до брака и совершенном отсутствии внебрачных половых связей. Половой подбор в идеале осуществляется по классовым принципам,

⁴³⁰ Ступовенков А. Гигиена половой жизни. С. 93.

⁴³¹ Троцкий Л. Д. Вопросы быта. Эпоха «культурничества» и ее задачи. М.: Госиздат, 1925. С. 165–166.

⁴³² Залкинд А. Б. Половой фетишизм. К пересмотру полового вопроса. М.: Всероссийский пролеткульт, 1925. С. 9.

⁴³³ Залкинд А. Б. Половой вопрос в условиях советской общественности. Л., 1926. С. 47–58.

⁴³⁴ Залкинд А. Б. Половой фетишизм. С. 44.

⁴³⁵ Залкинд А. Б. Половой вопрос... С. 92, 99.

⁴³⁶ Там же. С. 65.

⁴³⁷ Залкинд А. Б. Половой вопрос... С. 119.

поскольку организм «таков, какова среда, своими влияниями целиком определяющая его развитие»⁴³⁸. Кроме того, будучи участником, а потом и лидером советского педологического движения, Залкинд уделял большое внимание «сублимации» в половом воспитании детей⁴³⁹.

Однако для большинства инструменталистов «общественники» были так же неприемлемо радикальны, как и «рационалисты». Характерно, что редко высказывавшийся по половому вопросу Н. И. Бухарин специально осудил построения Залкинды на литературном совещании при ЦК РКП(б) в феврале 1925 года: «Я утверждаю, что это чушь, это – мещанская накипь, которая желает залезть во все карманы»⁴⁴⁰. Но представления о способах регулирования сексуальных практик у «умеренных» и «общественников» весьма схожи: ставка делается на социальное самоуправление. Другое дело, что социальное поле Залкинды чрезвычайно идеологизировано.

г) Инструментализм и сексуальные практики 1920-х годов.

Имел ли инструменталистский дискурс «практическое воплощение», от каких явлений окружающей реальности он отправлялся и была ли в этой основе «сексуальная составляющая»? На наш взгляд, такой средой был нэповский город. Известно, что Первая мировая и Гражданская войны подорвали традиционные городские сексуальные практики, принеся в «гражданское» общество армейскую промискуитетную практику⁴⁴¹. Еще в начале 1920-х годов эта последняя охватывала значительный сегмент «нового студенчества»: так, среди студентов Коммунистического университета имени Свердлова в 1922 году сторонники кратковременных и «свободных» («без срока») половых отношений составляли 22,4 процента мужчин и 16,8 – женщин⁴⁴². В обстановке социально-экономических трудностей нэпа усилилась нестабильность рабочей семьи, и до революции, по Р. Стайтсу, устойчивостью не отличавшейся: поданным Голосовкера, более 50 процентов женатых рабочих печатников Казани – 105 из 207 опрошенных – имели по несколько внебрачных половых связей каждый (1923 г.)⁴⁴³. Широко распространились аборты, ставшие в городах подлинным социальным бедствием⁴⁴⁴. Глубокой дискредитации подвергся образ традиционного моногамного брака, особенно среди рабфаковцев и «новых студентов»: даже в середине 1920-х годов только 51,8 процента одесских студентов-мужчин и 60,9 – женщин считали любовь реальностью, а в «свободном браке» (т. е. не зарегистрированном

⁴³⁸ Там же. С. 55–57; Залкинд А. Б. Половой фетишизм. С. 21.

⁴³⁹ Залкинд А. Б. Половой вопрос... С. 92–102; Ковалев К. Н., Иорданский Н. Н. Указ. соч. Ч. 1. С. 26–29. Ч. 2. С. 170–174.

⁴⁴⁰ Бухарин Н. И. Пролетариат и вопросы художественной политики // В тисках идеологии. М.: Книжная палата, 1992. С. 360.

⁴⁴¹ Fitzpatrick Sh. Sex and Revolution: An examination of literary and statistical data of the mores of Soviet students in the 1920s // The Journal of Modern History. Vol. 50. № 2. June 1978. P. 255.

⁴⁴² Гельман И. Половая жизнь современной молодежи. С. 95.

⁴⁴³ Sities R. Equality, Freedom and Justice: Women and Men in the Russian Revolution. 1917–1930, Jerusalem: The Marjorie Mayrock Center. Research Paper. 1988. № 67. P. 9–12; Голосовкер С. Я. О половом быте мужчины. Казань: Казанский медицинский журнал, 1927. С. 21.

⁴⁴⁴ Fitzpatrick Sh. Op. cit. P. 260–263.

официально) жили 16,5 и 31,7 процента соответственно⁴⁴⁵. «Помолодел» и возраст вступающих в половую жизнь юношей – учащихся средних учебных заведений, даже в такой «глухой» провинции, как Усть-Сысольск (в основном коми по национальности): в 40,6 процента случаев (против 21,1 – до революции) они начинали заниматься сексом в 14–16 лет, а в 16,7 процента – до 14 лет⁴⁴⁶. Эти процессы давали основание говорить о разрушении традиционной семьи и необходимости рационализации сексуальности⁴⁴⁷. Возможно также, что инструменталистский дискурс в какой-то мере отражал сексуальную практику части интеллигенции. Аборты и детская беспризорность побуждали авторов постоянно учитывать государственную целесообразность при моделировании своих утопий. Противоречивость и даже антагонизм отдельных течений инструментализма можно соотнести с хаотичностью и большой «подвижностью» сексуальных практик и установок.

3. «Онтологический» дискурс

Как ни странно, при массовом увлечении фрейдовским психоанализом в 1920-е годы⁴⁴⁸ интерпретация сексуальности, которую мы относим к «онтологическому» дискурсу, встречается весьма редко. Советские фрейдомарксисты критиковали именно так называемый «пансексуализм» Фрейда и больше интересовались проблемой сублимации и «индивидуальной психологией» А. Адлера. Теоретик «сексуальной революции» В. Райх посетил, однако, СССР в 1929 году, тогда же опубликовав свою статью в журнале «Под знаменем марксизма» – правда, никак не затрагивая основного круга собственных идей⁴⁴⁹. Мы ничего не знаем ни о резонансе, вызванном этой публикацией, ни о хотя бы минимальном знакомстве советских интеллектуалов с концепцией Райха.

Тем не менее в 1928 году в Ленинграде на деньги автора печатается сколь характерная, столь же и путаная книга некоего Л. Сэвли «Кто виноват?», анонсированная как фрагмент его работы «Мудрость жизни». Для Сэвли половая проблема – определяющая в жизни человека и общества, и потому для ее решения необходима «сексуальная революция» с этапом «диктатуры законов природы» («диктатура биологического естества человека»)⁴⁵⁰. Рассуждения автора представляют собой смесь идей А. Б. Залкинда о социальной природе многих биологических процессов (см. выше) – Сэвли, например, считает менструацию порождением «буржуазного» частнособственнического общества, исковеркавшего такие естественно-природные явления, как «весенняя течка» у животных⁴⁵¹, – взглядов немецко-австрийского философа рубежа XIX–XX веков О. Вейнингера на человека как комбинацию мужского и женского начал, представлений инструменталистов о любви как

⁴⁴⁵ Ласс Д. И. Указ. соч. С. 140–198.

⁴⁴⁶ Коканин И. С. Половая жизнь (зырянской) молодежи. (Опыт социально-биологического обследования). Усть-Сысольск: Комиоблздравотдел 1930. С. 16.

⁴⁴⁷ См., например: Троцкий Л. Д. Вопросы быта. С. 49–58; Цеткин К. Указ. соч. С. 45–46 и др.

⁴⁴⁸ О психоанализе в СССР см.: Эткинд А. М. Эрос невозможного. История психоанализа в России. СПб.: Медуза, 1993. С. 213–310.

⁴⁴⁹ Райх В. Дialeктический материализм и психоанализ // Под знаменем марксизма. 1929. № 7–8. С. 180–206. О пребывании Райха в СССР см.: Эткинд А. М. Указ. соч. С. 291–293.

⁴⁵⁰ Сэвли Л. Кто виноват? Л.: Изд-во автора, 1928. С. 109.

⁴⁵¹ Там же. С. 39, 106.

«периоде подготовки к размножению». Последнее, наряду с критикой моногамной семьи («рабского» института), привело Сэвли к выводу о том, что в обществе будущего половая любовь будет длиться около полутора-двух лет, заканчиваясь «в период кормления матерью новорожденного ребенка или непосредственно за ним», а материнская любовь – порождение частнособственнической культуры – «отомрет» совсем (дети будут, конечно же, обобществлены)⁴⁵². Сэвли идеализировал так называемый «первобытный коммунизм» и в качестве образца указывал на половую жизнь животных. По сути, это была одна из версий рационалистической утопии, сопоставимая с идиллическими картинками жизни дикарей у мыслителей Просвещения. Не согласных с его идеями автор записывал в «сексуальные меньшевики»: ведь подобно всякой революции, «сексуальная революция» имеет весьма конкретных врагов, «замаскированных биологически»⁴⁵³. Временно, до «созревания» необходимых условий, Сэвли дает «добро» на длительный брак с аскетической и тщательно регламентированной половой жизнью (воздержание до одного-двух лет, а еще лучше – до пяти)⁴⁵⁴.

Утопия Сэвли имела те же корни, что и инструменталистский дискурс, и «отправлялась» от тех же практик. В ней причудливо смешались и очень ясно выразились интеллектуалистские версии упрощения сексуальных отношений с явным евгеническим и социобиологическим привкусом (у автора фигурирует евгеническая идея «искусственного отбора» в целях улучшения человеческой «природы»⁴⁵⁵). Сексуальное тело помещалось здесь в сферу прямого действия биологических «законов», одновременно подвергаясь жесткому социальному контролю.

4. «Традиционный» дискурс

«Традиционный» дискурс проникал в нарратив прежде всего через художественную литературу или выплескивался на поверхность в дискуссиях, наподобие той, что развернулась вокруг нового брачно-семейного законодательства. Характерны в этом отношении нашумевшие повести второй половины 1920-х годов – «Луна с правой стороны, или Необыкновенная любовь» С. Малашкина, «Собачий переулочек» Л. Гумилевского, «Без черемухи» П. Романова⁴⁵⁶. В сущности, героиня рассказа Романова, «положительные» персонажи произведений Малашкина и Гумилевского напоминают о ценностях и моральных нормах русского крестьянства (в «идиллическом» представлении публицистов и литераторов) с его осуждением добрачного секса, идеализацией материнства, утверждением моногамной любви, неприятием аборта. Этим литературным образам противопоставлены карикатурные или «разложившиеся» типы апологетов «теории стакана воды», наподобие организатора обществ «Долой стыд!» и «Долой невинность!» Анны Рыжинской или доцента Федора Федоровича Букова из «Собачьего переулочка». Любопытно и то, что «морально здоровые» герои нередко происходят из деревни (комсомолец Петр у Малашкина, студент Борзов у Гумилевского). Имевшая политический и даже антисемитский подтекст повесть

⁴⁵² Там же. С. 92–93, 159–160.

⁴⁵³ *Сэвли Л.* Кто виноват? Л.: Изд-во автора, 1928. С. 109, 115.

⁴⁵⁴ Там же. С. 119–137.

⁴⁵⁵ Там же. С. 97.

⁴⁵⁶ *Гумилевский Л.* Собр. соч. Т. 3. Собачий переулочек. М.: Никитинские субботники, 1928; *Малашкин С.* Луна с правой стороны, или Необыкновенная любовь. М.: Молодая гвардия, 1927. С. 21–121; *Романов П. С.* Без черемухи. М.: Правда, 1990. С. 311–323.

Малашкина рисует облик «растленного» студенчества в образе еврейского юноши-троцкиста Исайки Чужачка, речь которого по половому вопросу – дословная цитата из Степана Смирнова (см. выше об инструменталистах-«рационалистах»)457.

Во время дискуссии по новому брачно-семейному кодексу звучали массовые протесты крестьян, работниц и даже некоторых партийных функционеров (А. Солыц) против свободы развода и юридического признания брака де-факто, оправдываемые иногда государственной целесообразностью. Эти выступления, по меткому замечанию Троцкого, воспроизводили патриархальные взгляды на секс и семью458.

Традиционные сексуальные практики – соотносимые с этим дискурсом – охватывали всю деревню и были широко распространены среди различных социальных групп города, включая партийную бюрократию. Поданным М. И. Гамбурга, среди крестьян-красноармейцев (Нижняя Волга) 24–26 лет 88,3 процента уже были женаты, из них 73,5 процента вступили в брак в 16–19 лет, причем 37,2 процента начали половую жизнь именно в браке, а еще 13,5 процента – с невестой. Внебрачные половые связи имели 29,1 процента женатых крестьян, тогда как среди рабочих – 65,1 процента459. Социологическое обследование украинских парт-активистов (конец 1920-х годов) показывает, что женатые партработники составили 82,9 процента опрошенных (при среднем возрасте 24–39 лет), из них 80,5 процента состояли в первом браке. Хотя 50,6 процента женатых имели внебрачные половые связи, но, судя по всему, они осуждали собственное поведение, так как 69 процентов опрошенных считали моногамный брак идеальной формой сексуальной практики, а еще 24,6 процента называли своим идеалом «продолжительное половое сожителство», что сопоставимо с традиционным браком. Некоторые приписки к анкетам свидетельствуют о распространении негативного отношения к разводу: «Не сходимся с женой характерами, но не развожусь потому, что жена материально не обеспечена, это во-первых. Во-вторых – частые разводы выставляют в плохом свете коммунистов, в особенности в провинции, в которой я как раз живу и, как ответственный работник, у всех на виду»460. Даже в среде более противоречиво настроенного студенчества в середине – второй половине 1920-х годов брак был доминирующим идеалом сексуальной практики461.

Что представляло собой сексуальное тело в традиционной системе ценностей? Оно было подчинено неписаным, почти сакральным нормам, заключено в жесткие рамки моногамного брака с регламентацией распределения ролей – то есть «активным» могло быть только мужское сексуальное тело – в известном смысле единственно существующее как человеческое. Как будет показано ниже, эти стереотипы постоянно проникали и в уже рассмотренные нами интеллигентные дискурсы.

5. Взаимодействие и иерархия дискурсов

Социальная динамика 1920–1930-х годов поражает наблюдателя своей интенсивностью и непредсказуемостью. Не менее увлекательными были и «приключения» советской

457 *Малашкин С.* Указ. соч. С. 82–96.

458 *Троцкий Л. Д.* Сочинения. Т. 21. Культура переходного периода. С. 50, 513–517; Брак и семья. Тезисы к проекту Кодекса о браке, семье и опеке. М.: Комакадемия, 1926. С. 3–6.

459 *Гамбург М. И.* Половая жизнь крестьянской молодежи. Саратов, 1929. С. 10–11, 24, 27–28.

460 *Рохлин Л. Л.* Труд, быт и здоровье партийного актива. [Харьков]: Пролетар, 1931. С. 19, 79, 96, 105.

461 *Ласс Д. И.* Указ. соч. С. 210; Половая жизнь студенчества. Итоги анкеты // Студент-пролетарий (Пермь). 1924. № 6–7. С. 67.

сексуальности в эти годы.

На протяжении 1920-х годов сексуальные дискурсы и практики не только конкурировали, но и взаимодействовали друг с другом. Например, широкой популярностью пользовалась идея А. М. Коллонтай о любви как социально значимом факторе новой, социалистической общественной организации (см. выше о «любви-товариществе» и «любви-солидарности»): эта мысль оказалась по вкусу «умеренным» и «общественникам» из числа инструменталистов. Так, академик С. Я. Вольфсон подчеркивал «социально-организующую и эмоциональную роль любви», а А. Б. Залкинд писал о «любовно-товарищеской половой классовости» в будущем⁴⁶². Сама Коллонтай, как мы уже говорили, разделяла «гидравлическую» интерпретацию половой жизни и не манкировала призывами к сексуальной «экономии». Влияние Залкинды в большой мере сказалось на «онтологизме» Сэвли (см. выше). Но наиболее интересен вопрос о перманентном и с годами усиливающимся давлении «традиционного» дискурса на все остальные, но особенно на долго доминировавших «умеренных» инструменталистов. Во-первых, необходимо отметить совершенно исключительную роль мужчины в инструменталистском дискурсе: в соответствующих текстах активность исходит только от мужчины – он, по существу, единственный «актор». Женское тело – как правило, страдающее и всегда пассивное. И в этом смысле – даже менее человеческое («Мужчина отличается в мыслительных процессах преобладанием логики и сравнительной объективности. Женской психике свойственна большая субъективность», – писал врач (!) А. Л. Мендельсон⁴⁶³). Как это ни курьезно звучит сегодня, женская сексуальность сводилась в основном к беременности и деторождению. Отсюда и забавная формула: «Половые органы... играют большую роль в жизни мужчины и еще большую – в жизни женщины»⁴⁶⁴. Основная масса печатной продукции по половому вопросу предназначалась также мужчинам (если не сознательно, то подсознательно). В популярных брошюрах заметно преобладали описания физиологии женской половой системы сравнительно с мужской – иначе говоря, читателя знакомили с наименее ему известным. Да и среди авторов, пишущих на «сексуальные темы», – практически одни мужчины, за исключением А. Коллонтай, С. Смидович, П. Виноградской. Подобно сфере производства идеологических символов (Р. Стайте), в инструментальном дискурсе мужское начало априори воспринималось как единственный полюс сексуальной активности⁴⁶⁵.

Последнее ярко проявилось в «женской дискуссии» в «Правде» между Коллонтай и Смидович в 1924 году. Статья Смидович «О „любви“» убеждала читателей в очевидности мужской «вины» за растущее число аборт и трудности материнства, аборт же провозглашались «общественно вредным» делом⁴⁶⁶. И хотя автор критиковала сложившуюся ситуацию с позиции женской эмансипации, Коллонтай не случайно оценила ее текст как «карикатуру на женскую молодежь». В самом деле, сексуальное пространство Смидович «традиционно»: роли распределены в соответствии со сложившимися стереотипами. Показательно, что ее единомышленницами стали именно девушки и женщины, судя по социологическим опросам «традиционно» ориентированные, независимо от их социального статуса⁴⁶⁷.

⁴⁶² Вольфсон С. Я. Социология... С. 447; Залкинд А. Б. Половой вопрос... С. 61.

⁴⁶³ Мендельсон А. Л. Нервная система и половая жизнь. Л.: Ленинградская правда, 1930. С. 8.

⁴⁶⁴ Глезер М. А. Половая жизнь. С. 20.

⁴⁶⁵ Stites R. Op. cit. P 3.

⁴⁶⁶ Смидович С. О «любви» // О «любви». Л.: КУБУЧ, 1925. С. 3–15; ответ Коллонтай см. там же (с. 16–26).

⁴⁶⁷ По данным Е. В. Полякова (ноябрь 1924 г.), 50 процентов студенток Ленинградского медицинского

Другая область господства «традиционного» дискурса – вопрос об идеальных практиках сексуальности. Большинство авторов – прямо или косвенно – проводили мысль о моногамном браке как наиболее рациональной форме половой жизни с длительной исторической перспективой. Отождествляя полигамические связи и промискуитет с «буржуазной распущенностью» или с примитивными восточными обществами, к концу 1920-х годов «умеренные» инструменталисты даже несколько ужесточили свои предписания в этой области.

Очевидно, что рост разводов, аборт и детской беспризорности в годы коллективизации усилил «реставраторские» настроения в городах, в особенности среди женщин. К этому времени уже сложилась сложная иерархия сексуальных дискурсов и практик, все еще не стабильная, но с несомненно доминирующей ролью «умеренных» инструменталистов. Инструменталистский дискурс, будучи в контексте широко распространившихся рационалистических утопий и отвечая настроениям партийной элиты, быстро маргинализировал своих конкурентов. Коллонтай с ее либертарианством интерпретировалась как примитивный инструменталист-«рационалист»⁴⁶⁸, отстаивающая «теорию стакана воды», здесь видели еретическое направление в том же инструментализме, которое должно быть отсечено как наиболее опасное (характерно в этой связи отождествление коллективистки Коллонтай именно с анархистами-«рационалистами»). «Традиционалисты» же были зачислены в охранители «старого порядка». Однако «умеренные» проявляли по отношению к последним «гибкий» подход, стремясь упростить и тейлоризировать именно исторически сложившиеся формы сексуальности, а не создавать нечто новое. Это и открыло в 1930-е годы дорогу для «наполнения» инструменталистского языка весьма «традиционным» содержанием. В 1937 году тот же Вольфсон объявляет моногамную семью не преходящим явлением, а базовой ячейкой нового общества, которая будет существовать и при коммунизме⁴⁶⁹. Освобождение женского тела сводится лишь к его уравнению с мужским в общественном производстве (строительство андрогинного производственного тела)⁴⁷⁰. Запретив в 1936 году аборт и существенно затруднив развод, государство стремилось закрепить сексуальное тело (прежде всего мужское) в определенной фиксированной точке социального пространства, сохранив традиционные полоролевые функции, то есть вновь узаконив деторождение как главную функцию женского тела (тела вообще, а не только сексуального тела). Сексуальные практики, не укладывающиеся в эту схему, становятся предметом юридического или общественного разбирательства и наказания. Власти предпринимают нечто вроде «моральной чистки» в государственном аппарате, примером чему может служить отстранение А. Енукидзе с поста секретаря ЦИК СССР⁴⁷¹. Реставрированный сексуальный космос («мужской» и авторитарный) как бы воспроизводил глобальное социальное пространство на телесном уровне. Это сопровождалось табуированием сексуальности, о которой теперь говорится только в связи с

института не имели сексуального опыта, а из оставшейся половины 18 процентов жили в браке. Брак считали идеальной формой сексуальной практики 78,1 процента студенток (в выборке Полякова женщины составили 74 процента – 965 человек, преимущественно в возрасте 21–26 лет). См.: Поляков Е. В. Студенчество ЛМИ как профессионально-бытовая группа. (По анкетному обследованию 1924/1925 г.) // Социальная гигиена. 1928. № 1(11). С. 69, 83, 85. См. также: Fitzpatrick Sh. Op. cit. P. 269, 274; Stites R. Op. cit. P. 14–15.

⁴⁶⁸ См., например: Глезер М. А. Указ. соч. С. 55–56.

⁴⁶⁹ Вольфсон С. Я. Семья и брак... С. 214, 233–234.

⁴⁷⁰ Там же. С. 195 и др.; Stites R. Op. cit. P. 5.

⁴⁷¹ Сванидзе М. А. «Иосиф бесконечно добр...». Дневник родственницы Сталина // Источник. 1993. № 1. С. 19, 22–23.

функциями семьи. Поскольку же половая связь (в рамках семьи, санкционированной государством) названа «личным, глубоко-интимным, их (сограждан. – А. М.) одних касающимся делом», ни о какой рационализации сексуальности речи уже не шло⁴⁷².

Вероятно, массовая «интервенция» традиционно ориентированного населения в города, вкупе с попытками государства обеспечить необходимую стабильность, создала благоприятную ситуацию для «реванша». Однако в специфических условиях 1930-х годов стабилизация означала не просто жесткую иерархию, но конфискацию «неофициальных» дискурсов из нарратива, равно как и репрессивные меры по отношению к несанкционированным сексуальным практикам.

Таковы наши, предварительные и гипотетические, выводы. Для более уверенных заключений о происшедшем с сексуальными дискурсами и практиками в 1930-е годы необходимы более обстоятельные исторические и социологические исследования. Причем особого внимания заслуживают обстоятельства принятия и содержание законодательства о запрете аборт и уголовном преследовании за гомосексуализм (последнее еще В. Райх связывал с консервативным поворотом в советской сексуальной политике вообще⁴⁷³).

К истории жилищного конфликта в первые годы Советской власти

Документы, которые предлагаются вниманию читателя, на первый взгляд весьма заурядны: еще один эпизод из истории т. н. «уплотнения» – перераспределения жилищной площади в послереволюционном Петрограде. Любопытны же они скорее по причине сторон-участников конфликта.

За исключением мандата на «принятие мебели» из квартиры умершего академика В. В. Заленского, это тексты из академической среды – за подписью академика В. Стеклова, известного математика, и из Президиума Академии. Можно сказать, конфликт предстает перед нами в «одностороннем» освещении, характеризующем стиль мышления и поведения представителей академического сообщества не в меньшей степени, чем обстоятельства дела. В качестве противников выступают академики и их семьи, с одной стороны, младший обслуживающий персонал Академии, с другой* Поле битвы – квартиры академиков и их имущество. Обратим внимание на представление событий и стиль обращения ученых к властям.

Действия младшего персонала представлены в «житейско-практическом» ключе (в этой же логике выдержан и мандат на изъятие мебели из квартиры Заленского). И Федор Курда, и «родственница» Емельянова вселяются в квартиру покойного Петерса, чтобы в ней «жить», и только. Озабоченный судьбой квартир, переданных ему – Стеклову – и академику Марру, известный математик ставит ударение на профессиональной, научной целесообразности принятого администрацией Академии решения: в квартирах разместятся материалы Комиссии по Кавказоведению и Математического Кабинета. Таким образом, одни всего лишь «живут», другие «работают» и «сохраняют».

Другой особенностью переписки с властями является ее формально-юридический характер. Действия коменданта академического дома № 5 по Университетской набережной Дорофеева и члена Василеостровской районной жилищной коллегии Ричарда Долгого интерпретируются с точки зрения их соответствия Указам и Распоряжениям центрального правительства. Поскольку соответствия не наблюдается, необходимо срочно восстановить порядок. И снова – примечательно, что в контексте «житейского» конфликта Президиум Академии предпочитает действовать в роли толкователя-интерпретатора,

⁴⁷² Вольфсон С. Я. Семья и брак... С. 233.

⁴⁷³ Reich W. The Sexual Revolution. London, 1972. P. 153.

созерцающего происходящее с высоты его академического величия.

Подытоживая, можно сказать, что логика публикуемых документов позволяет историку и социологу рассуждать об академической интеллигенции как о своего рода интеллектуальном дворянстве, по крайней мере – в моменты соприкосновения с властями предрезающими. Для последних академики должны оставаться академиками даже в ситуации житейских «дрягг».

Документы печатаются по оригиналам, хранящимся в Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга – Ф. 2551. Оп. 1. Д. 136. Л. 155 об. – 156, 157–158, – с сохранением особенностей орфографии и пунктуации оригинала.

I

Справка

25 Марта 1919 г. младший служащий Академии наук Федор Курда занял комнату в квартире покойного библиотекаря Академии Петерса, по его словам по требованию жилищной секции В[асиле] О[стровского] Района, другая комната занята родственницей другого младшего служащего Емельяновой **без ведома и согласия**⁴⁷⁴ на то Правления Акад[емии] Наук и Комитета ученых учреждений, ведающих делом распределения квартирных помещений, в соответствии с научными нуждами учреждений, по преимуществу.

Тот же Федор Курда заявил, что вскоре должно последовать вселение лиц младшего персонала и в квартиры покойных академиков], Фаминцына и Лаппо-Данилевского⁴⁷⁵, из коих первая назначена правлением Акад[емии] Наук академику Н. Я. Марру⁴⁷⁶ с тем, чтобы в этой квартире был помещен и архив Комиссии по Кавказоведению (в частности, еще не разобранные и необработанные за недостатком места материалы Анийского музея), вторая Акад[емии] В. А. Стеклову⁴⁷⁷, Заведующему Матем[атическим] Кабинетом имени Чебышева и Ляпунова⁴⁷⁸, с тем, чтобы там же было помещено имущество (приборы, инструменты, библиотека, рукописи покойных Чебышева и Ляпунова) этого Кабинета, разбросанные к настоящему времени по разным комнатам здания Акад[емии] Наук, а частью на частн[ой] квартире Акад[емика] Стеклова.

*Акад[емик] В. Стеглов
Петр[оград]. 26 Марта 1919 г.*

II

Комендант дома № 5

⁴⁷⁴ В тексте (книге) использовано подчеркивание, в файле – полужирный (*Прим. верст.*)

⁴⁷⁵ Лаппо-Данилевский А. С. (1863–1919) – историк и источниковед, академик Петербургской АН (1899). Фаминцын А. С. (1835–1918) – физиолог растений, академик (1884).

⁴⁷⁶ Марр Н. Я. (1864/1865–1934) – лингвист, востоковед, академик (1912).

⁴⁷⁷ Стеглов В. А. (1863/1864–1926) – математик, академик (1912).

⁴⁷⁸ Ляпунов А. М. (1857–1918) – математик, академик (1901). Чебышев П. Л. (1821–1894) – математик, академик (1856).

по Университетской набр.
[набережной]
здание Российской
академии Наук.
«...»-го марта 1919 года

**В Хозяйственный
Комитет Российской
Академии Наук.**

№ 1

Комендант дома № 5 по Университетской наберж.[набережной] доводит до сведения Хозяйственного комитета, что на этих днях будет прислан представитель от Жилищной Секции, для принятия мебели из квартиры умершего действительного члена Академии Наук В. В. Заленского⁴⁷⁹, а посему просит Хозяйственный Комитет возвратить ключи от упомянутой квартиры коменданту дома № 5, которые были сданы Хозяйственному комитету при упразднении Комитета бедноты в упомянутом доме.

*Подлинное подписал Комендант Дорофеев,
скрепил: В. Саблин
/М.П./*

Жилищная коллегия В[асиле] О[стровского] Района просит выдать ключи от квартиры Зеленского предъявителю сего Дорофееву.

*М. П. Подпись: Член Коллегии
Секретарь*

⁴⁷⁹ Заленский В. В. (1847–1918) – зоолог, академик (1897).

Комендант
дома №5
по Университетской набр.
[набережной]
здание Российской
Академии Наук.
« »-го марта 1919 года

В Хозяйственный
Комитет Российской
Академии Наук.

№ 1

Комендант дома № 5 по Университетской наберж.[набережной] доводит до сведения Хозяйственного комитета, что на этих днях будет прислан представитель от Жилищной Секции, для принятия мебели из квартиры умершаго действительного члена Академии Наук В.В. Заленскаго¹, а посему просит Хозяйственный Комитет возвратить ключи от упомянутой квартиры коменданту дома № 5, которые были сданы Хозяйственному комитету при упразднении Комитета бедноты в упомянутом доме.

Подлинное подписал
скрепил:
/М.П./

Комендант Дорофеев,
В. Саблин

Жилищная коллегия В[асиле] О[стровскаго] Района просит выдать ключи от квартиры Зеленскаго предьявителю сего Дорофееву.

М.П. Подпись:
Секретарь

Член Коллегии

III

Из письма През[идиума] РАН от 21/III 1919 г. № 529 в Наркомпрос :

До издания «разъяснений Полож[ения] о домов[ой] полит[ике]» /№ 176 С.К./ помощник[ом] председателя Комитета бедноты был младший служащий при Книжном складе Дорофеев. Когда пронесся еще не проверенный слух о смерти академика В. В. Заленскаго, Дорофеев вместе с другим младшим служащим Академии по фамилии Ричард Долгий, который одновременно оказывается и членом Василеостровской жилищной Коллегии, с несколькими неизвестными вооруженными людьми, произвели реквизицию части имущества академика Заленскаго, проживавшего (вместе с семьей) в это время, по поручению Академии наук, в Севастополе, на Биологической Станции, находящейся в ведении Академии наук, директором которой он состоял. Правление Академии Наук, на ответств[еннос]ти кот[оро]го лежит охрана всех помещ[ен]ий Ак[адем]ии, узнало о факте лишь после его совершения. Предс[едатель] Комитета бедноты даже не счел нужным уведомить Правление о таком действии, причем не был выполнен ни один из пп. V, VI и IX прилагаемой при этом выписки из Собр[ания] Узакон[ений] и распоряж[ений] Раб[очего] и Кр[естьянского] Правит[ельства] от 4/I 1918 г. за № 34 (отдел I, ст. 456). Без всякой публ[ика]ции, соблюден[ия] срока о вызове соответств[ующих] лиц местным советом (п. VI), часть именно домашней обстановки и имущества (п. IX) (белье, некоторые принадлежности стола, одежда) были конфискованы, между тем как не было даже офиц[иального] извещ[ения] о

смерти ак[адемика] В. В. Заленского (необх[оди]мо заметить, при этом, что часть вещей, оставшаяся в квартире покойного, несомненно принад[лежи]т не ему, а его жене, которая жива и не может вернуться из Севастополя по независящим от нее причинам). Об этом Правление Академии своевременно доводило до сведения Пред[седателя] Совета Г. Зиновьева⁴⁸⁰. Едва ли мыслимо допустить, что рай[онный] совет и жил[ищная] комиссия, на распоряжения кот[оры]х ссылается Дорофеев, имеют право не исполнять «Узак[онений] и распор[яжений] Раб[очего] и Кр[естьянского] Правит[ельства]», уже опублик[ованны]х в собр[ании] узак[онен]ий.

Полиция и «геи»: эпизод из эпохи Александра III⁴⁸¹

Настоящая публикация готовилась два года тому назад. Если бы мы работали над нею сегодня, то иначе расставили бы некоторые акценты и несколько изменили структуру нашего анализа. Однако, занятые подготовкой большого исследования по истории «голубых» в России (с начала прошлого века до 1917 г.), мы все же находим полезным обнародовать этот материал в первоначальном виде.

Авторы. Февраль 1999.

При подготовке настоящего документа к публикации нам пришлось столкнуться с трудностями различного характера. Будучи убежденными в необходимости обнародования его текста без купюр и с сохранением ряда орфографических особенностей оригинала, мы понимали, что отдельные представители отечественного научно-гуманитарного сообщества могут испытать настолько глубокий эмоциональный шок при ознакомлении с оригинальным текстом, что усомнятся в научно-культурной ценности публикации. Тем более что уже напечатана статья, прошедшая тщательную самоцензуру: в выпуске III историко-краеведческого сборника «Невский архив» скрывшийся под псевдонимом Константин Ротиков автор привел разрозненные отрывки из публикуемого нами ниже документа под заголовком «Эпизод из жизни „голубого“ Петербурга»⁴⁸². Цель К. Ротикова заключалась, видимо, в том, чтобы, не слишком шокируя публику, все же ознакомить ее со страницей истории петербургского гомосексуального сообщества. Научная ценность этого предприятия, к сожалению, представляется нам не слишком высокой. Ротиков, например, недостаточно внимательно подошел даже к датировке документа. Сколько-нибудь глубокий анализ материала отсутствует. Между тем значение документа, на наш взгляд, значительно превосходит рамки краеведческих и групповых интересов.

I. Источниковедческие замечания

Публикуемый документ уже не раз попадал в руки исследователей: более того, в каталоге Российского государственного исторического архива он фигурирует под фамилией каждой из указанных в прилагаемом к нему списке лиц. Несмотря на это внимание архивистов и исследователей, происхождение текста остается не вполне очевидным. Он

⁴⁸⁰ Зиновьев Г. Е. (Герш-Апфельбаум О.-Г.А.) (1883–1936) – советский политический деятель, председатель Петросвета в 1918–1926 годах. Расстрелян.

⁴⁸¹ Впервые в: Риск. Вып. 3. М., 1999 (публикация подготовлена совместно с В. В. Берсеневым).

⁴⁸² Ротиков Константин. Эпизод из жизни «голубого» Петербурга // Невский архив: Историко-краеведческий сборник. III. Сост. Добкин А. И.†, Кобак А. В. СПб.: Atheneum-Феникс, 1997. С. 449–466.

обнаружен в личном архиве Михаила Николаевича Островского, министра государственных имуществ в 1881–1893 годах, председателя департамента законов Государственного Совета в 1893–1899 годах (ф. 1683). Судя по тому, что документ не подписан и не датирован, речь идет о копии. Из преамбулы к основному тексту следует, что перед нами служебная записка, составленная начальником некоего «Управления» по запросу «Его Превосходительства», накануне передавшего автору «письмо известного лица» и при сем «анонимное заявление о развившемся в столице мужеложестве». Почему одним из получателей копии оказался М. Н. Островский? Возможно, в качестве министра государственных имуществ, поскольку «характеристика» одного из чиновников ведомства, А. А. Гусева, нарушает алфавитный порядок, принятый в вышеупомянутом списке. Но не менее вероятно, что в качестве председателя департамента законов Государственного Совета (хотя и с учетом его прежней должности), поскольку в 1890-е годы продолжались дебаты о новой редакции Уголовного Уложения и, в частности, вокруг статьи 995 «О мужеложестве».

К последнему выводу нас подталкивают даты, установленные в результате сравнительного анализа возраста включенных в список лиц. В частности, составитель записки указывает, что князю В. П. Мещерскому (1839–1914) на момент составления его досье 55 лет, то есть речь идет приблизительно о 1894 году. Возраст других лиц указывает на значительно более ранние даты, видимо, совпадающие со временем заведения на них соответствующих справок: Н. Л. Гавлюковскому (р. 27.10.1868) 22 года, А. А. Гусеву (р. 1843) 35 лет, С. И. Донаурову (1839–1897) 38 лет, А. А. Славину (09.01.1864 – 28.01.1891) 24 года, Б. С. Энгельфельду (1819–1895) 69 лет. Датирование документа 1894 годом вызывает единственное сомнение, связанное со смертью актера драматических театров А. А. Славина: нужно ли было включать в подобный список умершего? Если же речь идет о 1890–1891 годах (возраст Гавлюковского), то в случае князя Мещерского составитель его досье (или переписчик) допустил ошибку/описку. Хотя, конечно, бюрократия могла и не заметить таких «мелочей», как смерть актера. Учитывая принципы составления «биословаря», мы в любом случае сомневаемся в привязке К. Ротиковым даты составления документа к фигурирующим в досье событиям жизни Г. И. Депари – одного из его персонажей. Более или менее уверенно текст датируется концом 1890-го – 1894 годом.

Выше уже говорилось, что автор записки – начальник «Управления». О чем может идти речь? Вероятно, о Санкт-Петербургском губернском жандармском управлении (начальник его к 1890-м гг. – генерал-майор Виктор Иванович Оноприенко) либо Врачебно-по-лицейском управлении Министерства внутренних дел: таков характер сообщаемых сведений, собранных только в столице и предполагающих работу значительной агентуры. Что касается того, что полиция собирала информацию о гомосексуальной жизни Петербурга, то это сомнений не вызывает. В пособии «Судебная гинекология» В. Мержеевский пишет об истории шантажа двумя молодыми людьми датского подданного Ф., проживавшего в Санкт-Петербурге, о котором в полиции *имелись сведения как о гомосексуалисте* ⁴⁸³. Но, судя по тексту документа, автор не сводит в «медицинском» аспекте проблемы, как русской публике уже были известны сочинения врачей и судебных медиков, российских и иностранных – В. Мержеевского, В. М. Тарновского, Р. фон Крафт-Эбинга, Й. Л. Каспера и другие, – весьма различающиеся в трактовках, но тем не менее постепенно конструирующие «гомосексуализм» как самостоятельную патологию, а «гомосексуалиста» – как тип личности, что отражало изменения в медицинских воззрениях второй половины прошлого века ⁴⁸⁴. Все это никак не отразилось на языке нашего

⁴⁸³ Мержеевский В. Судебная гинекология. Руководство для врачей и юристов. СПб.: Б. Г. Ямпольский, 1878. С. 252–255.

⁴⁸⁴ Подробнее об этом см.: *Engelslein L. The Keys to Happiness: Sex and the Search for Modernity // Fin-de-Siècle Russia Ithaca; London: Cornell University Press, 1992. P. 130–144.*

чиновника, что позволяет усомниться в причастности одной из упомянутых институций – Врачебно-полицейского управления – к составлению бумаги. Автор записки имел достаточный чин, чтобы быть осведомленным о намерениях «ведомств Военного и Народного просвещения». Что касается адресата записки, то факт получения копии Островским указывает на интерес к такого рода информации высоких чинов в ранге министра, члена Государственного совета.

Вероятно, составитель документа либо стремился воспользоваться поступившим запросом в личных «политических» целях, либо учитывал интересы «Его превосходительства», либо и то и другое. Так, в качестве покровителей двух «голубых» упоминаются лица, самостоятельно в списке не фигурирующие, – начальник [Главного] Тюремного Комитета М. Н. Галкин-Врас[с]кий (55-летний служащий комитета Величко поддерживает с ним «хорошие отношения») и директор Императорских театров И. А. Всеволожский (1835–1909) (оказал протекцию по трудоустройству в его собственную дирекцию Бабину – «небогатому», но имеющему знакомства в «высшем кругу») ⁴⁸⁵. Неудивительно, учитывая занимаемую им должность, что И. А. Всеволожский – персонаж дневников и переписки влиятельных лиц, близко связанных с одной из персоналий биографического добавления к записке – фаворитом Александра III князем Владимиром Петровичем Мещерским. Так, в РГИА хранится переписка Всеволожского и государственного контролера Тертия Ивановича Филиппова ⁴⁸⁶. Последний именно на рубеже 1880–1890-х годов был тесно связан с Мещерским их общей интригой против обер-прокурора Синода К. П. Победоносцева по внешнеполитическому вопросу о верховенстве Константинопольского Вселенского патриарха над болгарской церковью ⁴⁸⁷. Т. И. Филиппов, которого многие рассматривали в качестве достойного конкурента Победоносцева на должность обер-прокурора, считался признанным знатоком церковных вопросов ⁴⁸⁸. Разумеется, еще до открытого конфликта их отношения были натянутыми. Будучи вице-президентом Палестинского общества, опекавшего русских паломников в Святой земле, Филиппов, при посредничестве председателя общества великого князя Сергея Александровича, имел возможность предпринимать и некоторые практические шаги в церковных делах. Отметим, между прочим, что вел. кн. Сергей Александрович описывается знавшими его лично мемуаристами в весьма двусмысленных тонах: «нежный» юноша (в отношениях с братом Павлом); любитель носить корсеты; создатель, в бытность его московским генерал-губернатором, хора молодых офицеров ⁴⁸⁹. Интересно связать эти намеки с информацией автора документа о тосте «за отсутствующих высокопоставленных покровителей общества и в особенности за одно высокопоставленное лицо, считающееся высшим покровителем», хотя, конечно, никаких прямых указаний на это «лицо» нет (но показателен сам факт сохранения инкогнито для столь откровенной записки). Как

⁴⁸⁵ О Всеволожском см.: *Ротиков К.* Указ. соч. С. 461–462.

⁴⁸⁶ РГИА. Ф. 652. Оп. 1. Д. 597. Три письма за 1885–1893 годы: из них два с просьбами о резервации мест в театре и одно – с настоятельным заступничеством за начинающего певца Шахламьянца (Л. 3–4 об.).

⁴⁸⁷ Письма Победоносцева к Александру III с приложением писем к вел. кн. Сергею Александровичу и Николаю II. Т. II. М.: Новая Москва, 1926. С. 190–191; *Ламздорф В. Н.* Дневник. 1894–1896. М.: Международные отношения, 1991. С. 333–334; *Витте С. Ю.* Воспоминания. Т. I: 1849–1894. Детство. Царствования Александра II и Александра III. М.: Изд-во соц.-эконом. лит., 1960. С. 307.

⁴⁸⁸ О Филиппове см.: *Мещерский В. П.* Мои воспоминания. Ч. III (1881–1894 гг.). СПб.: Ф. Кройс, 1912. С. 340–345; *Витте С. Ю.* Воспоминания... С. 307–309.

⁴⁸⁹ *Вел. кн. Александр Михайлович.* Книга воспоминаний. М.: Современник, 1991. С. 116; *Витте С. Ю.* Воспоминания... С. 200–201; *Yousouppoff F.* Avant l'exil. 1887–1919. Paris: Plon, 1952. P. 96.

показывает переписка Победоносцева, обер-прокурор был раздражен вмешательством Филиппова в церковную политику и называл одним из авторов интриги кн. Мещерского. Мещерский же в мемуарах 1890-х годов описывает свой разлад с Победоносцевым как следствие сближения с Филипповым, обходя, однако, как «политическую» сторону дела, так и интимную подоплеку их конфликта. Из той же победоносцевской переписки известна история с молодым трубачом (подробнее всего из письма министра народного просвещения И. Д. Делянова) – будто бы главная причина разрыва их отношений. Дело получило широкую огласку летом 1887 года. Записки гр. Витте дают необходимые разъяснения о скандале⁴⁹⁰. Конфликт разгорелся между кн. Мещерским и гр. Ф. Э. Келлером вокруг молодого трубача из подчиненного графу лейб-гвардии четвертого стрелкового императорской фамилии батальона столичного гарнизона. Князь добился отставки военачальника, препятствовавшего ему видеться с любовником. Но позднее проведенное расследование подтвердило правоту графа Келлера, а слухи о деле быстро распространились по Петербургу. В дневнике Филиппова за 1892 год не раз упоминается и получатель записки М. Н. Островский, нередко бывавший у государственного контролера в гостях и пересказывавший ему деликатные подробности министерских интриг⁴⁹¹. Таким образом, упомянутые в записке лица, их покровители вовлечены в серьезные политические интриги, и любой осведомленный высокий сановник не мог отрешиться от этой «злобы дня», читая публикуемый документ. Интересно, однако, и то, сколь малую роль сыграла собранная полицейская информация в перипетиях карьеры попавших в «черный список» лиц, как это видно из биографии и самого князя Мещерского, вновь оказавшегося «на коне» в конце 1890-х годов, уже при Николае II, и из фактов жизни менее заметных фигур. Например, А. А. Гусев, младший столоначальник Лесного департамента Министерства государственных имуществ, получил повышение по службе в 1886 году, спустя 8 лет после заведения на него полицейского досье, и стал старшим столоначальником (с 1884 г. – коллежский советник) того же департамента. В июне 1891 года он переходит к Филиппову в Госконтроль на должность чиновника особых поручений VI класса и позднее получает ранг статского советника⁴⁹². Поэтому мы склонны предположить, что в тогдашней придворно-бюрократической атмосфере агентурная информация, наподобие собранной, могла использоваться главным образом в качестве «подспорья» в закулисных чиновничьих интригах.

II. О языке документа

а) Что такое мужеложество?

Остановимся на особенностях риторики настоящего текста. Перед нами образец бюрократического письма без юридических или медицинских коннотаций. Автор, полицейский чиновник, пользуется понятием «*мужеложество*» для описываемого им явления. Происхождение слова – древнерусское: его наиболее ранней зафиксированной формой было «*мужелогание*» (впервые – в тексте XII века). Это понятие – «калька» древнегреческого *arrenocoltiah* – «соединение мужчин, самцов», «мужесцепление» – и, тем

⁴⁹⁰ К.П. Победоносцев и его корреспонденты. Письма и записки. Т. I: *Novum Regnum*. Полутом 2-й. М.; Пг.: ГИЗ, 1923. С. 673–674, 729–733, 849–850; *Vumme C. Ю.* Там же. Т. III: 17 октября 1905–1911. Царствование Николая II. М.: Изд-во соц.-эконом, лит-ры, 1960. С. 582.

⁴⁹¹ РГИА. Ф. 728. Оп.1. Д. 1. Л. 2–3 и др.

⁴⁹² РГИА. Ф. 387. Оп. 3. Д. 28152. Л. 12, 223, 28, 38, 43–43 об.

самым, означает определенное действие. В российской медицинской литературе конца XIX века «мужеложество», «содомия» и «педерастия» часто использовались как синонимы. Два последних имели более широкое применение и отличались известной неопределенностью значений, имея в виду и гомо-, и гетеросексуальные акты. «Мужеложество» как юридический термин могло описывать и гетеросексуальный анальный акт (казус, известный из определения Сената по делу Микиртумова в 1869 г.). В публикуемом документе это понятие охватывает как анальный, так и оральный секс, взаимную мастурбацию, мужской групповой секс и мужскую проституцию, означая известные телесные акты (но не более того!). При всей расплывчатости понятий можно утверждать, что автор далек от идеи патологической гомосексуальной личности и рассматривает то, что позднее назовут «гомосексуализмом» как недавно возникший и быстро распространившийся социальный порок («существует уже несколько лет»), свойственный «главным образом» «людям богатым, для которых сношения с женщинами сделались уже ненавистными». «Неимущие» и «молодые люди» – только «жертвы», кои «питают весьма часто глубокое презрение к подобного рода промыслу, но отдаются ему тем не менее, хотя и с отвращением, ради выгод и приобретения средств к веселому и легкому существованию». Эта картина сексуального поведения куда больше напоминает взгляд на человеческое тело как социально, а не биологически детерминированное, распространенный в анатомических и медицинских трактатах до середины XVIII века, нежели современные автору европейские «натуралистические» представления. При этом, правда, важно отметить, что медицина 1880–1890-х годов также оставляла широкое поле для понимания гомосексуализма лишь как социального порока: например, В. М. Тарновский уделял значительное внимание «приобретенной педерастии»⁴⁹³. В свою очередь, тема социально-имущественного расслоения стала доминировать в размышлениях российской образованной публики после эпохи Великих реформ, в годы быстрого экономического развития при Александре III (1881–1894). «Купеческая» драматургия А. Н. Островского, «крестьянская» литература, социальные романы Л. Н. Толстого так или иначе обратились к обсуждению болезней «капитализации» страны. Появление слоя неимущих, но праздных горожан, «людей дна» также «оформилось» в самостоятельную тему публицистов и писателей. В отличие от распространенного в западноевропейских текстах имиджа опасного «люмпен-пролетария», которого необходимо надежно изолировать и контролировать как источник беспорядка и болезни, в т. ч. для буржуазного семейства, в России часто используется иная конструкция – развратный «буржуа»/бюрократ/дворянин разлагает традиционную народную нравственность. Имея богатую предысторию в славянофильской традиции, эта идея была подхвачена и консерваторами с их антибюрократической риторикой, и осторожными либералами с их противоречивым идеалом Запада, и революционерами с дорогим их сердцу крестьянином-общинником, а позднее – пролетарием. Конечно, существовало и близкое соответствующим европейским текстам видение предмета, но в подчеркнуто умеренных тонах и с более чем немногочисленным кругом сторонников (по крайней мере, до 1907–1917 гг.). Эта же специфика отличает и русские медицинские и юридические тексты о проституции и гомосексуализме (при всех их отличиях друг от друга). Мы не стали бы утверждать, что такой взгляд на вещи заимствован нашим чиновником из каких-то текстов, – речь идет о «духе времени».

б) Публичное и приватное: Россия и Европа.

Тема «заговора», опасной «приватности» происходящего – еще одна связующая нить

⁴⁹³ Тарновский В. М. Извращение полового чувства. Судебно-психиатрический очерк // Вестник клинической и судебной психиатрии и невропатологии. Вып. II. СПб.: К. Риккер, 1884. С. 44–68. Ср. с концепцией В. М. Бехтерева: Бехтерев В. М. Лечение внушением превратных половых влечений и онанизма // Обзорение психиатрии, неврологии и экспериментальной психологии. 1898. № 8. С. 587–597.

текста записки. «Развратники» «с одного взгляда узнают друг друга по некоторым неуловимым для постороннего приметам, а знатоки могут даже сразу определить, с последователем какой категории теток имеют дело». У них бывают «собрания», «вечера» и «балы» в различных местах города, есть нечто вроде «клуба» в одном ресторане (видимо, в ресторане Палкина), «высокопоставленные покровители», соединяющие общество «сводни» и даже «особого рода клятва», наподобие масонской, обязывающая «помогать» и «доставлять места» друг другу. «Разврат» скрывается «под благовидным покровом частных семейных вечеров и кутежей в гостиницах». Для пополнения своего круга молодежью члены общества «не щадят, как известно, никаких средств». Впоследствии некоторые их жертвы кончали самоубийством, а другие – «в лучшем случае» – «покидали родительский дом, чтобы жить *отдельно* на счет своих содержателей-теток, и затем уже *бесследно исчезали* для своих родных надолго, если не навсегда». Опасное общество разрушает и другой традиционный институт – армию, подрывая отношения субординации и «строгой дисциплины» в войсках.

Предложить более или менее убедительную интерпретацию этого настроения можно, учитывая как недавний, так и более отдаленный исторический контекст. Страхи перед тайными обществами разного рода, но с неизменно – для власть предержащих – разрушительными, «революционными» намерениями появились в России после Великой Французской революции и в еще большей мере в конце царствования Александра I и при Николае I. Напомним, что именно в 1822 году было запрещено российское масонство.

Однако еще более важными представляются события 1860–1880-х годов. Деятельность тайных революционных организаций при Александре II, повлекшая за собой в конце концов гибель царя, и расцвет идеологии консерватизма в России заслуживают в этой связи особого внимания. В условиях быстрого разрушения традиционного общества автору записки главные угрозы видятся в постепенном овладении «развратниками» государственным аппаратом, подрыве основ армии и семьи, то есть прежде всего отношений патриархальной власти. Кроме того, на страницах документа отразились сложные отношения между едва народившейся протобуржуазной общественностью и государством; коллизии, связанные с появлением грани между публичным и приватным. В этом смысле в документе не усматривается специфически российских особенностей: подобные страхи широко распространились и в меняющейся Европе. Конкретно тема масонства могла прийти на ум полицейскому чиновнику и в связи с возрождением интереса к старому русскому масонству, и в связи со скандалами, сотрясавшими французское общество эпохи Третьей республики, о чем в России были осведомлены. Последнее даже более вероятно, поскольку сомнительно, чтобы полицейский чин со столь неизощренным языком читал научные трактаты по истории отечественного масонства.

Характерно, что самоназвание описываемых в записке лиц – «тетки» – калька распространенного французского вульгаризма «*tantes*» (в смысле «гомосексуалисты»), что вписывает и эту сторону русской жизни в европейский контекст. Слово могло прийти в Россию разными путями – посредством французов, живших в Петербурге, благодаря русским путешественникам, через литературу и т. п. Да это и не столь важно: главное – это отсутствие разрыва между русскими и европейскими реалиями.

В заключение мы хотели бы отметить, что дальнейшее изучение как данного текста, так и материалов, обнаруженных нами в связи с фигурирующими в нем лицами и событиями, открывает новые возможности для обсуждения проблемы появления и развития современных личности и общества в России, их национальной специфики на европейском – прежде всего германском и французском – фоне, представлений о человеческом теле, публичном и частном и др. Долгое время игнорировавшиеся исследователями, подобные тексты встречаются в отечественных архивах, по всей видимости, не реже, чем в других странах, и заслуживают самого пристального внимания.

По поводу переданного мне Вашим Превосходительством, при письме известного лица, анонимного заявления о разившемся в столице мужеложестве⁴⁹⁵ долгом считаю представить на благоусмотрение Ваше некоторые сведения, имеющиеся уже в вверенном мне Управлении по означенному предмету.

Порок мужеложества существует уже несколько лет, но никогда не принимал такого размера, как в настоящее время, когда нет, можно сказать, ни одного класса в Петербургском населении, среди которого не оказалось бы много его последователей. Как результат полового пресыщения, порок этот главным образом осуществляется людьми богатыми, для

⁴⁹⁴ Нижеследующие комментарии (В файле – № сноска с 495 по 507 – прим. верст.) составлялись с учетом публикации Константина Ротикова в «Невском архиве» с тем, чтобы избежать ненужных повторений. Однако в ряде случаев мы дополняли или корректировали приводимые Ротиковым факты; иногда – если это представлялось важным – выделяли его источниковедческие наблюдения.

⁴⁹⁵ Автор документа мало знаком с принятыми на тот момент в отечественной и зарубежной медицинской литературе описаниями гомосексуального поведения. Представление о гомосексуализме как медицинской патологии, кардинальным образом меняющей поведение личности, складывается в риторике врачей именно во второй половине XIX столетия и, насколько это сегодня очевидно, тесно связано с общими «параметрами» дискуссии о том, что мы называем сексуальностью, как они сложились еще в XVII–XVIII веках (см.: *Foucault M. Histoire de la sexualité. T. I: La volonté de savoir. Paris: Gallimard. 1976*). Ныне стала общим местом констатация того, что сами по себе наблюдаемые специалистом «плотские удовольствия» не предопределяют их интерпретации и могут быть описаны по-разному, а их концептуализации зависят от мировоззренческого, социально-культурного и, до известной степени, политического контекста эпохи. Оказавшись научным объектом, они в то же время становятся фактом культуры. Упомянутый «контекст» допускает различные стратегии интерпретации, пользующиеся, однако, одним и тем же словарем/совокупностью словарей (только поэтому они оказываются результатом деятельности современников и понятны им – то есть взаимопереводимы). Так, сексуальные практики, описываемые с недавних пор как «гомосексуализм», оказались к концу прошлого века привязанными к понятиям «патология» и «дегенерация» (моральная/физиологическая). Однако, относимые к миру негативно-маргинального – по отношению к ценностям «среднего буржуа», – они получили весьма различные интерпретации в рамках одного и того же терминологического круга (ср.: *Mosse G. L. Masculinity and the Decadence // Sexual Knowledge, Sexual Science: The History of Attitudes to Sexuality / Eds. Porter R., Teich M. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. P. 251–266*). Неудивительно, что профессиональные различия между специалистами-медиками, писавшими на эту тему, сильно влияли на формирование и развитие объяснительных стратегий. Лечащие врачи-психиатры ставили акцент на физиологических и психических изменениях у пациента-гомосексуалиста (врожденных или приобретенных). Такой подход продемонстрирован, в частности, в широко известных русским врачам текстах французского доктора А. Тардьё по судебной медицине (*Tardieu A. Étude médico-légale sur les attentats aux mœurs. 7-е изд. Paris, 1878*). Судебно-медицинские эксперты выделяли прежде всего тему моральной «дегенерации», насилия, соращения и привычки. Сочинения таких немецких авторитетов, как Й. Л. Каспер (Практическое руководство к судебной медицине. СПб., 1872), оказали сильное влияние на их российских коллег. Таким образом, один и тот же набор фактов мог быть представлен как следствие глубоких перемен в психике больного либо как проявление социально опасной «дурной привычки». Разумеется, такое чистое разделение двух подходов никогда не имело места, но помогает понять разницу в «пафосе». Тема приобретенного порока и слабого волевого контроля у лиц с врожденными «противоестественными наклонностями», кажется, приобрела доминирующее значение в текстах русских врачей о гомосексуализме. Даже у такого «натуралиста», сторонника Ломброзо, как В. М. Тарновский, проблема «приобретенной педерастии» играет не меньшую роль, чем наследственные причины (*Тарновский В. М. Извращение полового чувства. Судебно-психиатрический очерк // Вестник клинической и судебной психиатрии и невропатологии. Вып. II. СПб.: К. Риккер, 1884. С. 1–108*). В. М. Бехтерев в этюдах конца века рассматривает гомосексуализм в перспективе складывания в конкретных жизненных обстоятельствах соответствующих психологических установок и рекомендует гипноз (в качестве элемента комплексной терапии) для снятия этих «наваждений» (см., например: *Бехтерев В. М. Лечение внушением превратных половых влечений и онанизма // Обозрение психиатрии, неврологии и экспериментальной психологии. 1898. № 8. С. 587–597*). Таким образом, российская медицина оставляла большое пространство для этической дискуссии с социальными импликациями. Риторика «биологической дегенерации» и «вымирания нации» если и звучала здесь, то не так громко, как во Франции рубежа веков.

которых сношения с женщинами сделались уже ненавистными, и если кружок этих лиц и пополняется затем людьми неимущими, молодыми, то лишь как жертвами, служащими для удовлетворения первых, причем жертвы эти питают весьма часто глубокое личное презрение к подобного рода промыслу, но отдаются ему тем не менее, хотя и с отвращением, ради выгод и приобретения средств к веселому и легкому существованию.

Возмутительно циничные подробности этого рода разврата, как он практикуется, передаются в следующем виде, а именно: 1-й – когда мужчина, вследствие полового возбуждения, вводит свой член в задний проход другого мужчины и таким образом совершает половой акт; 2-й – когда мужчина вводит свой член в рот другого, причем последний щекочет член языком и таким образом удовлетворяет первого; 3-й – когда мужчина вводит свой член между ляжек другого; 4-й – когда мужчины взаимно онанируют; 5-й – когда мужчина совершает половой акт с молодым человеком или мальчиком посредством одного из четырех первых видов, но при этом чувствует потребность, чтобы в его собственный задний проход вводил член другой мужчина более возмужалый и по возможности с большим членом, и 6-й – когда молодой мужчина, представляя собою проститутку, удовлетворяет за деньги любого мужчину на все способы.

Последователи всех упомянутых видов мужеложества как летом, так и зимою сходятся в разных местах. Тетки, как они себя называют, с одного взгляда узнают друг друга по некоторым неуловимым для постороннего приметам, а знатоки могут даже сразу определить, с последователем какой категории теток имеют дело.

Летом тетки собираются почти ежедневно в Зоологическом саду, и в особенности многолюдны их собрания бывают по субботам и воскресеньям, когда приезжают солдаты из лагеря и когда свободны от занятий юнкера, полковые певчие, кадеты, гимназисты и мальчишки подмастерья⁴⁹⁶. Солдаты Л. Гв. Конного полка, кавалергарды, казаки, как Уральцы, так и Атаманцы, приходят в Зоологический сад единственно с целью заработать несколько двугривенных без всякого с их стороны труда. Они знают почти всех теток в лицо, и вот солдат, проходя мимо одного из них, многозначительно взглядывает на него и направляется в сторону ватерклозета, оглядываясь, следует ли за ним тетка. Если тетка идет, то в ватерклозете он делает вид, что отправляет свои естественные нужды, и старается показать свой член. Тетка становится рядом, и если член действительно большой, то щупает его рукой и платит солдату 20 коп. Подобного рода щупанье тетка проделывает несколько раз в вечер и, выбрав себе член по вкусу, отправляется с солдатом в ближайшие бани, где употребляет его в задний проход, или, наоборот, солдат употребляет туда же тетку, за что и получает от него от 3–5 рублей⁴⁹⁷.

С юнкерами, кадетами, мальчишками подмастерьями тетки проделывают то же самое, но только с тою разницею, что щупают их за задницу и, найдя ее соблазнительною для себя,

⁴⁹⁶ В литературе того времени рассуждения о маргиналах как главном товаре для гомосексуалов из «высшего света» – общее место. Автор руководства по «судебной гинекологии» ограничивает круг юридических казусов из петербургской практики делами банщиков (из числа бывших крестьян), нанявшихся к обезумевшему старику-помещику молодых людей без определенных занятий и т. п. (*Мержеевский В.* Судебная гинекология. Руководство для врачей и юристов. СПб.: Б. Г. Ямпольский, 1878. С. 238–255). В. Тарновский указывает на исключительную «снисходительность» русского простолюдина к «барским забавам», передавая истории дворников и прислуги (*Тарновский В. М.* Извращение полового чувства... С. 69–72).

⁴⁹⁷ На рубеже 1870–1880-х годов услуги проститутки на петербургском рынке оценивались в среднем в 50 копеек. Ср.: *Левина Н. Б., Шкаровский М. В.* Проституция в Петербурге (40-е гг. XIX в. – 40-е гг. XX в.). М.: Прогресс-Академия, 1994. С. 23.

угощают их в саду и затем отправляются с ними на квартиру или в баню. По будням в Зоологический сад тетки отправляются поздно, а до того времени гуляют по Конно-Гвардейскому бульвару. Кроме того гуляют в других садах, по Невскому, заходят в кондитерские, где смотрят, нет ли молодежи. Солдаты и молодые люди, желающие, чтобы их пощупали за члены и заплатили за это, вертятся близь писсуаров у Аничкина моста и близь ватерклозета на Знаменской площади, у Публичной библиотеки и у Михайловского сквера, куда тетки также заглядывают. Зимой тетки встречаются: в среду – в балете, в субботу – в Цирке, Михайловском и Малом театрах, по понедельникам в кафе-шантанах, откуда непременно отправляются ужинать в гостиницы, из которых особенно часто выбирается один ресторан, считающийся как бы клубом теток⁴⁹⁸. Здесь они пользуются большим почетом, как выгодные гости, и имеют даже к постоянным услугам одного лакея, который доставляет в отдельные кабинеты подгулявшим теткам молодых солдат и мальчиков.

По воскресеньям зимой тетки гуляют в Пассаже на верхней галерее, куда утром приходят кадеты и воспитанники, а около 6 часов вечера солдаты и мальчишки подмастерья. Любимым местом теток служат в особенности катки, куда они приходят высматривать формы катающихся молодых людей, приглашаемых ими затем в кондитерские или к себе на дом. Во время праздников и на Масленице тетки днем гуляют на балаганах, а вечером в манеже, где бывает масса солдат и мальчишек, специально приходящих, чтобы заработать что-нибудь от теток⁴⁹⁹.

Для большего общения богатые тетки устраивают вечера, балы, на которых они являются в сопровождении своих любовников. Один из таких балов еще недавно был по случаю новоселья в одной роскошно убранной квартире почти в центре города, при этом сам хозяин и некоторые из теток были в дамских платьях. Гостям был подан сначала чай с коньяком, закуска, после чего они танцевали почти до 4-х часов, когда сервирован был роскошный ужин. За ужином вина подавались в гигантских стеклянных членах и провозглашались тосты, соответствующие этому рауту, причем в числе других выделялся тост за отсутствующих высокопоставленных покровителей общества и в особенности за одно высокопоставленное лицо, считающееся высшим покровителем⁵⁰⁰. После ужина началась страшная, возмутительная оргия. Мужчины-дамы разделись голыми и в таком виде стали продолжать танцы. В кабинете на роскошной турецкой мебели виднелись в полутьме пьяные группы теток, которые сидели друг у друга на коленях, целовались, щупали друг друга за члены и онанировали; тут же лежал отдельно один из гостей, совсем голый, напоминающий своим телосложением женщину (под комическим названием «Нана»), и перед ним несколько других мужчин, целующих и щупающих его. Оргия продолжалась до утра, после чего все разъехались попарно с своими мужчинами-дамами, некоторые домой, а некоторые в гостиницы и бани. Прислугою на таких вечерах обыкновенно не стесняются, потому что она подобрана из своих.

В организации общества теток самым деятельным органом являются так называемые

⁴⁹⁸ Речь, вероятно, идет о ресторане Палкина, ибо «один лакей» – скорее всего, Зайцев, «лакей в ресторане Палкина» и «сводня», согласно списку персоналий в конце документа. См.: *Ротиков Константин*. Эпизод из жизни «голубого» Петербурга // Невский архив: Историко-краеведческий сборник. III / Сост. А. И. Добкин, А. В. Кобак. СПб.: Atheneum-Феникс, 1997. С. 454–455.

⁴⁹⁹ См. примеч. 2. (в файле – примечание № 496. – *верст.*).

⁵⁰⁰ Нельзя исключать, что автор имеет в виду великого князя Сергея Александровича Романова, ставшего в 1891 году московским генерал-губернатором. См. о нем во вступительной статье.

«сводни» – это лица, занимающиеся приисканием невинных мальчиков для развратных теток и дающие у себя иногда приют, за деньги конечно, всем случайным педерастам, сошедшимся на улице. Все члены общества связаны между собою особого рода клятвою, практиковавшеюся когда-то в масонских ложах⁵⁰¹, которая обязывает их помогать друг другу и всеми возможными способами охранять свое ремесло от опасности преследований, а также доставлять нуждающимся места или покровительство сильных, что не представляется для них особенно трудным, ввиду того, что к обществу теток принадлежат большею частью лица, служащие в Министерствах и занимающие выдающиеся как на службе, так и в обществе места.

Последствия этого зла, пустившего, по-видимому, глубокие корни в столице, в высшей степени разнообразны и вредны. Помимо извращения общественной нравственности и общественного здоровья, оно в особенности вредно влияет на семейное положение молодых людей, воспитанников почти всех учебных заведений и на дисциплину в войсках⁵⁰². Многочисленные случаи самоубийств молодых людей в нескольких случаях обнаруживали, что это были жертвы педерастии, жертвы невольные, не имеющие достаточно силы воли, чтобы высвободиться от развратных уз, в которые они попали, тем более что главные развратители держали их в постоянном опьянении и не давали очнуться. В лучшем случае молодые люди, вместо самоубийств, покидали родительский дом, чтобы жить отдельно на счет своих содержателей-теток, и затем уже бесследно исчезали для своих родных надолго, если не навсегда.

Деморализация же в войсках представляется фактом, не требующим доказательств. Нижний воинский чин, проводящий время в бане вместе с офицером, своим непосредственным начальником, не может не быть деморализован до последней степени, так что о поддержании строгой дисциплины тут едва ли может идти речь. В заключение я обязанностью считаю выразить, что все эти явления хорошо известны столичному обществу, которое в последнее время не скрывает уже своего негодования против бездействия властей за непринятие ими каких-либо мер к искоренению этого зловерного разврата. Ведомства Военное и Народного просвещения крайне встревожены распространением опасной заразы среди их подчиненных, и, как слышно, учебное начальство, напуганное уже прежним скандальным процессом о мужеложстве, касавшимся лица его ведомства – именно содержателя Гимназии Бычкова, намеревается, для отстранения от себя нареканий, потребовать строгого дознания по этому делу, ввиду слухов последнего времени. То обстоятельство, что никто из потерпевших не обращается до сих пор с жалобой к прокурору или вообще к судебному ведомству по поводу упомянутого преступления, объясняется, по-видимому, тем недоверием, которое сложилось в обществе после известных процессов названного Бычкова⁵⁰³ и инженера Иолшина, когда оно убедилось, что судебные кары

⁵⁰¹ К началу 1890-х годов появились первые исследования по истории российского масонства XVIII – первой четверти XIX века. См., в частности: 1) *Пекарский П.* Дополнения к истории масонства в России XVIII столетия. СПб.: ИАН, 1869. IV + 224 с.; 2) *Пьтин А.* Хронологический указатель русских лож от первого введения масонства до запрещения его. 1731–1822. СПб.: М. Стасюлевич, 1873. 44 с.; 3) *Опочинин Е.* Несколько исторических сведений о франк-масонах. СПб.: МВД, 1883. 30 с.

⁵⁰² Ср.: *Мержеевский В.* Указ. соч. С. 241. Автор рассказывает о задержании унтер-офицера 45 лет и солдатского сына 19 лет за гомосексуальный акт поздним вечером близ полотна Царскосельской железной дороги (1871 г.). Замечание о деморализации нижних воинских чинов в бане могло быть спровоцировано процессом по делу артели петербургских банщиков, прирабатывавших в качестве гомосексуальных проституток (1860-е гг.): Там же. С. 238–241.

⁵⁰³ Имеется в виду процесс по делу Федора Федоровича Бычкова (1831 г.р.) – статского советника, директора одной из престижных частных гимназий С.-Петербурга, сына генерал-лейтенанта артиллерии и брата

бессильны в этом отношении, ибо, несмотря на строгое осуждение названных лиц, развитие зла не только не остановилось, но еще более усилилось. Отсюда делается прямой вывод, что только мерами администрации может быть парализовано это зло, скрывающееся под благовидным покровом частных семейных вечеров и кутежей в гостиницах.

Поэтому принятие строгих мер в настоящее время было бы уместно хотя бы для того, чтобы предупредить возможность окончательного падения тех несчастных жертв молодежи, которые уже намечены и подготовлены, но не успели еще бесповоротно попасться в сети развратников, не щадящих, как известно, никаких средств для дальнейшего их совращения.

Анненков , 50-ти лет, богатый человек, член Английского клуба, имеет большие связи . Страсть его к молодым людям и более к мальчикам, которых он употребляет в задний проход, между ляжек, сосет член и лижет ноги. Знакомится преимущественно с гимназистами, кадетами, лицеистами, правоведами и кантонистами; знаком с теткой Сережей. Действует открыто.

Бабин , служит в Дирекции Императорских Театров, куда поступил через Всеволожского ⁵⁰⁴. Не богат . Вращается в высшем кругу; из этого же круга старается завербовать молодых людей. Скрывается.

Батурин, 20-ти лет, сын Сенатора, служит в Волжско-Камском банке, очень красив . Бывает всюду и среди теток считается кокеткой высшей марки. Не чуждается женщин.

Берг , женат . Среди теток зовется Бергшей, – дама, любит солдат и молодых людей с большими членами.

Бернов Михаил Александрович , 25-ти лет, подпоручик в запасе, служит в Казенной Палате . Дама, любит, чтобы его употребляли молодые, красивые люди высшего круга, сам же употребляет солдат. Бывает всюду.

Блямбенберг – богатый человек . Употребляет молодых людей и живет даже с молодым человеком – Павлушей, который у него на содержании. При нем сводня –

Афанасия Федоровича Бычкова, директора Императорской Публичной Библиотеки и члена Государственного совета. Процесс по делу Бычкова состоялся 9–13 сентября 1883 года в Петербурге, приговор был объявлен 27 сентября и вступил в законную силу 18 ноября того же года. Решением суда обвиняемый был признан виновным в: «1, в развращении воспитанников содержимой им гимназии Сергея Колонтарова, 13 лет, Петра Нозикова, 11 лет, и Николая Шульгина, 13 лет, посредством развития в них бесстыдными действиями порочной склонности к мужеложеству (ст. 993 Уложения о наказаниях) и 2, в остановленных по независимым от него, Бычкова, обстоятельствам покушениях на мужеложество над названными воспитанниками Колонтаровым и Нозиковым (ст. 996 Уложения о наказаниях)» (РГИА. Ф. 1405. Оп. 83/84. Д. 10544. Л. 14). Кассационная жалоба осужденного была отвергнута Сенатом. Александр III, ознакомившись с обстоятельствами дела, собственноручно написал: «После всего прочитанного у меня никаких сомнений нет в виновности Бычкова» (Там же. Л. 13). Бычков был приговорен к ссылке на поселение в «места Сибири, не столь отдаленные» и к лишению всех прав состояния. В деле имеются прошения брата осужденного, вышеупомянутого А. Ф. Бычкова, и его теток Антуанетты де Вульфферт, вдовы генерал-директора почт. Великого княжества Финляндского, графини Маннергейм и вдовы адмирала фон Шанц, оставленные без последствий. Спустя пять лет после приговора просьбы осужденного и его родственников наконец были услышаны. 30 ноября 1888 года император согласился на возвращение Бычкова в Европейскую Россию, в родовое имение в Ярославской губернии, и приписывание его к одному из податных сословий (Ф. 1405. Оп. 89. Д. 7686. Л. 16). Наконец в 1893 году Бычков был восстановлен во всех правах, кроме возвращения ему чина статского советника (Ф. 1405. Оп. 93. Д. 5729. Л. 10–11). Информация о процессе публиковалась на страницах петербургских газет, хотя и сугубо официально, без деталей и подробностей. Складывается впечатление, что петербургские читатели были и без того осведомлены о сути дела. Ср., например, корреспонденции: Новое время. 1883. 10 и 14 сентября; Санкт-Петербургские ведомости. 1883. № 247; Санкт-Петербургская газета. 1883. № 248. Изданных заметок следует, что процесс проходил при закрытых дверях, причем в выходные дни и в ночное время (последнее заседание закрылось в пятом часу утра 13 сентября 1883 г.).

⁵⁰⁴ Всеволожский Иван Александрович (1835–1909), окончил Петербургский университет, служил в министерствах иностранных дел и императорского двора; с 1881 года директор императорских театров (с 1886 по 1899 г. – директор петербургских императорских театров).

Г. И. Депари. Очень скрывается, от теток держится подальше.

Бьерклюд , 35-ти лет, портной-закройщик в магазине «Albert» на Литейной . Любит солдат и молодых людей, у которых сосет член и употребляет их между ляжек. Действует открыто.

Богданов Константин Николаевич , брат табачника и рысачника Богданова, 28-ми лет, богат, актер-любитель. Употребляет молодых людей и солдат и щедро за это им платит. Последние два года жил с А. Налетовым, бывшим в большой моде. Бывает всюду, как летом, так и зимою. Педерастов ему доставляет Г. И. Депари. Не скрывается и действует открыто.

Вадбольский , юнкер Тверского Кав. Уч . Ходят слухи, что он делает с Ципертом; они вместе бывали в манеже.

Варгунин , солдат Кавалергардского полка . Педераст за деньги, как активный, так и пассивный.

Величко , 55-ти лет, служит в Тюремном комитете, в хороших отношениях с Галкиным-Врасским . Дама, любит рослых солдат с большими членами, которые употребляют его в задний проход и в рот. Не скрывается.

Фон-Визин , 25-ти лет, недавно получил наследство . Любит употреблять солдат; бывает всюду.

Воробец-Сперанский Михаил Михайлович , актер; приехал из Оренбурга 31 Декабря 1888 г. за получением наследства . Тетка, употребляет солдат, большею частью Л.-Гв. Конного полка, не прочь также, чтобы его употребляли солдаты с большими членами. Знаком со всеми тетками в Петербурге.

Вернер , 45 лет, служит в Тульском банке. Состоятельный человек . Любит употреблять красивых гимназистов, кадет и вообще мальчишек. Считается старой теткой и знатоком по части мужеложества. При нем сводня Депари.

Гавликовский ⁵⁰⁵, 22-х лет. Артист балета Императорских театров . Педераст за деньги. С ним между прочим жил Раух.

Данилевич Петр Иванович , 35-ти лет; служит в Городской думе Начальником отделения . Употребляет солдат. У него журфиксы по средам; скрывается, но бывает всюду; принимает у себя и ходит в бани.

Данауров , 38-ми лет, цензор . Употребляет молодых людей, иногда позволяет им употреблять также себя. С первым из теток он познакомился с Линевским, теперь же иногда делает с Матвеем Севостьяновым.

Депари Григорий Иванович , 42-х лет, делает цветы из перьев, беден. Готовится к рыболовной выставке и работает к ней цветы и бабочек. 9 января он снес убор, сделанный им из перьев на платье, во дворец Великого Князя Сергея Александровича для передачи Великой Княгине через Камер-фрау и назначил цену, но убор не был куплен . Сводня и знаток по части мальчишек, солдат и дворников. Бывает всюду и знакомится с молодыми людьми, солдатами и кантонистами, а потом их сводничает богатым теткам. К нему обращаются солдаты с просьбою свести их с тем или другим из теток и платят за это куртаж. Сам он употребляет мальчишек, с солдатами же онанирует. С 8 до 10-ти вечера у него на квартире можно застать мальчишек, которых он сам употребляет или сводничает. По субботам бывают солдаты; бывает всюду, но действует осторожно. Знает почти всех теток в Петербурге, Москве и Одессе; состоит в качестве сводни за плату: у Богданова, Блямбенберга, Вернера, Засядки, Маркелова, Князя Мещерского, Обрезкова, Штейнберга, Энгельфельдта. Сам же Депари делает теперь с мальчишкой из портной лавки в том же доме, где живет. В письмах подписывается «Григорий Иванов».

⁵⁰⁵ Гавликовский Николай Людвигович (р. 27.10.1868 – ум. после 1907 г.), сын «варшавского жителя»; казенный воспитанник Петербургского театрального училища, которое он закончил в 1887 году; артист кордебалета императорской труппы с жалованьем 600 рублей в год. Закончил службу в 1907 году первым танцовщиком (РГИА. Ф. 497. Оп. 5. Д. 645).

Дуденко , 19-ти лет . Педераст, которого можно иметь за деньги на все лады. Его ввел в общество теток года два тому назад Раух, с которым он жил целый год.

Екимов Василий Васильевич , 23-х лет, корнет 14-го Драгунского полка, очень красив . Будучи юнкером, был педерастом, теперь же реже бывает среди теток; был также в связи с Раухом.

Жданов Петр Николаевич , 31-го года, отставной Штабс-Ротмистр Кирасирского Его Величества полка . Употребляет молодежь из учащихся.

Жук Ян , женат, 35-ти лет, аристократ, богат . Любит солдат и молодых людей, которые его употребляют и которым он сосет члены.

Зайцев , 35-ти лет, удивительно похож лицом на женщину; недавно приехал из Москвы . В Москве пользовался успехом у теток. Не скрывается, бывает всюду; ввиду своей женоподобности ездит на балы, общественные и частные журфиксы в дамских платьях. Знаком со всеми тетками Петербурга и Москвы. Дама – любит солдат с большими членами.

Зайцев , лакей в ресторане Палкина . Сводня; доставляет подгулявшим компаниям теток в отдельных кабинетах мальчишек и солдат, за что берет деньги.

Засядка , 50-ти лет, отставной военный; самостоятельный богатый человек . Употребляет молодых людей, больше юнкеров и солдат, которых доставляет ему Г. Ив. Депари.

Иванов , 21-й год; служит в Городской Управе . Педераст за деньги на все лады. Среди теток не безызвестен; бывает всюду.

Катакази , 30-ти лет; сын сенатора, состоятельный человек . Дама, любит, чтоб его употребляли солдаты, преимущественно казаки, с большими членами. Имеет любовника – отставного казака, который живет у него на содержании. У него журфиксы по пятницам, на которых бывают: Маркелов, Ляс-Лянас, Фонвизин и др. Не скрывается, бывает всюду. Имеет брата в корпусе, который тоже начинает развращаться.

Корсак , 25-ти лет; Витебский помещик . Употребляет молодых людей; не чуждается и женщин. Между теток считается любовником Берга.

Краммер , барон, 35-ти лет; служит в Министерстве Иностранных дел . Употребляет солдат и молодых людей и сосет у них члены.

Куракин , 18-ти лет . Педераст; ходит вечером по Невскому проспекту, где старается встретить кого-либо из теток, делавших с ним, и попрошайничает. Многие, не желая с ним встречаться, не ходят по Невскому по правой стороне после 7 или 8 ч. вечера. Попрошайничает он нахально и в случае отказа заделывает скандал, как напр, было с Ципертом, который должен был идти с ним в участок, где Куракин объяснил, что Циперт делает ему противоестественные предложения, следствием чего было то, что Циперт ездил для объяснения к г. Градоначальнику с карточкой своей бабушки г-жи Рорберг.

Лаптев , 50-ти лет; управляющий театром «Фантазия». Употребляет молодых людей и солдат и сосет у них члены. Его считают любовником артиста Императорских театров Славина.

Леонтьев , Л.-Гв. Конногренадерского п . Употребляет молодых людей. Большой приятель барона Краммера, с которым всюду бывает.

Левашев , Л.-Гв. Конного полка . Употребляет молодых людей в задний проход и между ляжек. Считается любовником Насекина.

Ливен , барон, 35-ти лет; женат, домовладелец, служит в Императорском Эрмитаже . Употребляет молодых людей, дворников и солдат, в особенности Конно-Гвардейцев, у которых даже бывает на вечеринках в казармах. Бывает всюду.

Линевский Лукьян Адамович , 23-х лет; брат известной кокетки Нинон, воспитывался в пансионе Мирецкого . Будучи в пансионе Мирецкого, был педерастом за деньги, затем был последовательно на содержании у Эриха, у Стириха и у Маркелова. С год тому назад познакомился с женою издателя «Нивы» Маркса, влюбил ее в себя и подговорил ее развестись с мужем. Когда она получила разводную и 100 000 руб., он ее обобрал как липку и продолжает жить с ней только потому, что надеется выманить у нее оставшееся

имение в Финляндии. Он в настоящее время отделал себе квартиру с невероятною роскошью и задает у себя рауты и балы, на которых бывает по 40 человек приглашенных и которые в конце концов превращаются в оргии и сатурналии, напоминающие райские вечера. Сам он употребляет солдат и молодых людей с большими членами, дает им употреблять себя, сосет у них члены и взаимно онанирует; с ним живет Писковский. Действует открыто и бывает везде, знаком со всеми тетками Петербурга. Ухаживает в настоящее время за Моосом, делает с ним и платит ему по 25 руб.

Люстиг , 30-ти лет; *закройщик* . Дама, любит солдат и мужчин постарше, с которыми онанирует и сосет у них член и которые употребляют его.

Ляс-Лянас , 60-ти лет; *Секретарь Испанского Посольства* . Любит людей постарше с бородами, у которых он сосет члены и которые употребляют его. У него сводня – Депари.

Львов , князь, 28-ми лет . Дама, любит солдат, которые употребляют его.

Маркелов Сергей Иванович , 28-ми лет, *домовладелец и золотопромышленник; сын Тайного Советника и Камергера Двора* . Употребляет молодых людей, солдат и дворников и щедро вознаграждает за это. Вышеупомянутых лиц сводничает ему Депари; бывает всюду и действует открыто. Боится скандалов и вообще огласки и, чтобы избежать этого, готов на все.

Мещерский Владимир Петрович , князь, 55-ти лет, *Камергер; редактор газеты «Гражданин»*. Употребляет молодых людей, актеров и юнкеров и за это им протезирует. В числе его любовников называют Аполлонского и Корвин-Круковского. Юнкеров и молодых людей ему сводничают К. Ив. Чехович и Депари. Для определения достойна задниц его жертв, у него заведен бильярд.

Милославский , 20-ти лет; *солдат, музыкант Л.-Гв. Кон. п* . Педераст за деньги.

Моос , 17-ти лет, *ученик Петропавловского учил., сын экипаж. маст* . Педераст за деньги; в общество теток вывел его Раух, который был его первым любовником; теперь же он пошел по рукам.

Мухранский-Багратион , князь . Дама – в свете появляется всюду в обществе барона Шлихтинга; скрывается и боится огласки.

Мякишев , 20-ти лет; *служит в Министерстве Путей Сообщения* . Педераст за деньги.

Набоков Михаил Васильевич , 35-ти лет; *женат, служит в Эксплоатации Ник. желез. дороги; богат и принят в аристократическом кругу* . Употребляет солдат и молодых людей. Действует весьма скрытно, боится огласки.

Налетов Александр Александрович , 25-ти лет; *служит в Капитуле Орденов* . Года два тому назад был педерастом и кокоткой и был в большой моде. Последние два года жил на содержании у Богданова. В настоящее время употребляет дворников и солдат и онанирует с ними. Действует открыто.

Насекин Петр Евгеньевич , 20-ти лет . Кокотка, который перебивал на содержании у весьма многих и редкая тетка его не употребляла. Кроме того он сводничает мальчишек своим знакомым теткам. Действует открыто, бывает везде и держится нахально как проститутка. На общественных балах и маскарадах бывает в женских костюмах до мельчайших подробностей.

Николаев Михаил Александрович , 42-х лет; *служит в Правл. М. Брест. ж.д* . В молодости был педерастом, теперь же сосет члены у молодых солдат.

Обрезков , 60-ти лет; *Дейст. С. Сов. и Камергер, служит в Министерстве Внутр. Дел* . Дама, любит, чтоб его употребляли люди с большими членами. Сам же употребляет своего кучера и сосет у него член. Журфиксы по четвергам.

Оконешников Петр Петрович , 40 лет, *Московский купец* . Дама, любит мужчин с большими членами, сам же употребляет банщиков-мальчишек и сосет у них члены.

Орлов, князь. 20 лет . Употребляет мальчишек и молодых людей; у него на содержании был Насекин.

Писковский Болеслав , 22-х лет . Педераст за деньги.

Приселков , 28-ми лет . Употребляет солдат.

Протекинский Александр , 35-ти лет; богат . По прозванию Дина; употребляет солдат и сосет у них члены. Бывает всюду, действует открыто и нагло. Летом ездит в Красное Село.

Раух , 30-ти лет. Отставной офицер Л. Улан . Употребляет молодых людей. Среди теток считается Дон-Жуаном. Действует открыто; знаком со всеми тетками.

Сабинин Михаил Павлович ⁵⁰⁶ , грузин, исследователь древних монастырей на Кавказе . Любит употреблять мальчишек из учащейся молодежи. Бывает всюду, в особенности по вечерам у Филиппова в булочной, где сидит от 12-ти до 2-х ч. ночи.

Севостьянов Матвей Осипович , 21 год . Педераст, как активный, так и пассивный.

Симон Петр Густав , 41-го года, француз . Появляется с Раухом; употребляет молодых людей и щедро за это платит.

Скульский Целестин , 60-ти лет, живет игрою в карты в клубах . Сводня; лет 5-ть тому назад держал салон и устраивал вечера для теток. Дама – любит пожилых мужчин.

Славин Александр Александрович ⁵⁰⁷ , 24-х лет; актер Александрийского театра . Любовник Лаптева.

Стенбок , граф; **Адам Максимович** , 35-ти лет, Ротмистр Л.-Гв. Конного полка. Командир 3-го эскадрона . Употребляет молодых людей, юнкеров и пажей, очень осторожен.

Уствольский Василий Андреевич , 18-ти лет . Педераст за деньги; любовник Фрея, с которым выезжает в свет.

Фрей Яльмар Александрович , артист Русской оперы . Употребляет молодых людей.

Циперт Виктор , 30-ти лет, кассир Страхового общества «Нью-Йорк». Употребляет солдат и дворников и онанирует с ними; дает вечера с приглашениями. Действует открыто.

Чаплин Ермолай Николаевич , Титулярный советник, служит в Таможне; женат . Употребляет солдат; в обществе появляется с Шлихтингом.

Цехович Казимир Иванович , 40-ка лет; Подполковник, служит в Глав. Штабе . Употребляет юнкеров, мальчишек и молодых офицеров. Держит лакея – тетку. Знаток и сводня; действует открыто.

Шлихтинг , барон, 35-ти лет; миллионер . Употребляет и его употребляют солдаты; бывает всюду, но действует скрытно.

Штейнберг Карл Карлович , 50-ти лет; служит в банк, конторе Гинцбурга . Употребляет на все лады молодых людей, кантонистов и певчих. Вывел в общество теток Богданова; не скрывается.

Стирих Артур Вильгельм , 21-го года; актер частных сцен . Употребляет молодых людей, на них и разорился; теперь имеет на содержании ученика частного реального училища.

Юнеев , офицер Преображенского полка. Женат и богат . Употребляет молодых людей и имеет любовника из них.

Энгельфельдт Болеслав Сергеевич , 69-ти лет; генерал, богат . Сосет члены и онанирует с молодыми людьми и с солдатами, за что щедро платит; у него сводня Депари.

Гусев Астерий Александрович , 35 лет; служит в Министерстве Государственных Имуществ Начальником отделения .

Дама, любит рослых солдат с большими членами, сам же употребляет мальчишек-банщиков в восточных банях на Вознесенском проспекте. Среди теток зовется

⁵⁰⁶ Сабинин Михаил (Геброн) Павлович (ум. в 1900 г.), историк грузинской церкви. Окончил Тифлискую духовную семинарию, позднее – вольнослушатель Петербургской духовной академии. Кандидат богословия, автор «Истории грузинской церкви до VI века» (СПб., 1877).

⁵⁰⁷ Славин Александр Александрович (09.01.1864 – 28.01.1891), сын актера императорских театров А. П. Славина; казенный воспитанник Петербургского театрального училища; с 1882 г. актер драматической труппы. Умер от хронической пневмонии (РГИА. Ф. 497. Оп. 5. Д. 2900).

Аспазией. Не скрывается, хотя принимает только дома или сам бывает в банях. По улицам и в Пассаж не ходит.

Проблемы российской аспирантуры по социальным и гуманитарным наукам⁵⁰⁸

(в соавторстве с Б. Е. Винером)

Российская модель подготовки ученых в области социальных и гуманитарных наук не удовлетворяет требованиям сегодняшнего дня. В данном эссе авторы пытаются вскрыть причины и наметить возможные пути реформирования аспирантуры, являющейся системообразующим элементом этой модели. В основном мы опираемся на собственный опыт подготовки к написанию диссертаций в аспирантских программах России, США и Франции. В начале обосновывается необходимость изменений в институте аспирантуры. После этого формулируются цели реформы. Далее представлено краткое описание организации аспирантуры в странах, отличающихся современной системой организации науки (в разрезе «полезного» для российской реформы опыта). Наконец, предлагаются некоторые пути изменения сложившейся ситуации.

I. Почему нужна реформа аспирантуры?

Необходимость реформы аспирантуры вызвана совокупностью тех изменений, которые произошли с тех пор, как в 1930-е годы были закреплены главные основания этого института. Во-первых, российское общество изменилось и экономически, и с точки зрения социальной стратификации, и культурно. Мы уже давно не живем в индустриально-аграрной стране. Несмотря на беспрецедентный кризис 1990-х годов, Россия остается городской цивилизацией с экономикой, опирающейся на квалифицированную экспертизу, и неоднородной и противоречивой культурной средой. По-прежнему значителен слой людей с высшим образованием. Количество вузов не только не сократилось, но и заметно увеличилось за счет платного сектора российского образования. Выросла (или даже возникла) потребность в специалистах в сферах политики, финансов, подбора кадров, СМИ, массовых зрелищ, современного искусства и т. д., включая вузовских преподавателей и ученых. Формируется современный рынок соответствующей научной и учебной литературы. В таких условиях неизменно тесно связанная с общественно-политической жизнью социальная наука – как институт, производящий информацию, «технологии» и концептуальный аппарат и ради «большой политики», и ради самовоспроизводства, – приобретает все больший масштаб и значение. Обратной стороной этого процесса является прогрессирующая стандартизация труда даже в этой сильно индивидуализированной – сравнительно с естествознанием – сфере. Если рассматривать эти изменения в интернациональном контексте – и, следовательно, в контексте международного соревнования, – резонно допустить, что превращение информации, включая научно-гуманитарную, в полноценный товар, а ее производства – в «индустрию» вряд ли останется локальным явлением.

Во-вторых, подобно другим странам, в России университет превратился в подобие фабрики по производству специалистов-практиков. С одной стороны, произошла деиндивидуализация образования. Современные технологии вузовского обучения сходны с

⁵⁰⁸ Журнал социологии и социальной антропологии. 2002. Т. 5. № 2. С. 148–164 (в соавторстве с Б. Е. Винером).

обучением школьников, ибо предельно формализованы ⁵⁰⁹ (независимо от того, институционализированы ли эти формы ⁵¹⁰): у вузовского преподавателя, даже у преподавателя наиболее высокой квалификации, остается все меньше времени для индивидуальной работы со студентами. В то же время естественно изменился характер и существенно снизился средний уровень собственно *научных* требований к студенту. И хотя существует практика приема выпускников вузов на должности научных сотрудников в различные учреждения непосредственно после окончания вузов, в большинстве случаев такие выпускники еще не способны к самостоятельной научной работе и нуждаются в дополнительной подготовке либо в заочной аспирантуре, либо в совместной работе со специалистами более высокой квалификации.

Таким образом, в условиях стандартизации труда ученого-гуманитария высшее образование играет скорее роль «фабрики практиков», а не «фабрики ученых». Советская и постсоветская аспирантура также не выполняет этой функции, будучи «мастерской индивидуального пошива». А priori допускается, что аспирант посредством самостоятельной работы под присмотром научного руководителя воспитает в себе ученого. В то же время технологии отбора в аспирантуру (реферат, вступительные экзамены), приближаясь к стандартам приема в высшее учебное заведение, находятся в вопиющем противоречии с этой «мягкой» педагогикой саморазвития. Из числа соискателей выбирается наиболее удовлетворяющий некоторому набору формальных критериев, но затем от него требуются совсем не банальные качества, которые невозможно установить с помощью формального экзамена. Противоречие заложено в основание самой модели.

Между тем современная социальная наука отнюдь не «упростилась» сравнительно с первой половиной века или даже 1970-ми годами. Число парадигм значительно выросло, а концептуальный аппарат стал намного «тоньше». Математизация научного знания и связанная с ней забота о высокой логической культуре (в том числе и там, где математизация либо невозможна, либо бессмысленна) ⁵¹¹ ориентируют на безусловную четкость и последовательность как в построении теории, так и в конструировании объекта эмпирического исследования. Последнее стало менее интуитивным и более теоретически нагруженным. Знания и умения здесь, как и в других областях, приобретаются благодаря постоянному и грамотно организованному чтению, «очному» общению с коллегами и систематической тренировке аналитических способностей. Наша аспирантура не обеспечивает подобные организацию и тренинг. Более того, можно сказать, что она не «теоретична».

Канули в прошлое идеологические ограничения в области социальных и гуманитарных наук. Теперь преподаватель и студент могут самостоятельно выбирать свои теоретические ориентиры. Современная наука отличается множественностью парадигм, вступающих в реальные или мнимые противоречия друг с другом. Насколько современный российский аспирант обладает *концептуальным* знанием этой сущностно *плюралистичной* теории? В лучшем случае он не слишком глубоко разбирается в одном-двух теоретических подходах и не ориентирован на освоение работ оппонентов (или даже «соседей в теории»). Тем более он не может представить конкурирующие парадигмы во взаимосвязи. Универсальность теоретической подготовки утрачена – тем более вопиющий факт на фоне расширения

⁵⁰⁹ Под *формализацией* здесь и далее понимаются *стандартизация* процесса обучения, включая требования к студенту, и *универсальность* и *анонимность* этих стандартов (в идеале они приложимы к *любому* и *каждому* студенту).

⁵¹⁰ Хотя они безусловно институционализированы. Вузы – это бюрократизированные институции, производящие колоссальные объемы «документации».

⁵¹¹ В данном случае мы ориентируемся на средний международный уровень.

информационного пространства за счет Интернета, новых международных услуг наших ведущих библиотек, увеличения числа переводных публикаций, появления культурно-образовательных представительств зарубежных стран (в Петербурге это, например, British Council, Institut Français и др.) и т. д.

Современная социальная наука предполагает широкий набор методов и приемов исследования. Некоторые из них требуют специальной статистической подготовки, другие – специальных знаний в той или иной области. Трудоемкость социального анализа предполагает умение работать в группе и соответственно владение современными техниками коммуникации и научного менеджмента. Это прежде всего практическое знание также остается за скобками отечественной аспирантской «подготовки».

Мы уже говорили о тесной связи социальных и гуманитарных наук с общественно-политической практикой. Что бы ни думать об экспертизе социально-политических решений (действительно ли это имеет отношение к науке?), сегодня она стала фактом повседневного существования. Кроме того, ученые небезуспешно пытаются играть самостоятельную политическую роль, используя ради этого результаты своих исследований. Воспитывают ли в наших аспирантах политическую ответственность за сказанное и написанное ими? Поощряется ли у нас вообще рефлексия о социально-политическом контексте работы социального ученого и соответственно культивируется ли беспокойство о «незаинтересованности» научного взгляда?

Наконец, отечественное социально-гуманитарное сообщество все в большей мере интегрируется в международный рынок научного труда с его центрами силы и слабости. Между тем российская система подготовки научных кадров продолжает воспроизводить слабую научную культуру как в том, что касается свободного владения концептуальными аппаратами современной социальной теории и исследовательскими методами, так и в недостаточном владении иностранными языками⁵¹² и в неумении оформлять научные публикации⁵¹³, в низкой культуре дискуссий, проявляющейся в неумении и нежелании говорить на языке оппонента, наконец, в размытости этических критериев научной работы.

II. Цели и задачи реформы

Главной целью предполагаемой реформы должна быть такая аспирантура, которая позволила бы произвести современную, то есть конкурентоспособную на мировом рынке научного труда социально-гуманитарную науку. Идеальный ученый, независимо от того, идет ли речь о теоретике или эмпирике, должен свободно владеть концептуальным аппаратом ведущих научных парадигм, умея в самостоятельном рассуждении продемонстрировать понимание их внутренней логики. При этом ему должны быть привиты ценности антидогматического поиска истины, свобода (свобода профессионала) в обращении с трудами предшественников и современников. Он должен грамотно применять современные исследовательские методы и приемы, будучи нацелен на плюрализм подходов и креативность. Наконец, ему необходима политическая ответственность как за науку, так и за возможные пути ее использования в «большой политике» (т. е. целенаправленном

⁵¹² Большинство наших научных сотрудников не может свободно говорить даже на одном иностранном языке, не говоря уже о написании на этом языке научных работ или о владении несколькими языками.

⁵¹³ У нас отсутствуют четкие требования к написанию научных статей и монографий. Как правило, мы сдаем экзамены в устной, а не в письменной форме. В большинстве случаев студент учится писать лишь благодаря общению со своим научным руководителем, который (по крайней мере, в идеале) регулярно просматривает черновики и чистовики курсовых работ студента и помогает устранять недостатки. Примерно так же организовано взаимодействие между научным руководителем и аспирантом в англоязычных странах с целью обучения научному стилю письма преподается English Academic Writing. Авторам известно, что преподавание этого предмета организовано также в Европейском университете в Санкт-Петербурге.

формировании гражданина). На наш взгляд, ценности просвещенной критики текущей социально-политической практики (и в науке как социальном институте, и за ее пределами) являются наиболее органичными для ученого такого типа. Учитывая международный характер современного социального знания и приветствуя его дальнейшую интернационализацию, мы полагаем, что современный российский ученый должен быть космополитом в лучшем смысле этого слова, то есть осознавать свою ответственность за «большую политику» не только в своей стране, но и в мире в целом.

Ориентируясь на этот идеал, можно сформулировать основные задачи реформы. Во-первых, с учетом масштабов и значения современного социально-гуманитарного знания приходится ставить вопрос о стандартизации подготовки ученого. Современная аспирантура обязательно предполагает стандартное обучение теории и методам в семинариях и практикумах. Программа подготовки по теории должна быть *универсальна* с точки зрения ознакомления с ведущими научными парадигмами, *концептуальна* в том, что касается их взаимосвязанного представления, ориентирована на развитие *самостоятельного аналитического мышления* у аспирантов. Необходимо научить теоретически мыслить даже будущего эмпирика. Методы должны изучаться *практически* как в условиях индивидуального, так и коллективного разрешения исследовательских задач. Любой аспирант – будь то «практик» или «теоретик» – обязан прекрасно разбираться в базовых методах своей и смежных дисциплин. Во-вторых, будущий ученый, независимо от специализации, должен *свободно* владеть английским (в том числе уметь писать на нем научные тексты) и уметь читать и профессионально объясняться на втором иностранном языке. В том же ключе интернационализации аспирантуры необходимо поощрять участие аспирантов в иностранных научных журналах, международных конференциях, расширять число стажировочных за рубежом. Отечественные концептуальные и методические новации *должны* изучаться в контексте мировой науки и, где это необходимо, философии. В-третьих, аспирантура должна обеспечить воспитание *политически ответственного* ученого. Поэтому следует ввести отдельные семинары по истории и социологии социально-гуманитарного знания как политического института. Аспиранты должны знать, как раньше политически использовались отдельные научные теории и даже конкретные исследования – и внутри научной институции (для дисциплинирования ученых), и вне ее (для дисциплинирования властителей/граждан); и как они *могут* быть использованы сегодня. С другой стороны, они должны знать, как на научной практике сказывались философские и политические предпочтения исследователя и социально-политическая конъюнктура.

III. Зарубежный опыт

Посмотрим, как организована аспирантура в странах, традиционно лидирующих в сфере подготовки научных работников (Германия, Великобритания, Франция, США). При этом мы опираемся на монографию крупнейшего специалиста в области образования Бартона Кларка «Места научных изысканий»⁵¹⁴.

В том, что касается последовательной формализации подготовки аспирантов, опыт *США* представляется нам наиболее перспективным. При поступлении в аспирантуру здесь идет строгий отбор по департаментам. В первые два года учебы аспирант в основном должен посещать т. н. *классы* и сдавать экзамены в каждом из них. Результаты экзаменов влияют на получение аспирантом стипендий или права на работу на департаменте⁵¹⁵. Организация

⁵¹⁴ Clark B. R. Places of Inquiry: Research and Advanced Education in Modern Universities. Berkeley, CA: University of California Press, 1995.

⁵¹⁵ В большинстве университетов аспирант, получивший рабочее место на двадцать часов в неделю на территории университетского кампуса, освобождается от оплаты учебы либо, как минимум, получает очень серьезные льготы при ее оплате. К тому же такое трудоустройство гарантирует право на получение медицинской страховки.

множества классов позволяет обеспечить учебной нагрузкой большое число преподавателей. Прослушав определенное количество этих классов, аспирант сдает т. н. «исчерпывающий экзамен» (а comprehensive exam). Он охватывает несколько областей изучаемой науки. Успешно сдавший экзамен получает право перейти к собственному исследовательскому проекту, который должен превратиться в докторскую диссертацию. Как правило, все экзамены – письменные, хотя некоторые департаменты разрешают сдавать «исчерпывающий экзамен» и в устной форме. (Правда, американские аспиранты не имеют опыта сдачи устных экзаменов и боятся этого.) Тема будущей диссертации утверждается специальным советом департамента. Законченная диссертация предлагается для чтения членам совета по диссертациям. Процедура защиты – публичная.

Значительная часть аспирантов, зачисленных на докторские программы, покидает университет до защиты диссертаций. В целом по США успешно проходит защиту диссертации примерно 50 % от числа аспирантов, зачисленных на докторские программы. Эта доля сильно варьирует в зависимости от университета и департамента. Например, в середине 1990-х годов на департаменте социологии Университета Техаса в Остине успешно защищалось 70 % от всех докторантов. Стандартизация аспирантской подготовки, универсальность требований и анонимность контроля при условии тщательной продуманности программы классов позволяют американским аспирантам восполнить пробелы в их среднем и университетском образовании и приобрести необходимые навыки современной научной работы.

В то же время в Германии и во Франции организация аспирантуры до сих пор остается весьма похожей на российскую – пусть и на внешний, неизбежно поверхностный взгляд. Основной упор здесь делают на самостоятельную работу над диссертацией. Скорректировать неизбежные в этом случае риски позволяют: в Германии – весьма высокие требования, предъявляемые аспирантам на экзаменах и при защите диссертации; во Франции – система обязательных и факультативных семинаров и дипломных работ первого года подготовки докторской диссертации (т. н. «дипломов углубленной подготовки», оцениваемых по четырехбалльной шкале) и неформальный характер защиты самой диссертации.

В **Германии** решающая роль в определении направлений исследований принадлежит ординарным профессорам, которые отбирают из числа отличившихся студентов тех, кто наиболее способен к исследовательской работе, – для продолжения обучения на более высоком уровне. В структуре германских университетов существуют *институты* как самостоятельные исследовательские учреждения со своим бюджетом. По сути дела, институты – это те же кафедры. Несколько институтов могут образовывать *департамент*. Подготовка докторов ведется институтом, а не департаментом. Контроль университета над последним крайне ограничен. Студенты, стремящиеся к получению докторской степени (Doktoranden), должны подыскать себе преподавательскую или исследовательскую работу либо в самом университете, либо в каком-нибудь исследовательском учреждении вне университета. Таким образом, Doktorand фактически пребывает в статусе младшего исследователя. Существует конкуренция за такие рабочие места. Срок обучения в аспирантуре – три – пять лет. Число семинаров, которые необходимо прослушать в обязательном порядке, незначительно. Большинство Doktoranden, специализирующихся по социальным и гуманитарным наукам, ведут свою научную работу вне стен института или департамента, имея лишь номинальные контакты с их научными руководителями. В течение срока аспирантуры они должны зарекомендовать себя полноправными членами научного сообщества, что и удостоверяется успешно сданными экзаменами и диссертацией.

В случае **Франции** трудно провести ясные различия между до-аспирантскими и аспирантскими программами. В 1980-е годы была введена пятиуровневая система университетского образования: (1) после двух лет учебы в университете присваивается степень DEUG (diplôme d'études universitaires générales); (2) после трех лет – степень licence;

(3) после четырех лет – степень *maitrise*; (4) после пяти лет – для тех, кто хочет заниматься наукой, – степень DEA (*diplôme d'études approfondies* – диплом углубленной подготовки); (5) следующая степень – *doctorat* – требует еще 3–5 лет учебы. Таким образом, можно сказать, что аспирантская подготовка во Франции начинается после четырех лет учебы в вузе с поступлением на специальную программу для получения DEA. Для особо одаренных студентов, ориентированных на научные исследования, с 1990 года существует другая специальная программа – для получения степени *Magistère*. На эту программу поступают после трех лет учебы в университете.

Как и в Германии, подготовка к получению *doctorat* не требует посещения формальных занятий. Но на уровне DEA участие в семинарских занятиях – обязательно. Помимо дипломной работы нужно сделать один-два доклада на семинаре научного руководителя. Дипломный проект оценивается дифференцированно: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Это стимулирует конкуренцию между будущими учеными. Когда после получения степени DEA студент решает поступить на докторскую программу, ему необходимо на конкурентной основе искать источники финансирования (с помощью профессора) и подыскать свободное рабочее место в лабораториях (последнее условие более актуально для естественников) или исследовательских центрах⁵¹⁶. Гранты на аспирантов поступают не им непосредственно, а лабораториям (центрам) и их директорам. Лаборатории конкурируют за фанты, а после их получения начинается соревнование за источник финансирования между аспирантами. Поощрение амбициозности и соревновательности отличает французское образование на всех ступенях, но становится особенно явным в аспирантуре. Также характерной чертой подготовки докторантов в наиболее престижных учебных заведениях Франции является культивирование открытости социально-гуманитарных наук политике. Это проявляется и в исключительной важности эпистемологии для подготовки современного французского гуманитария. В рамках соответствующих семинаров изучаются философские основания и следствия научных теорий и их возможные политические приложения. Во многом благодаря этому во Франции теоретически нагружены даже сугубо эмпирические работы.

В **Великобритании** *doctorate* представляет собой трехлетнюю программу, в ходе которой аспирант сконцентрирован на своем научном проекте. Он значительно свободнее американского аспиранта, связанного правилами приема в аспирантуру, кредитами за пройденные классы, экзаменами и диссертацией. Докторская подготовка в таких условиях очень сильно зависит от взаимоотношений между аспирантом и его научным руководителем. Это центральный момент в британских докторских программах, причем эта традиция восходит еще к «тьюторской системе» обучения в Оксфорде и Кембридже в средние века. Докторант должен сдать один экзамен по теме диссертации, который принимают два профессора – из университета докторанта (но не научный руководитель) и из другого университета. Работа над диссертацией предполагает регулярные встречи профессора и аспиранта, на которых последний получает консультации по плану работы, теоретической модели, положенной в основу исследования, библиографии и архивам, рецензии на готовые фрагменты диссертационного текста. Такая «совместность» позволяет «передать» от старшего ученого младшему фундаментальные этические установки, отличающие человека науки, и добиться высокого качества диссертаций, процедура защиты которых – публичная.

Подытоживая наш краткий обзор, мы выделяем преимущества американской аспирантуры для *массового* производства ученых, немецкой и французской моделей – для воспитания *самостоятельно мыслящего, амбициозного и политически ответственного* ученого, британской – для обеспечения *высокого качества диссертационного текста* и формирования ученого морального. Эти приоритеты реализуются благодаря системе классов

⁵¹⁶ Эти лаборатории и центры часто относятся не к университету, а к Национальному центру научных исследований (CNRS), аналогичному РАН.

или семинаров (США, Франция), высокому уровню требований на экзаменах и при оценке диссертационных текстов (США, Германия, Франция), конкурсам на получение аспирантского гранта (Франция), регулярности контактов между научным руководителем и аспирантом (Великобритания).

IV. Пути реализации реформы

Реформа системы аспирантуры должна быть комплексной и проводится наряду с реформой всей высшей школы. Однако это, по нашему мнению, не означает, что реформа должна быть одномоментной и одновременно затрагивать все стороны вузовского обучения и подготовки научных кадров. Лишь в экспериментальных центрах реформы (о которых речь пойдет ниже) такая одномоментность представляется императивом. Безусловно, необходимо пересмотреть такие элементы организации аспирантуры, как отбор в аспирантуру, программа и срок обучения, квалификационные экзамены, требования к диссертационной работе, финансирование обучения. Мы коснемся этих вопросов с разной степенью обстоятельности и с разных точек зрения.

Отбор будущих аспирантов

Могут сосуществовать несколько оснований зачисления в аспирантуру. Любой обладатель диплома о высшем образовании должен иметь право быть зачисленным в нее, если сдаст вступительные экзамены на достаточно высоком уровне и представит эссе (в рукописи или опубликованное как статья), демонстрирующее его научные умения. Каждый соискатель представляет эссе по профильной дисциплине (два-три авторских листа)⁵¹⁷. Рецензенты оценивают рукописи (статьи) по следующим критериям: значимость и перспективность поставленной проблемы, концептуальность, логическая культура, владение современными методами исследования, общая научная эрудиция. Только победители конкурса эссе допускаются к вступительным экзаменам.

Вступительные экзамены могут по-прежнему включать иностранный язык, философию и специальность. Однако форма и содержание этих экзаменов должны измениться.

Философия. Целесообразно включить в билет два вопроса – по истории философии и по философским аспектам профилирующей для экзаменуемого дисциплины. По первому вопросу необходимо написать – в течение трех-четырех часов – эссе, демонстрирующее владение концептуальным аппаратом данного философа (или философского направления) и понимание внутренней логики его метода. При работе над эссе экзаменуемому разрешается пользоваться работами комментируемого автора: испытание по философии не должно сводиться к простой проверке памяти. Второй вопрос сдается устно (после тридцати-сорокаминутной подготовки): соискатель выявляет возможные философские основания существующих в его дисциплине теоретических парадигм, их связь с известными философскими системами и установками и обнаруживает владение методами философской критики и деконструкции этих «эмпирических» философий.

Иностранный язык. Уровень владения им на момент поступления в аспирантуру должен обеспечивать возможность совершенствования в такой степени, чтобы к моменту сдачи кандидатского экзамена уровень знания языка отвечал критериям, необходимым для зачисления в аспирантуру среднего иностранного университета.

Мы полагаем, что экзамен по иностранному языку должен быть максимально формализован. Соответственно за образец разумно было бы принять *Test of English as a*

⁵¹⁷ Для некоторых дисциплин, в которых существует традиция написания более коротких статей, могут допускаться исключения.

Foreign Language (TOEFL). Минимально допустимое для поступления количество баллов приравнивалось бы в таком случае к 450–500 (при 550, необходимых для зачисления в аспирантуру среднего американского университета)⁵¹⁸.

Экзамен по *специальности* может состоять из трех частей: вопрос по теории сдаваемой дисциплины, вопрос по методам (во многих случаях может формулироваться как эмпирическая задача) и, наконец, разбор конкретного случая (для этнолога или антрополога это может быть, например, описание конкретного народа, региона или какого-либо традиционного института, для историка – разбор какого-либо исторического события). Даже отвечая на последний вопрос, экзаменуемый должен продемонстрировать владение категориями гуманитарных и социальных наук.

Авторы статей в признанных научных журналах, практикующих рецензирование публикуемых работ, могут зачисляться в аспирантуру при получении более низких экзаменационных оценок, нежели те, кто поступает на общих основаниях. Эта льгота распространяется и на призеров международных и всероссийских олимпиад и конкурсов, а также преподавателей вузов и сотрудников научно-исследовательских организаций, имеющих стаж работы не менее двух-трех лет. Никаких рекомендаций поступающий в аспирантуру представлять не должен.

Учебный процесс

Прежде всего необходимо разработать модульные программы аспирантской подготовки. Отвечая требованиям формализации аспирантского обучения, принцип модуля позволит заменять или изымать те или иные блоки программы в зависимости от уровня наличной подготовки аспирантов и, тем самым, сохранить индивидуальное начало в обучении. В любом случае такой модуль должен включать сетку семинаров по теории и эпистемологии (философии, истории и социологии науки), ряд практических занятий по методам и практикам в рамках коллективных научно-исследовательских проектов. Равным образом, в модуль включаются занятия по английскому и второму иностранному языкам.

Каждый аспирант должен посетить определенное количество семинарских и практических занятий, которые могут проходить в форме лекций, традиционных семинаров, лабораторных работ, тренингов и т. д. Программа этих занятий покрывает первые два года обучения. *Специальность* должна включать семинары по теории дисциплины, по субдисциплинам и практикам по методам. Различаются семинары/практикумы обязательные и посещаемые по выбору аспиранта.

Семинары по *философии/эпистемологии*. Аспиранты не изучают ни историю философии, ни современную философскую мысль «в чистом виде». Программа семинара должна быть ориентирована на анализ философских и социально-политических оснований социального и гуманитарного знания и «эмпирических» философий, характерных для профильной дисциплины. Ряд занятий посвящается философскому анализу категорий «наука», «социальная наука/социальное знание», «философия», «обыденное (со)знание» и их соотношения. Аспиранты должны сосредоточиться на анализе релевантности категорий, разработанных на материале логикоформальных наук и естествознания, для изучения феноменов и практики социально-гуманитарного знания. Равным образом, им важно уяснить, в чем могут (или должны) состоять различия между «философией» и «социальной наукой» и как они соотносились исторически. Другой стороной этой же проблемы оказывается возможное соотношение «социальной науки» и «обыденного (сознания)». В философской перспективе рассматривается «реальный» социально-политический статус «социального и гуманитарного знания» в XVIII–XX веках. Особое внимание уделяется

⁵¹⁸ Учитывая ориентированность нашего среднего и вузовского образования на британские стандарты, за образец может быть принят *International English Language Testing System (IELTS)*.

философским обоснованиям той или иной научной парадигмы и философским спорам и конфликтам в социальных и гуманитарных науках. Эксплицируются возможные связи между философскими установками ученого и его научным кредо. На семинаре исследуется собственно философский контекст данных предпочтений, благодаря чему они «очищаются» (через критику противоречий и непоследовательностей) и, радикализуясь, приобретают очертания философской модели или подхода. Аспирантам предлагается выстроить альтернативные философские обоснования разбираемой научной парадигмы, в то же время подвергнув деконструкции господствующую интерпретацию. Анализируются социально-исторический и непосредственно философский контексты парадигматических споров и конфликтов в науке и намечаются пути их разрешения или снятия (с философской точки зрения). В рамках социально-исторического рассмотрения особое внимание уделяется «политическим» функциям мировоззренческих обоснований в науке, то есть существующим режимам руководства научной практикой и их возможным альтернативам (в данном случае философский анализ смыкается с социологией и историей науки). Как и на других семинарах, аспиранты регулярно пишут эссе и выступают с докладами. На итоговом зачете или экзамене (в письменной форме) испытуемые должны продемонстрировать хорошее знание современной философии социальных наук, умение самостоятельно ставить философские вопросы на материале их профильной дисциплины и критически комментировать релевантные для их области знания философские дискуссии.

Семинары по *истории и социологии профильной дисциплины*. Программа семинара должна быть построена, ориентируясь на курс философии социальных наук. Несколько семинаров посвящено наиболее влиятельным парадигмам в современной истории и социологии науки с акцентом на истории и социологии социальных наук. Затем аспиранты знакомятся с концептуальной историей институционализации и автономизации их дисциплины, изучают ее современную социологию и антропологию. Ряд семинаров выделяется на анализ изучаемой науки как социально-политической практики современного общества. Этот по возможности краткий курс оценивается по совокупности баллов, полученных слушателями за эссе и доклады.

Мы исходим из того, что в ближайшем будущем в области большинства социальных и гуманитарных наук исследователь сможет успешно работать, лишь владея не менее чем двумя *иностранными языками*. Причем *одним* языком – английским как современной латынью – необходимо владеть на достаточно высоком уровне, о чем мы говорили выше. Занятия по этому языку должны быть построены по образцу классов по *English Academic Writing*, цель которых обучить аспиранта культуре научного письма на английском языке. Помимо этого, необходимо совершенствовать разговорные навыки аспирантов. Это может проходить в форме представления ими небольших сообщений и обсуждения этих сообщений на иностранном языке. Обучение должно включать и различные формы общения с носителями иностранного языка.

Что касается *второго* иностранного языка, то представляется достаточным обучить аспирантов чтению на нем текстов средней сложности и общению на несложные бытовые темы. Это можно осуществить в течение двух семестров при учебной нагрузке четыре часа в неделю. Дальнейшее совершенствование в этом языке аспирант может осуществлять самостоятельно.

Смежные дисциплины могут включать такие обязательные занятия, как методика преподавания дисциплины специализации аспиранта, социальная статистика (большинство российских обществоведов и гуманитариев крайне слабы в этой области), практикум по обучению культуре написания научных работ, а также некоторое количество иных социальных и гуманитарных дисциплин, избираемых для изучения самим аспирантом (например, лингвистика или экономика для социологов и т. п.).

Кроме того, нам представляется необходимым ввести в этот же блок практикум, в котором аспиранты обучались бы поиску финансирования научных исследований и написанию заявок на гранты, а также планированию и организации работы малых научных

коллективов (кафедр, секторов, лабораторий, исследовательских групп). Вероятно, он был бы полезен не только для аспирантов, но и для работников, уже имеющих научную степень⁵¹⁹.

В таких больших городах, как Москва и Санкт-Петербург, возможно разделение труда между учреждениями по преподаванию тех или иных аспирантских классов. Например, аспирант Санкт-Петербургского филиала Института востоковедения РАН, помимо своего учреждения, может посещать какие-то занятия на восточном факультете СПбГУ, в Европейском Университете и в Институте истории материальной культуры РАН.

Из нашей программы аспирантской подготовки с неизбежностью вытекает ликвидация такой специфически российской формы подготовки научных кадров, как соискательство. Возможно, одним из последствий ликвидации этого института будет заметное сокращение количества покупных диссертаций. В самом деле, довольно сложно заседать в парламенте или руководить министерством и одновременно посещать аспирантские занятия⁵²⁰. Вместе с тем представляется нецелесообразным ограничивать аспирантскую подготовку лишь очной. Возможна и очно-заочная аспирантура, когда аспирант имеет в качестве своего основного занятия иную форму деятельности. В этом случае сроки его обучения будут растянуты во времени. Необходимо также предусмотреть возможность посещения аспирантских семинаров/практикумов специалистами, просто желающими повысить свою квалификацию (на платной основе). Такой слушатель может получать сертификат установленной формы после сдачи экзамена по посещавшемуся им предмету. Если в будущем этот слушатель поступит в аспирантуру, полученные сертификаты позволят освободить его от повторного посещения пройденных курсов.

Мы считаем важным обратить внимание на соотношение разных уровней поствузовского образования. В англоязычных странах наблюдается практика, когда человек со степенью бакалавра по одной дисциплине продолжает свое образование в аспирантуре по другой дисциплине. Вероятно, такая практика будет широко распространяться и в России. Однако серьезной проблемой в этом случае становится проблема совместимости разных уровней образования. В наших условиях при таких переходах аспирант явно будет испытывать недостаток знаний по дисциплине специализации. Возможно, это следует компенсировать за счет обязательной защиты дипломного проекта (магистерской диссертации) по той же науке, по которой предполагается защита кандидатской диссертации. В целом же мы полагаем, что необходимо приветствовать те случаи, когда доаспирантское и аспирантское обучение диссертанта проходили в разных дисциплинах, поскольку такая ситуация будет способствовать междисциплинарной интеграции социальных и гуманитарных наук.

В России принято ставить оценки по кандидатским экзаменам. Никакого значения для аспиранта такая оценка не имеет (конечно, если это не «неудовлетворительно»). Следует оценивать аспирантскую успеваемость либо через недифференцированный зачет⁵²¹, либо по

⁵¹⁹ В качестве примера можно использовать программу менеджмента в сфере высшего образования, предлагаемую Университетом Твенте (Нидерланды) (см.: www.utwente.nl/cheps/coiirses/index.shtml). К сожалению, у нас, как и в большинстве других стран, никто специально не обучает научных работников организации и планированию труда научных коллективов. Этот пробел ведет к существенным издержкам ресурсов.

⁵²⁰ Хотя наличие степени доктора философии является весьма престижным и для западных политиков, нам не приходилось слышать о защите диссертаций действующими политиками или администраторами высшего ранга. Видимо, необходимость обязательного посещения аспирантских занятий является одним из механизмов спасения от этого бедствия, которое не только приводит к падению престижа науки, но, по всей вероятности, также сокращает ассигнования на научные цели, поскольку порождает у политиков и законодателей иллюзию сравнительной простоты научного труда.

⁵²¹ Допустим, выставляемый по совокупности баллов, полученных аспирантом за доклады и эссе.

какой-то шкале более высокого уровня. В последнем случае эта оценка должна каким-то образом влиять на финансовую поддержку аспиранта и на перспективы его карьерного роста.

В целях повышения соревновательности обучения желательно регулярно устраивать конкурсы эссе по профильным дисциплинам. Этим конкурсам следует придать общенациональный масштаб. Их лауреаты автоматически освобождались бы от посещения соответствующего семинара и отмечались специальной стипендией и зарубежной стажировкой за государственный счет. Эссе-победители публиковались бы при поддержке национального Министерства образования. Лауреаты нескольких конкурсов после защиты диссертации получали бы наиболее престижные места в столичных университетах и институтах РАН.

Третий год обучения следует приблизить к немецкой и французской модели в том, что касается начал самостоятельности в выборе приоритетов в работе над диссертацией. Целесообразно заимствовать из британской модели практику регулярных встреч аспиранта с научным руководителем с целью обсуждения фрагментов диссертации или статей по диссертационной тематике, а также релевантных книг и статей, опубликованных в последнее время. Аспиранты, систематически игнорирующие такие встречи и не обнаруживающие прогресса в работе, отчисляются независимо от их предыдущих успехов. Следует поощрять участие третьюкурсников в обучении аспирантов первого и второго года, приглашая их с докладами на профильные семинары или поручая им организацию и проведение факультативных семинаров и практикумов. Их следует привлекать и к участию в коллективных научных проектах, реализуемых в данном университете или академических НИИ в зависимости от темы подготовляемой диссертации либо ради практики по современным научным методам.

Финансирование обучения

В советский период оплата обучения аспирантов осуществлялась либо непосредственно обучающим учреждением, либо, в случае целевой аспирантуры, тем учреждением, которое послало аспиранта на обучение. Сейчас стала возможной также оплата учебы самим аспирантом либо учреждением, заинтересованным в приобретении этого специалиста.

Существующая система финансирования обучения аспирантов порождает целый ряд проблем. Мы не будем обсуждать сам объем государственного финансирования подготовки научных кадров высшей квалификации, а также размер аспирантских стипендий: понятно, что до тех пор, пока не улучшится общее экономическое положение, радикальных изменений здесь не предвидится⁵²². Существуют, однако, и другие проблемы: препятствия к обучению в аспирантуре талантливых, но малообеспеченных людей, снижение требований к подготовке платных аспирантов со стороны диссертационных советов, заинтересованных в получении внебюджетных средств.

В настоящей ситуации мы не видим возможности решить проблему финансирования учебы малообеспеченных аспирантов в централизованном порядке. Банковские кредиты на учебные цели пока существуют только в проектах. О дополнительных государственных и частных стипендиях пока тоже не слышно, поскольку «грантообразующих» организаций в

⁵²² В качестве одного из способов радикального повышения качества подготовки ученых предлагается создание ограниченного числа федеральных исследовательских университетов (см.: *Ракитов А.* Баллада о балансе // Поиск. 2001. 6 июля). Лишь такие университеты должны иметь право присвоения кандидатских и докторских степеней. За остальными университетами в лучшем случае можно оставить право присвоения дипломов о высшем образовании/ магистерских степеней. Наша идея экспериментальных аспирантских центров (см. ниже) совместима с этим проектом.

стране явно недостаточно⁵²³.

Что касается «платных» аспирантов, то было бы разумно проводить их защиты не там, где они проходили аспирантское обучение, а в других университетах и НИИ. Необходимые для организации таких защит средства можно аккумулировать на специальном государственном счете, откуда перечислять их соответствующим учреждениям согласно числу «внебюджетных» защит. Сумма, перечисляемая аспирантом на этот счет, должна быть строго фиксирована.

Экспериментальные центры реформы

Необходимо определить экспериментальные центры (из числа университетов и академических институтов) реформы и режим их *специального* финансирования. В принципе государство может переориентировать на эти центры большую часть денег, идущих на социально-гуманитарную аспирантуру, предложив остальным вузам и НИИ изыскивать средства самостоятельно до тех пор, пока там не будет реализована новая национальная модель аспирантской подготовки, отвечающая всем стандартам. Именно ради экспансии последней необходим режим приоритетного распределения выпускников экспериментальных аспирантур в престижные вузы и институты РАН и замещения ими вакансий руководителей кафедр и отделов как в столичных, так и провинциальных высших учебных заведениях. Ибо нужно радикально изменить университетскую и академическую культуру страны в сравнительно короткие сроки.

Экспериментальные центры следует оснастить современным учебным оборудованием – прежде всего современными компьютерными классами с доступом в Интернет. Их библиотеки должны иметь средства для ежегодных закупок научной литературы и периодики на русском и иностранных языках и быть подключены к международным библиотечным и архивным ресурсам через Интернет. Преподавателей аспирантских курсов следует отобрать по итогам общенационального конкурса. Регулярно приглашать с лекциями и семинарами ведущих зарубежных специалистов по данной дисциплине. «Экспериментальных» аспирантов также следует отбирать через общенациональный конкурс эссе по профильной дисциплине. В продолжение обучения каждый аспирант центра проведет на стажировке в зарубежном университете/научно-исследовательском институте, имеющем репутацию мирового центра в сфере его диссертационных интересов (или данной профильной дисциплины вообще), не менее шести месяцев (из трех лет). В целях повышения индивидуальной ответственности аспирантов за получаемое образование государству следует заключить с каждым из них контракт о возмещении всей потраченной на его обучение суммы в случае непредставления текста диссертации в заранее оговоренные сроки.

Заключение

Российская аспирантура, готовящая специалистов в области социальных и гуманитарных наук, по качеству подготовки этих специалистов не отвечает требованиям мирового научного рынка. Идеальный ученый сегодняшнего дня во многом является «продуктом» формализованного обучения, у нас отсутствующего либо слабо развитого. Обучение аспирантов в каждой из западных стран имеет свои особенности. Заимствовать какую-либо одну модель представляется нецелесообразным по многим причинам. Необходимо преобразовать отечественную аспирантуру на основе «индустриализации» учебного процесса (ориентируясь на американские и, отчасти, французские образцы),

⁵²³ Достаточно вспомнить огромные тома справочников, содержащих сведения о тысячах «грантообразующих» организаций в западных странах. Сведения о небольшом количестве аспирантских стипендий в России можно время от времени найти, пожалуй, лишь в газете «Поиск».

сохранив, насколько это возможно, индивидуальное начало (имея в виду британский, немецкий, отчасти французский и собственно российский опыт). Основными элементами российской аспирантуры по социальным и гуманитарным наукам должны стать тщательный отбор будущих аспирантов, их двухлетнее обучение в семинарах и практикумах (с зачетами и экзаменами), регулярная совместная работа аспиранта и научного руководителя, поощрение начал соревновательности и воспитание политической ответственности. Для реализации реформы необходимо создать экспериментальные центры, выпускники которых могли бы обеспечить ее распространение на всю страну. Современная аспирантура позволит нам не только получить *современные* социальные и гуманитарные науки, но и трансформировать российское общество, выработать новые политические ориентиры.

Рецензия на кн.: Копосов Н. Е. «Как думаю историки»

М.: Новое Литературное Обозрение, 2001. - 2000 экз.

(Серия «Научная библиотека». Научное приложение. Вып. XXXI)⁵²⁴

Передо мной книга, которую можно назвать одной из первых попыток современного российского методологического гуманитарного письма с естественными для ученого и философа «всемирными» намерениями. Автор стремится «быть на переднем крае». До такой степени, что сплошь и рядом забывает сослаться на русские переводы цитируемых им работ различной давности и даже редкого русского автора приводит по англоязычному изданию. Русский язык монографии – тоже более чем странный: не то чтобы автор «злоупотреблял» им, но по мере чтения чувство очень и очень приблизительного авторского перевода с французского только усиливается. Читаешь и думаешь: имею ли я дело с «французской» книгой, волею обстоятельств сложенной «по-русски», или автор «тонко» указывает отечественному читателю на его провинциальность? Поскольку вторая перспектива не кажется сколько-нибудь привлекательной ни интеллектуально, ни этически, я склонен исходить из первой.

«Как думают историки» – книга «после лингвистического поворота», но не после «постмодернизма». Ее автор как бы остался в прежней эпохе – «эпохе хаоса», в то же время пытаясь не отстать от времени. Времени, которое остранило пресловутые «споры о языке» и вернулось (в который раз в истории новоевропейской мысли!) к «восприятию» (что, однако, не означает обязательно «к Субъекту»). Времени когнитивных науки и философии. Соответственно, если бы издателю пришлось сопроводить сочинение Копосова перечнем ключевых слов, их список, скорее всего, выглядел бы так: кризис социальных наук – французская историография 1950–1960-х годов – пространственные паралогики и социальная классификация – когнитивная психология и лингвистика – психология и история социальных понятий – критическая философия истории. Терминологический словарь историографа во многом заимствован из когнитивной психологии: ментальное пространство, [пространственная] интуиция, когнитивные точки [множества], те же пространственные паралогики. Однако является ли «горизонт» психологической науки «последним горизонтом» сего очередного «психоанализа» французской исторической профессии?

Поскольку книга Копосова относится скорее к «эпистемологическим» сочинениям, смыслообразующая рамка его работы – несомненно, философская. Занимаясь философией науки, автор хочет сообщить нечто важное о «сознании вообще». Историки для него – скорее предлог для размышлений о «субъекте». В философской системе координат историограф помещает себя среди кантианцев, приверженцев «критической философии». Время от

⁵²⁴ Впервые в: Критическая масса. 2002. № 1.

времени используемые им понятия (критика, дуалистический кадр, трансценденция, трансцендентальный субъект) как бы символизируют продекларированную в самом начале философскую «партийность».

Восставший против герменевтики, культивирующей, по его мнению, «интеллектуальное всепрощение», нео-неокантианец требует «систематической критики исторического разума» (с. 22). Правда, уже абзацем ниже он делает феноменологический ход, призывая обращаться с мышлением не «познающего», но «думающего» историка как с «вещью», то есть абстрагируясь от истинностного статуса его суждений. Всякую же претензию на «истину» и «объективность» Копосов сводит к легитимации науки как *ценности*. Читатель остается при этом в неведении, как возможна такая критика – да и любое *утверждение*, безотносительно к тому, научное оно или нет. И, в частности, авторское. В этой связи неудивительно, что «кантианство» историографа – включая «трансцендентального субъекта» – оказывается совместимым с «игнорированием» принципа *sub specie aeternitatis* (с. 307–308) и с претензией на философствование путем выдвижения «гипотез». Последние же понимаются не столько логико-математически («допустим, что...»), сколько в духе опытного естествознания («установлено, что...»), причем авторская *философия* как бы «вытекает» из специфически препарированной *науки психологии*.

Психологизация «трансцендентального субъекта» особенно замечательна для наследника Канта, ибо последний был одним из самых суровых и последовательных ее критиков. Нео-неокантианец уверен в успехе возложенной им на себя миссии «индивидуализации» мышления. Более того, он полагает, что т. н. «дуалистический кадр» был отвергнут (?) философами рубежа XIX–XX веков потому, что не позволял обосновать объективность нашего познания и, в конечном счете, оправдать науку. Игнорируя его, они избежали будто бы неизбежной для последователей Канта психологизации разума. Копосов легко «опровергает» построения этих «философов». Во-первых, он убежден в том, что философы «языка» и ученые-гуманитарии всегда ориентировались на «лингвистический язык»: даже когда они признавали особый статус «языка живописи», образцом для них всегда выступал обыденный язык. Во-вторых, утверждается, что выдвижение на передний план «языка» обязательно приводило мыслителя в «замкнутую вселенную символов», лишенную каких бы то ни было связей с «миром». Первое утверждение верно только отчасти: достаточно внимательно ознакомиться с сочинениями таких ведущих философов XX века, как Витгенштейн или Гудмен, чтобы убедиться в признании и учете ими специфики т. н. «нелингвистических языков». Более того, сам Копосов признает, что обыденный язык в любом случае трудно изолируем от того, что он называет «ментальным воображением». Второй тезис выглядит по меньшей мере странно. Предполагает ли историограф, что «философы» допускали возможность параллельного существования «языка» и «мира», каковое они смогли установить неким чудесным способом из «по ту сторону языка и мира»? Полагает ли он, далее, что у этих «философов» обязательно имелась некая догматическая теория «языка» (своего рода новая метафизика)? Если он действительно так думает, то любой – пусть и очень поверхностный – читатель современных философских сочинений («континентальных» или «островных» – неважно) вправе протестовать. В любом случае, Копосову следовало хотя бы упомянуть проблему «бессмыслицы» в философии XX века.

Представив таким образом современное философское и гуманитарно-научное мышление, историограф дезавуирует его, ссылаясь на внеязыковой «опыт вещей». Попытки когнитивных психологов трактовать нелингвистическое мышление как символическое им декларативно отвергаются – во имя автономии «ментального воображения», которое, в случае знаково-символической интерпретации, приносится в жертву языку, как правило, искусственному языку программирования. Учитывая это последнее обстоятельство, известная односторонность современных когнитивных моделей очевидна. Хотя я и должен заметить, что языки программирования – безусловно, формальные – весьма и весьма различны. Но что означают претензии историографа с философской точки зрения? Если

вынести тезис о специфике «ментального воображения» за скобки, то их можно свести к допущению «индивидуального языка» мышления. Допущение это делается с предосторожностями: автор признает, что «пространственные паралогики» социально опосредованы. Более того, его «генеалогические» исследования «пространственного воображения» историков-анналистов суть историко-культурные и социально-исторические штудии. В содержательном плане критика Колосовым экспериментального характера современной психологии оборачивается, к счастью, не возвращением к наивным формам интроспекции, а прививкой социально-исторического взгляда. Тем не менее декларация об индивидуальном характере мышления остается *идеологически* существенным местом сочинения. Любопытно, что, избегая употреблять понятие «языка» в связи с «ментальным воображением», Колосов игнорирует и большую дискуссию об «индивидуальном языке» в аналитической философии. Немудрено, учитывая, что в ходе этой дискуссии ничего определенно «индивидуального» в нашем мышлении ни *высказано*, ни *показано* не было. Да и не видно, как могло бы, – даже безотносительно к современному развитию психологии.

Попытки индивидуализировать мышление тесно связаны – и не только в работе Колосова – со стремлением взаимно обособить – чем радикальнее, тем лучше – семантику и референцию. Эти попытки в полной мере проявились в споре об именах собственных, семантическая пустота которых сомнительна и для нашего нео-неокантианца. Удивительно, что в случае дискуссии о классификации, в ходе коей защитники различных версий теории прототипа обрушились на аристотелевский принцип необходимых и достаточных условий (впрочем, мало-помалу смягчая категоричность утверждений), он не усмотрел наивности в аналогичном обособлении. И это при том, что во «Введении» ясно выражены сомнения в обоснованности жесткого разграничения «пространственного воображения» и предикативного мышления, а историко-культурный характер пресловутых «паралогик» констатируется – и, местами, исследуется автором *en bon historien* – на всем протяжении сочинения. Не помогает и ограничение сферы действия логики прототипа. Забавно в связи с этим, что иногда автор в эксплицитной форме вводит в обращение темы «тела» (как радикально *иного* в отношении к «культуре») и «опыта вещей», запутываясь в собственном «конструктивизме». Путаница дает себя знать уже в определении этого последнего, ибо из него следует, что *конструирует бессознательное* : «Мы понимаем конструктивизм в прямо противоположном смысле – как бессознательное проецирование на историю структур разума» (с. 9, примеч. 1). Не говоря о неуместности «конструктивных» метафор, замечу только, что до столь не любимого автором авторского же «Гегеля» здесь рукой подать.

Читатель, наверное, уже заметил, что парадигматические фигуры новоевропейской философии играют в сочинении Колосова фарсовые роли: Кант, Рикер, Дильтей, Риккерт, Ницше... но в особенности Гегель – этакий мальчик для битья. Вроде бы отправившийся на поиски *a priori* нашего мышления автор должен аккуратно обходиться с этим символом всеобщего разума. В конце концов, отсечение гегелевской ветви от кантовского наследия тоже не назовешь особенно продуктивным ходом. Но главное, историографу следовало бы внимательнее отнестись к собственному тексту. Несмотря на призывы к множественности подходов, в его сочинении все-таки реализован более или менее определенный взгляд на вещи – от «пространственного воображения». Причем большие фигуры-концепты этого «воображения» возникают из «тьмы веков» с тем, чтобы воплотиться в трудах анналистов 1950–1960-х годов и далее, сменяя друг друга у руля. Чуть больше определенности в «воображении», и эта смена приобретет необходимый характер. Более того, приобретает – на ограниченных отрезках. Например, «старый комод», осмеянный Л. Февром, становится у Колосова Судьбой (нео)позитивистской историографии. При желании кто-либо мог бы порассуждать об имплицитном присутствии в книге если не идеи «исторического органа», в конце концов произведшего на свет университетскую историографию, то, по крайней мере, идеи «социального органа», породившего весь комплекс социальных наук. Правда, Гегелю вряд ли пришла бы в голову мысль о сугубо психологической природе этого органа, – мысль не о субъекте, но о Субъекте (кое-где, правда, приобретающем черты Природы, как в

путаном определении авторского «конструктивизма»), излагаемая с несвойственным большей части книги пафосом. Но здесь, видимо, сыграла печальную роль «базовая метафора» хаоса, которая, по собственному признанию автора, вряд ли чем-нибудь лучше аристотелевской метафоры космоса. Иначе историограф, почти дословно повторяющий Н. Гудмена, вспомнил бы и мудрую оговорку этого мыслителя о существовании бессмысленных утверждений, указывающем на пределы нашего мышления. Впрочем, кантианец это знает и без Гудмена.

Опять-таки примечательно для последователя Канта жесткое противопоставление нормативного и констатирующего аспектов философского суждения. В этой связи особые претензии предъявляются неокантианцам. Занимаясь тем, что сегодня назвали бы «эпистемологией гуманитарного знания», Дильтей, Риккерт, Зиммель и Вебер не довели до конца открытие неаристотелевской теории классификации потому, что были слишком озабочены оправданием исторического знания как объективного. В особенности Дильтей и Риккерт акцентировали «абсолютный характер» ценностей: в одном случае под именем «индивидуальности», в другом – «культуры». Проблематика ценностей позволила сэкономить на анализе логической структуры категорий и благополучно разрешить проблему истинности. Помимо того что подобное объяснение не кажется убедительным, странно, что Копосов не замечает того, что именно критическая философия (причем в кантовском, классическом варианте) приложила немало усилий для формирования нового образа ученого – как просветителя, смиренного слуги истины. То есть автор не различает этических мотивов любой критики. Не замечает он и того, что сам чрезмерно увлекся психологической стороной теории прототипа и противопоставил семантику и референцию – и по небрежности, и по этим самым мотивам! Логический анализ социальных классификаций в определенный момент сменился рассуждениями о принципиальной несопоставимости «описания» и «классификации» (при ничем не значащей оговорке о том, что они «нераздельны») и соответственно «значения» и «референции». От логики историограф перешел к психологии и далее – к темной метафизике «индивидуального». Верит ли он в возможность этически нейтрального (т. е. лишённого этического содержания) знания, распространяя этот взгляд с естественных на гуманитарные науки? И не смешивает ли он имплицитно «нейтральное», «незаинтересованное» и «всеобщее»? В этой связи следовало бы быть вдвойне осторожным с Вебером, которому часто – и без оснований – приписывали сугубо инструментальный взгляд на науку. Напомним, что последний всегда подчеркивал особый статус субъекта познания, в том числе и в гуманитарных науках, и уделял исключительное внимание работе над понятиями. Копосов совершенно оставил в стороне веберовское понимание «свободы от оценки» в истории и социологии – понимание, предполагавшее моральное усилие. Наконец, несерьезно предъявлять претензии в отсутствие конкретного анализа мышления историков тем теоретикам, которые работали в то время, когда ни истории, ни социологии науки не существовало, и отталкивались прежде всего от общих философских проблем в их традиционных формулировках.

Важной философской темой книги является «теория разума-культуры», будто бы созданная философами и социальными учеными рубежа XIX–XX веков в целях оправдания науки и разума вообще. Оказывается, эта «теория» привела к «исчезновению субъекта», то есть индивидуального сознания. Странная экстраполяция французских дебатов 1960–1970-х годов на всю европейскую философию последних 150 лет! Насколько помнится, даже особо отличившиеся на поприще «убийства субъекта» сохраняли его как необходимую фикцию. Утверждать, что внимание к языку (в широком смысле) и к объективной стороне нашего мышления с необходимостью лишает субъекта права на существование, означает, по меньшей мере, забвение той очевидности, что субъект существует и логически, и лингвистически. Почему мысль не может быть дана нам как в объективированной форме слова или образа, способных быть переданными другому, так и в субъективном переживании? Как еще она может быть дана человеку, если не в двух этих формах одновременно? Как можно помыслить практически (а не на уровне пустой декларации, пусть

и освящающей известную идеологию) одно отдельно от другого? В любом случае, даже низведение субъекта до фикции не было обязательной фигурой модернистской мысли. Напомню автору, что и в социальных науках сохранялось сильное влияние мыслителей старой либеральной школы, настаивавших на «индивиде». Достаточно указать на рецепцию Поппера, «Нищета историцизма» которого с интересом и уважением была принята многими гуманитариями. Более того, непонятно, как в создатели «теории разума – культуры» по Копосову могли попасть – пусть и по умолчанию – такие фигуры, как Вебер, всегда исходивший из индивида как неопровержимой данности. Сомнительно и то, что такие классики социологии знания, как Дюркгейм, действительно верили в существование социальных фактов помимо взаимодействия индивидов. Не является ли приписывание им «теологических» воззрений карикатуризацией (о чем пишет неоднократно цитируемый Колосовым Пассерон)? Так или иначе, историографу следовало бы подкрепить свое утверждение о «смерти субъекта» в конце XIX века фактами. Или мы имеем дело с еще одной фиктивной мишенью для критики?

Существенно, что в конкретно-историческом анализе эволюции форм «пространственного воображения» историков Копосов ссылается то на стимулирующую роль этой мифической теории, то на катастрофические последствия ее «разложения». Тем самым обнаруживается широко используемый и сегодня алгоритм редуцирования сложного взаимодействия между различными типами интеллектуальной практики и сознания. Очень часто предполагается, что какой-либо научный метод или теория автоматически предполагают определенный философский взгляд на вещи, и наоборот. Это упрощение приобретает карикатурный характер на фоне больших разделов самой рецензируемой книги, где историки разных философских и идеологических убеждений оказываются «в одной лодке», в силу использования ими схожих интеллектуальных инструментов. Впрочем, подобное проделывается и с философами (в том, что касается отдельных мыслительных ходов).

Смысл данного упрощения, как и смысл странного конструкта «разум – культура», и антидисциплинарная риторика вообще проясняются при помещении книги Копосова в определенную идеологическую конъюнктуру. Или скорее – конъюнктуры, поскольку здесь обнаруживается их констелляция. С одной стороны, пафос левой интеллектуальной революции во Франции 1960–1970-х годов, когда была объявлена война Рационализму, действительно приобретшему к тому времени очертания догматической философии, метафизики. Этот Рационализм рассматривался – и не без оснований! – как оправдание привилегированного положения Эксперта в современном обществе. В ту менеджерскую эпоху казалось, что Специалист стал единственной фигурой Власти. Наука отождествлялась с отправлением Власти – в лучшем случае, с ее идеологическим обоснованием. Ученый потерял ауру незаинтересованного судьи, просветителя. Философ на университетской кафедре быстро утрачивал статус учителя жизни. Война с философским, научным, общественным догматизмом разного рода и со связываемой с ним бюрократизацией велась разными средствами: от сугубо академических до пропагандистских, включая создание новых мифологий. В итоге многим (особенно людям квазирелигиозной веры в Разум и Науку) пригрезилось – или, напротив, явилось в кошмарном сне, – что установилась Анархия и интеллектуальная работа стала невозможной. Ибо можно думать «как угодно», то есть никак. С этой картиной Науки на страницах книги Копосова сталкиваешься постоянно. Оказывается, в XIX веке нечто могло стать реальным, только если существовала соответствующая наука (с. 198). Философские споры направлялись необходимостью оправдать статус ученого, а философы попадали во все большую зависимость от гуманитариев. В некотором смысле, ученые стали единственными политиками, поскольку общественное устройство опиралось на их теории. Видимо, к Науке перешла роль, ранее принадлежавшая Религии. По-моему, нет необходимости комментировать явную тенденциозность этой интерпретации. Как нет ее и в том, чтобы констатировать музейный характер образа даже на его родине.

Социальный взрыв конца 1960-х был фоном и для другой войны – войны с Субъектом, то есть с либеральным индивидуализмом, препятствовавшим развитию новых социальных движений. Прежде всего нужно было показать, что никакого «атомарного субъекта» на самом деле не существует. Попытки же его атомизировать равносильны разрушению общественной ткани. Но если опровергнуть либеральный миф о Субъекте оказалось нетрудно, отделаться от субъекта не удалось – в худшем случае ему оставили статус фикции (лингвистической, психологической). А с отступлением новых социальных движений и победой нового либерализма в 1980–1990-е годы вернулся и Субъект. Тогда как ведущие фигуры нео-неокантианства во Франции совершенно отказались от революционной риторики предыдущего периода, в рецензируемой книге смешались обе идеологические конъюнктуры. Благодаря чему автор и плутает между Субъектом, Природой и Обществом. Для прояснения схожих феноменов сам Копосов не без оснований прибегает к фигурам «невроза», «страха». В самом деле, еще Ницше и Витгенштейн объясняли философские злоключения неготовностью к психологическим жертвам. Эта книга – и о «собственном опыте несвободы мысли» (с. 5).

Тем не менее сводится ли работа Копосова к философской путанице и идеологическим предрассудкам, ее мотивирующим? К счастью, нет. Казалось бы, автора не слишком интересуют эпистемологические проблемы истории как интеллектуальной практики. В самом деле, будь иначе, он не «мучился» бы пресловутым конфликтом «референции» и «значения», а уделил большее внимание совместимости классификационных процедур с тем, что он называет «профессиональным стилем». То есть поместил фигуры «пространственного воображения» в детализированный контекст работы историка. Ведь громоздкие социoproфессиональные классификации (не говоря о классификациях индивидов) не работали в значительной степени потому, что *повествователь* должен был считаться с *читателем*, с его психологическим строем. Что и констатирует, между прочим, автор, занимаясь проблемой рубрикации. Равным образом, он почти избегает огромной темы исторической терминологии, указывая лишь на консерватизм историков в отношении «терминологических новаций». Хотя анализ политики профессионального языка в отношении социальной терминологии исторического «обывателя» позволил бы прояснить ограничения, накладываемые на применение классификационных матриц.

Во многом это объясняется «непрагматичным» настроем автора, склонного резко противопоставлять Наблюдателя Субъекту действия. Зато в книге намечены контуры новой социальной истории гуманитарных наук, социальной истории «пространственного воображения». Автор более или менее обстоятельно представляет эволюцию пространственных моделей, положенных в основу исторических исследований социальной структуры. Причем речь идет как о самых типичных ходах («однолинейное» мышление, мышление «на плоскости»), так и о более сложном трехмерном пространстве синтетических иерархий. Указывается на их связь с революциями в искусстве, естествознании, государственном управлении. Конечно, от «рубрикации» по моделям книга бы только выиграла. Так же как и от более детального анализа дрейфа этих моделей из одной области знания и деятельности в другую. Но здесь предстоит продолжить историкам. А может быть, и самому автору?

Об идеологии и идейной жизни

Интервью с Софьей Чуйкиной

В 2000 году я обратилась к Алексею Маркову с просьбой об интервью для проекта Академии наук Финляндии «Интеллигенция и меценатство в советском обществе», инициированного Тимо Вихавайненом, в котором я работала

интервьюером. Целью интервью было не получение исторического комментария, а совместное создание эмоционального и, по возможности, аутентичного биографического рассказа. Мне хотелось, чтобы в числе многочисленных интервьюируемых разных поколений был человек, который, обладая знанием интеллигенции 1980-х годов «изнутри», дал бы в то же время скептический, отстраненный взгляд на нее и, внутренне дистанцируясь от того, что принято называть «мещанством», мог проанализировать истоки своих взглядов. Алексей, которому было свойственно находить смешные стороны в обыденных ситуациях, видеть в них «сценки» и «сюжеты», представлялся самым подходящим рассказчиком для такого интервью. Оно передает его неповторимые, знакомые всем друзьям и собеседникам интонации и обороты, которые я постаралась при публикации устного интервью максимально сохранить.

Нашей деловой встрече, посвященной интеллигенции и мещанству, предшествовали многие дневные и заполуночные разговоры. Алексей был неповторимым собеседником со столь оригинальным взглядом на мир, что общение с ним было захватывающим приключением. Острая, едкая критика, колкие замечания и громогласный смех могли прозвучать в самый неожиданный момент. Интервью не было исключением. Но, подвергая нападкам формулировки некоторых вопросов, Алексей, как мне кажется, с интересом отнесся к предложенной теме. Для него изменения, происходившие в российском интеллектуальном сообществе, были лично важны, хотя пространство Петербурга было для него во всех смыслах слишком узким, и выход за его пределы был необходим и неизбежен. Он был исключительно предан интеллектуальной деятельности, которую иронично называл «работа языком и ручкой», и наше интервью показывает его путь к «городу интеллектуалов». По его собственным словам, он «жаждал этого города».

Софья Чуйкина

А.М. В школьные годы я был весьма активным комсомольцем и очень серьезно к этому относился, то есть совершенно буквально... И к моим обязанностям, и к разного рода лозунгам. Поэтому я слыл в школе крайним чудаком. Я был явным диссонансом на фоне официальных комсомольских и пионерских лидеров, с этим своим буквализмом и наивностью. То есть я вносил постоянно какие-то сложности.

С.Ч. Какие именно лозунги ты серьезно воспринимал?

А.М. О, это уже довольно сложно вспомнить. Допустим, я очень серьезно считал, что Советский Союз – это образец современной демократии. Надо сказать, что мои представления были на уровне школьника весьма головными. Я читал книжки, которые обычно школьники не читают, и мои представления о порядке вещей были прежде всего книжными. Я помню, что «Материализм и эмпириокритицизм» Ленина я проработал на турбазе с первой страницы до последней в возрасте лет четырнадцати. Я очень серьезно читал все то, что нужно было читать ответственному за идейно-политическую работу.

С.Ч. Ага, ты был ответственным за идейно-политическую работу?

А.М. Да, да... Читал какие-то официальные советские издания. Я помню, что ходила масса содержательных брошюр по самым разным вопросам, которые попадали в мои руки. Да, я изучал официальные материалы. И я помню, что у меня над столом постоянно висели портреты членов Политбюро. Полный иконостас. Это немало поразило моих отца и маму, вызывало массу вопросов и насмешек откровенных. Вообще, я очень злился на своих родственников и едва не ссорился с ними во время всяких застолий за их аполитичные или откровенно антисоветские высказывания.

С.Ч. Кто твои родители по профессии?

А.М. Ну, что касается родителей – и папа, и мама относятся к инженерно-технической интеллигенции, но мама не работала с юности. То есть она в определенный момент стала только прирабатывать, занимаясь семьей. А отец постоянно работал инженером на оборонных предприятиях разного рода. Бабушки и дедушки и по отцовской, и по материнской линии – это люди без высшего образования. С одной стороны, это крестьянская

среда, с другой – ремесленные профессии там тоже присутствуют. Плюс еще, как раз если говорить о родителях отца, о деде – здесь важна традиция религиозного проповедничества. Поскольку на протяжении нескольких поколений предки отца, наряду с крестьянскими и ремесленными работами, выполняли обязанности пресвитеров баптистской общины.

С.Ч. Когда они приехали в Петербург?

А.М. В начале тридцатых годов.

С.Ч. Какое отношение к советскому режиму было в твоей семье? Были ли родители в партии?

А.М. В партии не был никто – ни мама, ни отец. Среди дедушек и бабушек, дед со стороны матери какое-то время был партийный, в тридцатые годы. Он был красным командиром и, скорее всего, был партийным. Я не уверен на сто процентов, но могу предполагать.

Что же касается отношения к власти с точки зрения неформальных критериев, то здесь я бы затруднился с какой-то очень определенной оценкой.

С.Ч. А у вас в семье обсуждалась политика?

А.М. Конечно. В семидесятые годы, мне кажется, трудно найти среднюю советскую семью, среднюю в разных смыслах, где политика не обсуждалась бы на семейных застольях.

С.Ч. А ты помнишь семидесятые?...

А.М. Конец семидесятых я уже помню неплохо. И что для меня очевидно, однако, что с той стороны отца, где были родственники, принадлежащие к баптистской конфессии, – там отношение к существующему порядку вещей было, мягко говоря, скептическим; для меня в этом нет никаких сомнений.

С.Ч. Что значит «мягко говоря, скептическим»? Были какие-то открытые демонстрации?

А.М. Во-первых, это прямо высказывалось. Во-вторых, что значит «мягко говоря»? Это означает – я не уверен, что это было для них очень значимым. Но что более-менее часто воспроизводилось бабушкой и сестрой отца – что этот порядок вещей не может быть признан законным с точки зрения неких высших религиозных критериев. Вот это произносилось. Было ли это действительно значимо для них, или это были случайные резкие заявления, я не могу сказать.

С.Ч. Это одна половина твоей семьи. А вторая половина?

А.М. У второй половины моей семьи тоже была обычным делом ирония и разного рода фактическая критика по поводу того, что они наблюдали. В этом среднем советском слое трудно было не столкнуться с иронией по поводу советского режима семидесятых – начала восьмидесятых годов, во многих отношениях фасадного. Но я бы так сказал – здесь не было какой-то продуманной перспективы, которую можно было бы назвать оппозиционной; здесь не было каких-то, так скажем, фундаментальных принципов, сравнимых с высшими религиозными принципами, которые я упоминал. Здесь не было ни философского, ни религиозного обоснования такого рода оппозиционных или ироничных высказываний.

С.Ч. Кто были твои единомышленники? С кем ты обсуждал свои взгляды, прочитанные статьи? В школе?

А.М. С друзьями. В школе редко, с друзьями мы обсуждали...

С.Ч. Кто были твои друзья? Из каких они были семей?

А.М. Интересно, что это были те, кого называли тогда, тоже интересный термин эпохи – «творческая интеллигенция». Ха-ха. Как правило, творческая интеллигенция – это литераторы, художники, кинематографисты, критики разного рода, журналисты.

С.Ч. А это были люди, скажем так, просоветские?

А.М. Это было совсем неоднозначно. Я бы так сказал – это были, безусловно, те люди, которые обладали доступом к литературе неофициальной. Они обсуждали тексты, которые невозможно было взять в библиотеке. Но сказать, что эти люди были в какой-то однозначной оппозиции к существующему порядку вещей, что они имели какие-то

альтернативные программы, я бы не решился. Безусловно, они были достаточно ироничны по отношению к советской реальности. Но я не думаю, что следовало бы забегать дальше и преувеличивать эти оценки.

С.Ч. Что, например, вы с друзьями обсуждали?

А.М. Поскольку я был человек с убеждениями, я исправно читал газету «Комсомольская правда», и я прекрасно помню даже такую журналистку – Евгению Лосото. Она публиковалась в газете «Комсомольская правда», примерно с 1982 по 1987 год она была там ведущей журналисткой. Это были довольно интересные статьи для восьмидесятых годов. Эта Лосото писала обычно на темы скандальные, ее материалы читались с ходу. Ну, например, она писала о «золотой молодежи», то есть о тех, кто, благодаря привилегиям родителей, пользовался вещами или какими-то возможностями, которые у среднего молодого человека отсутствовали. Или она рассказывала об определенном круге с экзотическим стилем жизни, – это было интересно читать. Потому что мы редко сталкивались с таким кругом... Или, допустим, она писала о неофициальных идеологических группировках, допустим, о фашиках. Она одной из первых написала о «Памяти». То есть она пользовалась для своих рассуждений, как правило, экзотическим и заведомо интересным материалом.

С.Ч. А ты можешь вспомнить свою эмоциональную реакцию тех лет на эти официальные рассуждения о «золотой молодежи» и советском мещанстве, которые публиковались в газетах? Как ты тогда относился к этому? Ты относился к тем, кто осуждал мещанство?

А.М. Несомненно. Несомненно. Этот способ жизни предполагался как низменный. Причем, как я уже говорил, на эту тему был широкий консенсус. От тех, кто разделял официальную риторику, людей вроде меня, до диссидентствующих и до каких-нибудь хиппи.

С.Ч. То есть безыдейная жизнь порицалась всеми?

А.М. Да. Вернее, не «порицали все», а порицали те, кто пользовался каким-либо авторитетом в моем кругу. В общем, можно сказать, что идеологический человек противопоставлял себя мещанину как человеку без идеологии.

Я же как в школе, так и в университете был очень внимательным к политическим переменам, к политической риторике. То, что можно назвать актуальной политикой, я постоянно держал в поле своего зрения.

С.Ч. А сейчас?

А.М. Сейчас, нет, так уже нельзя сказать. А тогда это было более-менее очевидным. Я бы сказал, что это было очевидно вплоть до середины 1990-х годов, уже сильно после перестройки, в постсоветский период. И поскольку я был так внимателен к каким-то изменениям в риторике, и вообще, внимателен к политике, то, конечно, разрушение этой фасадной идеологии (которую я воспринимал, однако, не как фасадную) было для меня экзистенциально значимым событием. И я помню, что с моими друзьями, с которыми я общался еще со школьных пор, мы пылко дискутировали на протяжении второй половины восьмидесятых – начала девяностых о том, что происходило. Но если говорить о моих собственных внутренних преобразованиях, которые можно назвать преобразованиями идеологического порядка, на какой-то момент можно назвать их просто спектрами моего политического видения... Так вот, если говорить об этом, то я думаю, что к концу восьмидесятых – началу девяностых годов я был уже таким вот либералом позднесоветского образца. Как и очень многие из моего поколения университетских студентов, я читал журнал «Огонек»; я, конечно, был под сильным впечатлением от той фактуры, которую удалось извлечь из пресловутой повести Рыбакова «Дети Арбата». Это всё были *события*. В моем кругу это были события. Конечно, это меня трансформировало. Но сейчас я не готов говорить о значимых для меня периодах, о том, как происходила моя эволюция.

С.Ч. Тогда вопрос такой. Когда ты слышишь, что кто-то произносит «интеллигент» или «интеллигентка», какие ассоциации у тебя это вызывает? Какие это люди? Какого они

возраста? Как они выглядят?

А.М. Ну, я расскажу одну историю. Мне кажется, она довольно показательна. У меня именно эти образы прежде всего встают перед глазами. Это было году в 1993-м. Я еду в пригородной электричке и слышу разговор двух старушек.

Одна говорит другой:

– Видела ли ты передачу с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым по телевизору?

– Нет. А что? – отвечает другая.

– Ну вот, настоящий интеллигент! Таких людей больше нет! Главное – как он говорит, как смотрит, как ходит. Ничего такого уже нет! Настоящий интеллигент. Ты знаешь, чем он отличается? Вот разве можно от Дмитрия Сергеевича Лихачева услышать матерное ругательство? Даже представить немыслимо! А доброта этого человека! Вот он ведь книжку написал «Записки о добром». Опять же, в церковь ходит, религиозный. Да, где теперь такие интеллигенты? Нет ведь их больше!

Вот эти реплики формируют определенный тип, мне кажется. Или стереотип. Я бы не сказал, что он какой-то вековой, но, наверное, в семидесятые годы уже всю жизнь бытовавший. Я бы назвал для себя этих бабушек «ахматовскими старушками». Дело в том, что вот этот образ интеллигента – человека нравственного, религиозного, матом не ругающегося, вообще некоего остатка какой-то великой старины – ныне раритетное существо; этот тип обычно связывали с какими-то кружками, сообществами годов шестидесятых вокруг тех, кто в том или ином смысле принадлежал к культуре начала века, может быть, первого послереволюционного десятилетия. Таким образом, те, кто входил в эти кружки, осмыслили себя продолжателями, носителями – уже в новом поколении – традиций русской интеллигенции. Я не хочу сказать, что эти карикатурные черты, которые в разговоре двух старушек были явлены, вроде «матом не ругается» или «старичок-добрячок», что эти черты и усваивались в ахматовском кружке, и потом уже воспроизводились новыми «старыми» интеллигентами. Но карикатуризация характерна. Разговоры о нравственности действительно были важной отличительной чертой тех, кто называл себя интеллигентами в шестидесятые-семидесятые годы. В общем, подытоживая, я бы сказал, что явление это для меня и люди эти во многом совпадают с шестидесятниками и семидесятниками.

С.Ч. То есть ты не относишь к интеллигенции всех образованных людей?

А.М. Ну, здесь важно обратить внимание на то, как слово используется. Наряду с официальным словоупотреблением «советская интеллигенция», которое было в достаточной степени формализованным и соответственно включало в себя формальные критерии – образование, дипломы, характер службы и так далее, наряду с этим существовало и было не менее, а даже более влиятельным понятие не столь регламентированное, не столь формализованное. Оно тоже, кстати, бытовало в официальном дискурсе. Его можно было встретить на страницах официальных газет, например «Комсомольской правды», «Литературной газеты», и в литературе советской сколько угодно, у какого-нибудь Юрия Трифонова. Вот это не совсем официальное понятие или, лучше сказать, неформализованное понятие было, может быть, даже более важным. Постоянно велись дискуссии – а кого же действительно можно считать интеллигентом, кто настоящий интеллигент. Может быть, наилучшим образом эти дискуссии описываются вопросом: а интеллигентен ли он (тот или иной обсуждаемый человек)?

С.Ч. А чем ты можешь объяснить то, что в позднесоветском обществе велись такие споры?

А.М. Можно рассматривать по-разному, с разных точек зрения этот вопрос. Ну, вот, допустим, идеологическая перспектива.

В тех условиях, когда советская идеология превратилась в фасадное явление, появилось много претендентов на роль неофициальных идеологов. Те, кого уже в семидесятые годы называли «новыми славянофилами», «новыми западниками», «новыми либералами», – были претендентами на роль новых идеологов. Их обычно связывали с определенными журналами, иной раз даже с определенным стилем жизни, и в любом случае с

определенными группами, это точно. И я думаю, что необходимость определить самое себя в качестве вот этих мыслителей и, так скажем, интеллектуальных лидеров, сама эта необходимость требовала подобных дискуссий. Необходимо было как-то осмыслить – а кто мы есть, откуда проистекает это право «говорить от имени», на чем оно основано. А поскольку эти дебаты никак не могли принять форму законченную, скажем, превратиться в определенные политические философии, то, как правило, споры эти останавливались на уровне морализирования. Это одна возможная перспектива – некая идеологическая перспектива, когда данный «бульон идей» требовал от тех, кто эти идеи продуцировал, обоснования собственной позиции. Придание авторитета идеям через придание авторитета самим себе.

Возможна другая перспектива, очевидно. Эта перспектива может быть связана с тем, что называли тогда именно «советской интеллигенцией», с той формальной группой, которую образовывали по формальным признакам, которую производила официальная статистика и которая была включена в официальный идеологический штамп. Дело в том, что эта официальная группа сама по себе была оформлена по не очень четким критериям. Был набор сугубо формальных критериев, безусловно – это был уровень образования, дипломы и так далее; но было и то, что называли самосознанием группы... Да, в это время, в семидесятые годы, это очевидно даже по моим собственным детским воспоминаниям, была некая претензия на какое-то особое положение университетского преподавателя или литератора относительно рабочего, скажем, и она уже не сводилась к специфике профессии. Это была претензия, которая если и не приняла формы законченной политико-идеологической претензии на власть, на безусловное лидерство, но, по крайней мере на уровне обыденного мышления, она все время давала себя знать. Скажем, сколько-нибудь незначительное отличие – окончание пединститута или университета в столичном городе позволяло уже противопоставлять себя не только по формальным критериям, но и просто даже по стилю жизни не только рабочим, но и провинциалам. И вот, стремление дать более-менее законченную форму этой привилегированной позиции и порождало рассуждение или размышление об интеллигентности. Я бы так сказал – то, что мы называем советской интеллигенцией, включает в себя или подразумевало целый набор официальных и неофициальных привилегий, моментов престижа, которых были лишены другие. Эти моменты престижа люди пытались по-разному осмыслить. В том числе обосновать их через моральные преимущества. Можно было бы назвать эту перспективу, этот способ рассматривать вопрос об интеллигенции социально-структурным. Я думаю, что возможны и другие перспективы.

С.Ч. Теперь я хотела бы задать несколько вопросов о мещанстве. Скажи, пожалуйста, употребляешь ли ты слово «мещанство» в повседневной жизни? Сейчас?

А.М. Давным-давно не употребляю.

С.Ч. А когда-нибудь ты его употреблял?

А.М. Возможно. Но уже не помню.

С.Ч. А твои родители употребляют это слово?

А.М. Да. Употребляли. Употребляли в одном ряду с понятиями – «быдло», «простонародье» и так далее. Вернее, не в одном ряду... Это понятие, как и те, другие, могло оказаться в оппозиции к понятию «интеллигенция». Интеллигенция и... Допустим, «интеллигенция и простонародье», «интеллигенция и мещанство». Это не значит, что это одно и то же. Слово «мещанин», как мне кажется, было наиболее значимо для этого дискурса 1960–1970-х годов. «Мещанин» – это очень важная категория для того, чтобы найти истинного интеллигента. В условиях, когда пытались обосновать свои собственные претензии на роль идеологов или на особые привилегии разного рода, в этих условиях нужно было себя очень четко ограничить от тех, кто мимикрирует. Мимикрирующие, они только притворяются интеллигенцией. А поскольку быть интеллигенцией престижно, или быть интеллигенцией – значит иметь право быть идейным лидером, Проповедником с большой буквы... Если это так, то тогда возникает масса желающих попасть в эту категорию, в

особенности если говорить о привилегиях. Видимо, среди этой массы желающих там сразу же можно будет отделить чистых и нечистых, если посмотреть, насколько умело они делают то, что *должны* делать истинные интеллигенты. Или насколько буквально они это делают. Ха-ха. В особенности, как известно, некоторые материальные практики, связанные с обращением с вещами, с окружением себя вещами, относились к разряду «мещанских». Если они не дополнялись так называемыми «духовными» практиками – мыслями, ценностными жестами и если они приобретали какое-то исключительное место. Если «быть интеллигентом» для кого-то означало иметь определенную мебель, или знать стихи наизусть, или уметь играть на гитаре, если для кого-то к этому все сводилось, то «этот человек, очевидно, не интеллигент, а всего лишь мещанин». Он не понимает, что «подлинная интеллигентность заключается, например, в доброте». Ха-ха.

С.Ч. Ха-ха. А твои родители, они часто прибегали к этой категории для того, чтобы себя самих как-то определить?

А.М. Я приведу конкретный пример. Среди моих учителей была одна дама, которая собирала фарфоровых собачек. И она поощряла учеников дарить ей этих собачек и кошечек. Сразу же она была записана моими родителями, да и не только моими, в «мещанки». Тем более что, охотясь за собачками и кошечками, она позволяла себе откровенную нечестность – она поощряла учеников, которые дарили ей собачек и кошечек, хорошими отметками.

С.Ч. Да... Ну и дела... А как ты считаешь, сегодня это понятие вообще употребляется людьми этого возраста, предыдущими поколениями?

А.М. Я думаю, что поскольку ушел дискурс об интеллигенции, то ушел дискурс и о мещанстве. Он стал таким же бессмысленным. «Мещане» нужны были потому, что была «интеллигенция».

С.Ч. Вот я хотела еще один вопрос задать по поводу интеллигенции – есть ли у тебя сейчас эмоциональная реакция на сам этот термин, вообще на этот феномен. Вот когда ты видишь этих старушек... или не только старушек? Еще раз я хотела бы тебя спросить о возрасте – каким возрастом для тебя ограничивается интеллигенция? И твоя эмоциональная реакция на этот термин и на этих людей?

А.М. Я уже сказал, что для меня это прежде всего люди, которые вступили в пору сознательной жизни в шестидесятые – семидесятые – начале восьмидесятых годов. На протяжении этого двадцатилетия.

С.Ч. А ты-то сам...?

А.М. Я все-таки студентом стал только в 1985-м. Я думаю, что те, кто пришел на студенческую скамью еще в восьмидесятом году, вполне могли усвоить этот способ мышления. Я этого не исключаю.

С.Ч. То есть это поколение прямо перед тобой?

А.М. Да... Это длинное поколение передо мной. А что касается эмоционального аспекта, поскольку известная аллергия на шестидесятников у меня есть, вероятно, есть аллергия и на интеллигенцию.

С.Ч. А как тебе кажется, некоторая аллергия на интеллигенцию для твоего круга общения в целом характерна?

А.М. Да, в высокой степени.

С.Ч. А когда ты поступал в университет, ты кем себя ощущал? Ты тогда не хотел стать, например, «интеллигентом»?

А.М. Я не думаю, что я рефлексировал именно в этих терминах.

С.Ч. Я хотела бы как раз узнать, в каких терминах ты размышлял об этом...

А.М. Для меня был вопрос о высшем образовании, скажем. О работе преимущественно... Ну, вот это очень забавно, тогда было искусственное разделение, ходовое в то время – «труд умственный» и «труд физический». Не совсем понятное разделение, потому что нет такого физического труда, где бы не участвовала голова... Это совершенно очевидно. Но вероятно, предполагалось, что умственный труд – это образ жизни, когда человек трудится, преимущественно разговаривая или записывая. Что

физические действия в данном случае эго, прежде всего, действия языком или рукой, вооруженной ручкой. Вот в такой системе координат я рассуждал несомненно – мне хотелось заниматься такой работой, которая предполагала бы прежде всего работу языком и ручкой. Примерно так.

Опять же, я расскажу одну забавную байку. Когда я поступал в университет, мне нужно было определить свое «социальное положение» в анкете. И я сперва не знал, для меня был вопрос – по каким критериям это делать, по социальному статусу родителей или по моему занятию, или делать это в зависимости от источников моего дохода. Я поступал сразу после школы в университет и поэтому склонился к последнему и определил себя так: «иждивенец». Что, конечно, пришлось немедленно исправлять.

С.Ч. Расскажи, пожалуйста, теперь о своей профессии и о своей профессиональной идентичности.

А.М. У меня и удобная, и неудобная позиция. Достаточно много занимаясь социологией в последнее время (она меня интересует теоретическими сторонами), я в то же время по базовому образованию являюсь историком.

С.Ч. Какая у тебя специализация?

А.М. Историк России. Я занимался рубежом XIX–XX веков. И надо сказать, что не отказываюсь никоим образом от своей первой профессии. Мне даже симпатично то, что я могу корректировать интуицию социолога интуицией историка, и наоборот. Это, мне кажется, является выигрышем, а не проигрышем. В то же время, в силу моей индивидуальной истории, которой мы здесь не касаемся, есть существенные идентичности для меня, которые связаны с профессией, но тем не менее не автоматически ею предполагаются.

Да, мне хотелось бы относить себя к интеллектуалам. И что это для меня означает? – Это означает для меня, несомненно, нечто большее, чем принадлежать к определенной профессии, к выполнению определенной профессиональной работы. Это означает, что у меня есть привилегии и задачи, которые можно было бы назвать общественно значимыми и которые можно было бы определить если не как функцию идеолога, – что мне претит, – то как функцию критического осмысления данного общества и осмысления своего собственного положения в этом обществе. Интеллектуалом можно назвать, собственно, человека, своей мыслительной работой оказывающего некоторое влияние на самого себя и на других. То есть это понятие предполагает отслеживание, так скажем, максимально широкого общественного эффекта от собственной работы, принятие ответственности в этом смысле за то, что ты делаешь...

С.Ч. Почему ты сказал «я хотел бы относить себя к интеллектуалам»?

А.М. В чем тут дело? Я не уверен, что это понятие вполне адекватно здесь и сейчас. Я опять-таки сказал, что есть существенные моменты моей индивидуальной истории, которые способствуют такому взгляду на вещи, которые потребовали от меня или подтолкнули меня к формированию такого взгляда на вещи. А именно – очень значимо, что влияние на меня оказала французская интеллектуальная культура XX века. И через тексты, и через живое восприятие. И поскольку, вероятно, я весьма эмоционально, что мне свойственно вообще, воспринял этот способ существования, то мне бы хотелось, чтобы он был значим и здесь, где я сейчас нахожусь. Но в какой степени это действительно так...

С.Ч. А в чем проблема? В сообществе?

А.М. Дело не только в сообществе. Я не уверен, что эта французская игра может быть вполне русской игрой.

С.Ч. Что конкретно делает интеллектуал? В чем может заключаться твоя лично деятельность как интеллектуала?

А.М. Хорошо. Ну, может быть, достаточно наивное представление, которое тем не менее от чего-то отталкивается. Что интеллектуал, допустим, это человек, который занимается профессионально литературным или научным трудом, но помимо этого критически осмысливает или, лучше сказать, высказывается по поводу общественно

значимых событий. Это может быть событие, значимое для узкого сообщества, скажем, сообщества литераторов или ученых. Или это может быть событие, значимое для сообщества граждан, частью которого он является. И вот это высказывание, которое он производит в устной, письменной форме, каким-то жестом, – это высказывание тоже является событием общественной жизни. Дело не только в том, что он высказывает и каким-то образом жестикулирует, но и в том, что его слышат.

С.Ч. Ты считаешь, что здесь и сейчас нет той аудитории, которая может услышать то, что интеллектуал хочет сказать?

А.М. В сообществе граждан интеллектуала не существует.

С.Ч. Его не слышат?

А.М. Я даже не уверен, что он говорит.

С.Ч. Его не поймут?

А.М. Более чем возможно. По крайней мере, сейчас это вполне вероятно. Это очень длинный разговор, наверное, да? Вот, интеллектуал, допустим, и писатель. Это важная тема, если мы говорим о России. Это такое общее место, что в России литература играла исключительную общественную роль. В том числе в советскую эпоху. Так вот, чем отличается интеллектуал от писателя? – Ну, прежде всего тем, что это человек с весьма специализированными умениями, который формован университетом, который обучен. А писатель не обязательно обучен формальной институцией, коей является университет. Интеллектуал же, как правило, обучен. Когда мы говорим об интеллектуале, мы предполагаем, обычно, философское образование. Самостоятельное или нет, но философское образование. Когда мы говорим о писателе, особенно здесь, в России, мы прежде всего говорим о моральном авторитете. Совершенно не обязательно это философ. Можно так сказать – мы говорим о разной дисциплине.

С.Ч. Как ты считаешь – аудитория здесь более склонна воспринимать писателей?

А.М. Была более склонна, по крайней мере. Что происходит сейчас, это уже немножко другой вопрос. Но если даже ставить ситуацию в исторический контекст, давать некий фон, то здесь другие голоса были значимы.

Библиография трудов А. Маркова

Статьи и монографии

Выступление на международном colloquium «1917 год в России: массы, партии, власть» (СПб., С.-Петербургский филиал Института российской истории Российской академии наук, 11–15 января 1993 г.) // *Анатомия революции. 1917 год в России: массы, партии, власть* / Под ред. В. Ю. Черняева. СПб.: Глаголь, 1994. С. 417.

Был ли секс при Советской власти? // *Родина*. 1995. № 9.

О новых подходах к изучению малой этнической группы в большом городе: теория и частный случай голландцев в Санкт-Петербурге в XVIII – начале XX в. (тезисы) // *Первые петербургские Кареевские чтения по новистике 17–21 апреля 1995* / Под ред. Б. Н. Комиссарова. СПб.: СПбГУ, 1996.

Полиция и геи: Эпизод из эпохи Александра III // *Риск*. Вып. III. М., 1996. С. 105–116 (в соавт. с В. В. Берсеневым).

The Russian student movements from 1905 to 1917 and the French «Red May» of 1968 // *International Politics (formerly Coexistence)*. 1996. V. 33. № 4. P. 373–377.

Практика и репертуар чтения российского студента первой четверти XX века (тезисы) // *Проблемы культуры и искусства. Всероссийская аспирантская конференция, 1997, 23.04* / Под ред. С. Т. Махлиной. СПб.: СПбГАК, 1997.

Education, Schools and Student Life // *Critical Companion to the Russian Revolution*,

1914–1921 / Eds. E. Acton, V. I. Cherniaev, W. G. Rosenberg. London: Arnold, 1997. P. 334–345.

Место профессуры в корпоративном бытии российского студенчества начала XX века (тезисы) // Культура и образование. V международная конференция «Ребенок в современном мире: права ребенка» / Под ред. Л. М. Мосоловой. СПб.: Омега, 1998.

От враждебности к конформизму. Вокруг конфликтов по призыву студентов в армию (1918–1920 гг.) // Нестор. Альманах. Вып. 1 (5). СПб., 2000 / Отв. ред. С. В. Яров. С. 141–149.

Люди большие и малые в романе Л.-Ф. Селина «Север» // Селин в России. Материалы и исследования / Под ред. Маруси Климовой. СПб.: Общество Друзей Селина, 2000.

Рец. на кн.: Качанов Ю. Начало социологии. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2000 // Новая русская книга. 2000. № 3 (4).

Рец. на кн.: Полан Жан. Тарбские цветы, или Террор в изящной словесности. СПб.: Наука, 2000 // Новая русская книга. 2000. № 4/5. С. 41–43.

Что означает «объективность анализа источников» по истории современности // Доступ к информации – права человека и интересы государства: Материалы дискуссии в рамках семинара, проведенного Архивным тренинговым центром при ЕУ СПб 16–17 марта 2000 г. СПб.: М'АРТ, 2000. С. 89–95, 100–101.

Рец. на кн.: Квадратура смысла. Французская школа анализа дискурса. М.: Прогресс, 1999 // Новая русская книга. 2001. № 1. С. 45–46.

Рец. на кн.: Гудмен Нельсон. Способы создания миров. М.: Логос, 2001 // Новая русская книга. 2001. № 2. С. 58–60.

Рец. на кн.: Кром М. М. Историческая антропология. Пособие к лекционному курсу. СПб.: Дмитрий Буланин, 2000 // Новая русская книга. 2001. № 2. С. 63–64.

Путеводы Псевдоса. Русские интеллектуальные журналы 1990-х: рецепция западных дискурсов // Новое литературное обозрение. 2001. № 50. С. 373–390.

Рец. на кн.: Бурдьё П. Практический смысл. Пер. с фр. А. Т. Бикбова, К. Д. Вознесенской, С. Н. Зенкина, Н. А. Шматко / Под общ. ред. и с послесл. Н. А. Шматко. СПб.; М.: Алетейя; Институт экспериментальной социологии, 2001 // Новая русская книга. 2001. № 3/4.

Диалог о Дантесе // Интернет-альманах «Дантес» // www.mitin.com/dj01/markov.shtml

«Думать иначе»: этика и логика в философской деятельности Мишеля Фуко // Мишель Фуко и Россия. Сб. статей / Под ред. О. Хархордина. СПб.; М., 2001. С. 138–145.

Рец. на кн.: Могулин Я. Термоядерный мускул. Испражнения для языка. Избранные тексты. М.: Новое литературное обозрение, 2001 // Новая русская книга. 2002. № 1. С. 43–45.

Между психологией и историей (социологией): «лидер научной школы» как объект социально-исторического исследования // Наука и власть: Научные школы и профессиональные сообщества в историческом измерении. Материалы научной конференции. М., 2002. С. 38–39.

Выступление на «круглом столе» «Новый гуманитарий в поисках идентичности». Москва, редакция «НЛО», 16 марта 2002 г. // Новое литературное обозрение. 2002. № 55. С. 193–194, 211–214, 217.

Проблемы российской аспирантуры по социальным и гуманитарным наукам (совместно с Б. Е. Винером) // Журнал социологии и социальной антропологии. 2002. Т. 5. № 2. С. 148–164.

Реальности «единой семьи»: петроградские студенты в 1914–1920 гг. // Новое литературное обозрение. 2002. № 57. С. 163–194.

Кокто-мемуарист // Новое литературное обозрение. 2002. № 58. С. 190–202.

Рец. на кн.: Копосов Н. Как думают историки. М.: Новое литературное обозрение, 2001 // Критическая масса. 2002. № 1.

Уроки Северной Германии // Бизнес и этикет. 2002. № 3 (6). С. 30–33.

Социально-исторические аспекты пересадки органов // Третьи Петербургские Кареевские чтения по новистике, 6–9 декабря 1999 г.: Становление мира как «общего дома» человечества: динамика, этапы, перспективы (XV–XXI вв.). Ч. 1. СПб., 2003.

Переводы

Мерло-Понти М. Феноменология восприятия (Пер. с фр.; Под ред. И. С. Вдовиной, С. Л. Фокина). Ч. 2. Гл. I, II. СПб.: Ювента; Наука, 1999.

Современная французская социология / *La sociologie française contemporaine* (Пер. с фр.; Под ред. Ж.-М. Вертело, В. В. Козловского, А. В. Тавровского). С. 23–37, 84–116, 140–156, 199–209, 242–251. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского гос. ун-та, 1999.

Кастель Р. «Проблематизация» как способ прочтения мысли (пер. с англ.) // Мишель Фуко и Россия. Сб. статей / Под ред. О. Хархордина. СПб.; М., 2001. С. 10–32 (совместно с Д. Калугиным).

Коткин Стивен. Новые времена: Советский Союз в межвоенном цивилизационном пространстве (пер. с англ.) // Мишель Фуко и Россия: Сб. статей / Под ред. О. Хархордина. СПб.; М., 2001. С. 239–315 (совместно с Д. Калугиным).

Нильсберг Ж.-А. А интеллектуалы исчезли // Неприкосновенный запас. 2002. № 2. С. 21.

Ферри Л. Философ и политическое // Неприкосновенный запас. 2002. № 2. С. 22–28.

Берелович В. Современные российские учебники истории: многоликая истина или очередная национальная идея? // Неприкосновенный запас. 2002. № 4. С. 80–88.

Редактура

Нестор. Альманах. Наука и власть. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского Института истории, 2004.